



**Аб Мише**

# **У чёрного моря**

Полудокументальное

повествование

*Памяти моей мамы*

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ЗАПЕВ .....	4
2. НАЧАЛО .....	6
3. ПОБРАТИМЫ .....	14
4. ЛИЧНОЕ .....	18
5. ГРОДСКИЙ .....	19
6. ПЕРЕПУТЬЯ .....	25
7. ШИМЕК .....	31
8. ЕВСЕКЦИЯ .....	34
9. 1937-й .....	49
10. ШУРА .....	53
11. ДЕТСТВО .....	54
12. УРА! .....	57
13. ВОЙНА .....	61
14. ПОМОШНАЯ .....	72
15. ОККУПАЦИЯ .....	77
16. БОГДАНОВКА .....	87
17. ИНТЕРМЕЦЦО .....	94
18. ГОН .....	106
19. СЛОБОДКА .....	112
20. ЭТАП .....	118
21. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ .....	126

22. ТРАНСНИСТРИЯ.....	131
23. ДОМАНЁВКА.....	138
24. ИЗ ПРОШЛОГО.....	144
25. БЕЗ ЕВРЕЕВ.....	149
26. ПРОТИВОТОК.....	161
27. МАСКАРАД.....	175
28. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.....	188
29. РАСПЫЛ.....	197
30. ДОЖДАЛИСЬ.....	199
31. АБА.....	210
32. РОДНЯ.....	215
33. ГУЛАГ.....	221
34. ПОВЕЗЛО.....	225
35. ОДЕССА-2002.....	234
36. ПРОБЛЕСКИ.....	243
37. БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ.....	255
38. СОАВТОРЫ.....	262
39. ПСИХБОЛЬНИЦА.....	271
40. ШЕВАЛЕВЫ.....	286
41. СЕЙЧАС.....	306
42. ПОКЛОН.....	310
43. ПОСТСКРИПТУМ.....	314

## 1. ЗАПЕВ

*“У Чёрного моря открывшийся мне  
В цветущих акациях город..”.*  
(песня, слова С. Кирсанова).

Несколько лет рвался я в Одессу. Дорогих мне людей и времени остаётся всё меньше, мир, в котором живём, хрупок, поэтому если уж выкроить из бюджета бросок за границу, так мне прелестней всех Парижей и Италий лица одесской родни и разговоры, пусть и печальные, но душевные.

Я пытался подружиться с местными организациями, работающими на Украине, чтобы послали какие-нибудь лекции читать, но шлют “своих”, по великому благу, дело денежное, и когда я как-то втиснулся, выжал твёрдое обещание, мой обещатель вдруг выпал на пенсию - поездка лопнула.

В другой раз вроде бы повезло: некое учреждение решило послать меня лектором на Украину и в Молдавию, оформило билеты, визы, страховку - всё было готово, оставалось получить документы и рвануть на самолёт. Предстояли 6 городов за 12 дней - тяжело, да и не очень свеж мальчик - но плевать! еду! за казённый счёт! по коням! - и тут-то врач командирующей организации бухнул: “Нет!”. Ему желался лектор телом покрепче... Поездка сорвалась за день до вылета. Я впал в краткую ярость и длительную депрессию.

Время, как известно, лечит. Оклемавшись, я потихоньку начал внутри себя снова пестовать мечту. И “вышел на контакт” с группой заслуженных эмигрантов из Украины, которые устроили себе поездку на бывшую родину теплоходом, с заходом на пару дней в Стамбул и шестью днями плавания - прелести моря, корабельные утехы: бассейн, игры-танцы, пить-есть от пуза - веселись, душа!.. И всё по льготной цене, дешевле, чем одному ехать. Я примкнул к той группе, подрядился по дороге развлекать лекциями - всё сладилось, я в отличной форме, наметившиеся впереди разнообразные житейские хлопоты требуют перед тем отдохнуть - ну и славно, и наконец удастся близких повидать - ура!..

Да и задуманная книга требовала обновить одесские детские впечатления.

И томила сладкая ностальгия по Одессе, так изящно живописанной множеством очарованных от **Пушкина**:

*“Но солнце южное, но море... Чего ж вам более, друзья? Благословенные края!”*

и до, через 100 лет:

*“Я её [Одессу] люблю. ...я бы хотел подъехать... на пароходе... Встал бы перед рассветом, когда ещё не потух маяк на Большом Фонтане; и один-одинёшенек на палубе смотрел бы на берег. Берег ещё сначала был бы в тумане, но к семи часам уже стали бы видны... красно-жёлтая глина и чуть-чуть сероватая зелень...”*

*Потом начинают вырисовываться детали порта... Лесом, бывало, торчали трубы и мачты во всех гаванях, когда Одесса была царницей; потом стало жиже, но я хочу так, как было в детстве: лес, и повсюду уже перекликаются матросы, лодочники, грузчики, и если бы можно было услышать, услышал бы лучшую песнь человечества: сто языков” (В. Жаботинский, роман “Пятеро”).*

**К. Паустовский**, роман “Романтики”: *“Рано утром по улицам, затопленным нестерпимым одесским солнцем, мы прошли на бульвар к памятнику Ришелье. Голубые туманы залили порт и город. Был блеск солнечных морских миль над свежей водой, свет полуденных стран, хрустального неба и ветра, душистого, как ранний миндаль... В порту качались у молгов синие и белые шхуны, дымил жёлтой трубой одинокий транспорт. Улицы пахли морем и лимонами.*

*В кафе Фанкони... под тентом ходил средиземный ветер, яростно кричали за столиками на чудовищном одесском языке евреи в котелках.*

*Перебирая чётки, ворковали греки. Женщины пылали карминными губами”.*

На диво город. Афродитой встающий из пены морской, всплывающий Атлантидой из прошлого.

## 2. НАЧАЛО

**В** 1789 г. в ходе войны России с Турцией войска русского полководца А. С. Суворова под командованием вице-адмирала де-Рибаса захватили на берегу моря турецкую крепость Хаджибей (Гаджибей, Коцюбей, Качибей в зависимости от языка сменявшихся хозяев - до 15 века татар, затем литовцев, позже турок) - пристанище грабителей, промышлявших на окрестных дорогах. Несколько десятков глинобитных домов, землянки, базар, кофейни, амбары, пристань - ничего примечательного кроме бухты, настолько удобной, что императрица **Екатерина Великая** мая 27-го дня 1794 года повелела де-Рибасу:

*“Уважая выгодное положение Гаджибея при Черном море и сопряженные с оным пользы, признали Мы нужным устроить тамо военную гавань, купно с купеческою пристанью... открыть тамо свободный вход купеческим судам...*

*...устройство сей Мы возлагаем на вас... Из гробного флота служителей к производству работ употребляйте, без изнурения их однако же излишними трудами...*

*...имеете вы во всем относиться к... генералу графу Суворову-Рымникскому... и отчеты в издержках ему представлять имеете.*

*Мы надеемся, что вы... ведая, колико процветающая торговля споспешествует благоденствию народному и обогащению государства, потщитесь, дабы создаваемый вами город представлял торгующим не токмо безопасное от непогод пристанище, но защиту, ободрение, покровительство... чрез что, без сомнения, как торговля наша в тех местах процветает, так и город сей наполнится жителями в скором времени.*

*Пребываем к вам впрочем Императорскою Нашею милостью всегда благосклонны*

*ЕКАТЕРИНА”*

Город назвали (впервые в документе 1795 года) Одессой, вероятно, по имени древнегреческого города Одессоса, который предполагался на этом месте; говорят, Екатерина предложила “Одесс”, а галантный придворный учёный в честь императрицы попросил добавить женское окончание “а”. Позднее выяснилось, что Одессос был вовсе не

здесь, а на большом отдалении, там, где теперь болгарская Варна. Анекдотические несуразности обозначили Одессу с самого её рождения.

Поднимающемуся городу требовались рабочие руки и сметливые головы. Насильственной вербовкой на стройку окрестных крестьян и солдат, бегством от турецкого притеснения греков, молдаван, болгар, албанцев (арнаутов), миграцией западноевропейских искателей удачи - всем тем бойко пополнялось население Одессы, которая сперва именовалась городом Тираспольского уезда Вознесенской губернии (Вознесенск сегодня районный центр), но не прошло и десяти лет, как стала первенствовать в Новороссии.

Одессу сотворяло усердие властей и набежавшего люда, разношерстного, от деятельных негоциантов до безалаберного сброда: бродяг, мошенников, воров... “Республикой жуликов” показался город приезшему европейцу; “Помойная яма Европы” - говорил об Одессе 1803 года А. Ланжерон, будущий одесский градоначальник, французский граф.

Повезло Одессе с Великой Французской революцией: она вытолкнула в эмиграцию, на русскую службу не один мусор дантесов, но и блестящих созидателей столицы Новороссийского края.

Эммануэль дю Плесси дюк де Ришелье - до бегства в Россию первый камергер короля Людовика Шестнадцатого, а после восстановления власти Бурбонов в 1814 году министр иностранных дел и премьер-министр Франции. В России герцог Ришелье стал в 1803 году градоначальником Одессы, а с 1805 года одновременно генерал-губернатором Новороссийского края. Невостребованные революционной Францией таланты герцога развернулись в Одессе.

Ришелье размахнулся строить современно оборудованную гавань и европейский город. Он упорядочил финансовое хозяйство, добился от царя льгот на коммерцию и пользование портом. В Одессу потянулись иностранные купцы, в городе возникли представительства других государств, десятки торговых домов, банк, биржа, коммерческий суд (первый в Российской империи).

В последний год правления Ришелье через одесский порт провернулось товаров на тридцать миллионов рублей - деньги в ту пору труднообразимые.

Приманивая отовсюду дельцов вкладывать средства в одесские предприятия, Ришелье понимал: “не хлебом единым” (кстати, зерно тогда было товаром первейшим) - и благоустроивал город с участием лучших европейских архитекторов. За 11 лет власти Ришелье поднялись театр, собор, синагога, открылись разные учебные заведения, публичная библиотека, музей древностей, две больницы и рынок, пролегали перпендикуляры широких улиц, зашуршали сады...

После замены герцога графом Александром Ланжероном в 1817 году Одессе выпал, наконец, козырь, которого искал ещё Ришелье: “порто-франко”, право беспошлинного ввоза иноземных товаров. Одесса стала крупнейшим скрещением грузовых потоков из Европы и Азии. Уже не только хлебом, как раньше, здесь торговали, но и предметами роскоши - дело намного выгоднее. От богатства и культуре прибыль: знаменательно, что в том же 1817 году открылся респектабельный Ришельевский лицей - основа будущего университета.

С 1823 года Одессой и Новороссией правили уже руки русские, но тоже Европой выхолненные. Граф Михаил Семёнович Воронцов, генерал-фельдмаршал, командовал Одессой до 1855 года с великим умом и умением: при нём ширились порт и торговля, рос город, открывались библиотеки, разворачивалось образование, лицей тянулся на университетский уровень. *“Неимоверно до какой красоты достигла при нём Одесса, каким час от часу возрастающим благоденствием пользуется она...”* (современник **Н. Всеволожский**, 1836-37 гг.). В 1849 г. одесская городская касса была богаче всех в России, включая обе столицы.

Генерал-адъютант Александр Григорьевич Строганов после славной службы в войнах и при царском дворе, после военного губернаторства в столице занимал в Одессе место Воронцова в 1855-63 годы - восемь лет, недолгих, но сложных из-за отмены благодетельного “порто-франко”, проигранной Крымской войны и подрыва торговли зерном американскими конкурентами. Вынести эти удары Одессе помогла строгановская либерализация управления на передовой европейский манер. Строганов учреждал банки, возглавлял общественные организации, добился от царя разрешения быть в Одессе университету - его открыли в 1865 г. Строганов завещал университету богатейшую библиотеку (60 лет собирал), но ценный свой архив, как ни просили, утаил, утопил в море семь неподъёмных дубовых ящиков - одесситы развлекались подробностями.



Разные ходили анекдоты о Строганове. Особенно веселил рассказ о сборе народных пожертвований на монумент Пушкину (евреи тогда соревновались, кто больше любит певца “за нашу Одессу”): генерал-губернатор сборщиков денег от себя погнал, за вольнодумство не жаловал поэта чудаковатый граф. Историки, от крупнейшего С. М. Соловьёва, воспитателя строгановских детей, до современного С. Я. Борового вспоминали графа путано: “честен, не способен брать взятки”, “ум поверхностный”, “ученый самодур-аристократ”, “просвещенный администратор”, “грубиян”, “человек прямой и светлого направления”, “странный человек”. Город Строганова наградил титулом “Первого вечного гражданина Одессы”.

Хлопоты просвещённых правителей и энергия жителей сотворили Одессу “новой Флоренцией”, “вторым Парижем” - так будут говорить о ней в неумеренном восторге от городских ансамблей, от классического аристократизма Воронцовского дворца и Биржи, от шелеста между ними бульвара с памятниками Ришелье и Пушкину и клочкотанием порта внизу, под широкой лентой Потёмкинской лестницы, от уютного скверика с пышным именем Пале-Рояль, от яростной агонии каменного Лаокоона в змеиных тисках посреди уличной суеты, от ажурной архитектуры Пассажа и музыки Оперного театра, от безукоризненно-квадратных уличных перекрестий, от шумной Дерибасовской улицы, самодовольной Маразлиевской, весёлой Итальянской, переименованной позже в Пушкинскую (поэт здесь жил), от мощи платанов и белого трепета акаций, и запаха их, смешанного с иодистым духом моря.

*“Шаланды, полные кефали,  
В Одессу Костя привозил...”*

**(песня)**

...Ну, ладно, думал я, уж нет кефали, нет скумбрии, камбала, говорят, вывелась, даже и бычков, кажется, нет, но что-то же осталось от той Одессы моего детства и от - ещё раньше - великой еврейской общины начала двадцатого века, численно третьей в Европе, первой в России - поистине столицы русского еврейства!?

Через 25 лет после основания Одессы молодой А. Пушкин восторгался новорожденным городом, где “хлопотливо торг обильный Свои подъемлет паруса”, где “всё Европой дышит, веет” и “Язык Италии

*златой Звучит по улице весёлой, Где ходит гордый славянин, Француз, испанец, армянин, И грек, и молдаван тяжёлый, И сын египетской земли...*

Среди разноязычных горожан великий поэт не заметил или не счёл нужным упомянуть евреев. А они были здесь уже при зарождении Одессы - пять или шесть сефардских евреев, наверно, потомки испанских изгнанников, оказавшихся в Турции или Крыму.

Затем вмешалась царская рука. Радея о развитии юга своих владений, Екатерина Вторая поощряла переселение в Новороссийский край евреев из недавно захваченных польских земель. Еврейская община в Хаджибее, начавшись в 1793 г. первым захоронением на еврейском кладбище, опередила официальное рождение Одессы. В 1795 г. здесь уже жило 246 евреев - десятая часть населения.

Правители Одессы зазывали к себе и греков - умелых коммерсантов, и евреев - их бурная предприимчивость сулила городу немалые выгоды. Поселенцам предоставлялись льготы, займы на обустройство, обещалась свобода вероисповедания. Окрестные евреи из убожества “черты оседлости”, ограничивающей их расселение в Российской империи, устремились в новый город к возможной удаче. Они не боялись надрываться на стройках, в порту или каменоломнях, в суеде мелкой торговли и ремесленничества, надеясь выбиться из нужды. Ожидания подпирались властью, поощрявшей создание еврейской общины.

В 1795 г. одесские евреи построили первую синагогу. В 1798 г. возникла Главная синагога, её поддерживало деньгами градоначальство. В те же годы евреи создали своё самоуправление, благотворительные заведения и школы. Евреи втягивались и в общеодесские заботы: двое из них были избраны в городское управление. Одесским евреям тогдашнее градоначальствование Хосе де Рибаса пришлось настолько по душе, что они даже предполагали в нём, выходец из Испании, еврейскую кровь.

С появлением де Ришелье положение евреев ещё более упрочилось. Они торговали, посредничали в сделках, занимались разменом денег... Вызревало соперничество с греками, в чьих руках была коммерция много солиднее, прежде всего, хлеботорговля.

Евреи поднимались в лад с расцветом Одессы после крушения Наполеона и раскручивания торговли Европы с восточными странами, когда благодаря “порто-франко” заморские грузы без удорожающих таможен-

ных сборов текли через местный порт. До того на юго-востоке Европы важнейшим перевалочным пунктом торговли были Броды в Галиции. Но куда им было до Одессы с её морскими путями! И ловкие “бродские евреи” (так называли и последующих еврейских эмигрантов из немецких земель) спохватились сменить родные места на новую перспективу.

Тесно связанные с Германией и Австро-Венгрией “бродские” принесли в Одессу помимо своих капиталов, образованности и оборотистости, немецкий дух, немецкую культуру быта и предпринимательства - всё вместе сочеталось в успех. Конкурентам даже и погромы не помогали, хоть начали их здесь в 1821 г., впервые в России - не обозначив ли тем, наряду с традиционной религиозной рознью, и едва начавшееся, но уже завидное преуспевание одесских евреев?

Не всех. Восемьдесят процентов их ещё и в 1844 году определены генерал-губернатором М. С. Воронцовым как “малодостаточные”. Их тогда правительство вознамерилось выселить из Новороссии как “беспольных”. В ответ граф Михаил Семёнович бестрепетной генеральской рукой отписал царю: *“Само название “беспольные” для сотен тысяч обывателей и круто, и несправедливо... Смее указать, мой государь, сии подданные Вашего величества крайне бедны. Отстранение от привычных занятий обречёт их на истребление через нищету и умственное отчаяние... Благоразумие и человеколюбие заставляют отказаться от жестокой меры..”*. И уговорил императора, прикрыл евреев.

Благоволение Воронцова поддерживало деятельных “бродских” - они заняли ведущее положение в общине, открыли свою синагогу и общеобразовательную светскую школу, где русский язык преподавал христианин, а язык учебников был немецкий.

В обычай одесского начальства вписывалось и покровительство евреям А. С. Строганова. Но и чудил по-своему генерал-губернатор: освобождал старика-еврея от царского запрета носить традиционную еврейскую одежду и строжайше запрещал *“на одесских улицах еврейским свадьбам ходить с зажжёнными свечами и музыкой”*. А еврейский погром в 1859 году подавить Строганов послал полицию немедленно.

По сенью благосклонной власти еврейская община укреплялась в течение всего девятнадцатого века. После Крымской войны, когда главный бизнес одесских греков - экспорт зерна упал в десять раз, ев-

реи оказались живучее и перехватили инициативу: к 1875 г. им принадлежало почти две трети экспортно-торговых фирм Одессы. Они занимали половину выборных мест в Городской Думе, еврейский банкир Р. Хари почти пятнадцать лет ведал денежной деятельностью всего города и, случалось, замещал городского голову.

В 1910 г. евреи - треть горожан; 80 процентов крупных купцов, и больше половины юристов, и две трети медиков - евреи. Им принадлежит половина одесской промышленности. Основа одесского экспорта - зерно - на 82 процента в еврейских руках. А по количеству учреждений еврейского образования (289) Одесса на первом месте в России. Евреев в городе тогда жило около 140 тысяч - впереди в Европе были только Варшава и Будапешт.

Семьи евреев-"богачей" Рафаловичей, Эфрусси, Бродских и других дельцов блистали на авансцене одесской жизни. А в глубине её, естественно, являли себя еврейские бедняки: ремесленники и лавочники, конторщики и приказчики, грузчики, извозчики, чистильщики сапог, просто нищие и бродяги, живущие подаванием, а то и воровством.

Их поддерживала сеть общинных благотворительных заведений, среди них: Сиротский дом, где 200 детей обучали музыке, ремёслам и земледелию; "Общество пособия бедным больным евреям"; "Дом призрения престарелых евреев"; "Общество попечения о бедных и бесприютных детях г. Одессы", готовившее детей к школе и надзиравшее за их жизнью в семьях; "Комиссия по раздаче топлива и пасхального пособия бедным евреям", которая в 1910 г. выдала 65 тысячам евреев по два с лишним килограмма мацы; "Общество санаторных колоний" и Женская колония, где лечились сотни туберкулёзных детей; Общество взаимопомощи приказчиков с библиотекой в 23000 томов...

Бедняков бесплатно лечили в Еврейской больнице. Она с шести коек в 1800 г. за сто лет развернулась в крупнейшее лечебное учреждение с загородным филиалом на Хаджибейском лимане.

Больница, как и многие другие еврейские благотворительные заведения, оказывала помощь и неевреям. В ней, сохранившейся за счёт еврейских пожертвований, в начале 20 века, когда её койки уже исчислялись сотнями, десятую их часть занимали больные-христиане. (Что, однако, не помешало черносотенной власти города в 1907 г. ограничить процентной нормой количество врачей-евреев в той же Еврейской больнице.)

Еврейская больница располагалась на Молдаванке - когда-то окраине города, средоточии бедноты и порождённого ею легендарного мира одесских уголовников.

*“На Молдаванке музыка играет, На Молдаванке пляшут и поют, На Молдаванке прохожих раздевают, На Молдаванке девушек...”* - тут **песня** спотыкается о неприличие. Лучше напеть: *“Там сидела Мурка в кожаной тужурке...”*

Ярче песен - молва. Одесса - город разговорного жанра, и “таки да есть за кого поговорить”.

Шейндля-Сура или Софья, Соня, а фамилий не перечать, потому что аферистка международной известности - Сонька Золотая Ручка. Она в лавке ювелира прятала ворованные камни под изящными длиннющими ногтями; её дрессированная обезьянка, пока хозяйка любезничала с продавцом, заглывала бриллиант и дома выдавала его после клизмы; она в тюрьме за несколько дней соблазнила надзирателя бежать вместе с ней; она на сахалинской каторге избежала наказания плетью, подставив вместо себя беременную арестантку, которую сечь возбранялось; она в другом случае вынесла рекордную для каторжанки порку и почти три года носила кандалы; выйдя с каторги на поселение, жила с мрачнейшим из убийц, торговала водкой и крадеными вещами, открыла на Сахалине увеселительное заведение: выпивка-закуска, карусель крутится, музыка играет, циркач фокусом ошарашивает...

Чувствительные одесситы особо смаковали рассказ, как Сонька по ошибке ограбила бедную вдову и, спохватившись, отправила ей кучу денег с извинениями. В Сонькиной сказочной жизни горожане, увлекшись, путались: то она в 1921 году разъезжала по Дерibasовской, в рыданиях разбрасывая деньги на поминание убитого в ЧК мужа, то её мужем оказывался англичанин, купец и шпион, приехавший с нею в Одессу, а вышла она замуж после побега на пути в сахалинскую каторгу, когда она на стоянке в порту Цейлона бежала с корабля по якорной цепи. “Граждане, слушайте сюда”, а где правда, где треп базарный - кто проверит? “За бандитов” так хочется “чтоб красиво”!

И чтоб с “хохмой” - или это не Одесса?..

“Простите, вы одессит? - А что? У вас что-то пропало?”

(Анекдот)

### 3. ПОБРАТИМЫ

**В** Израиле у Одессы город-брательник - Хайфа. Потому что там и там море, там и там порт, там и там евреи, там и там - цирк.

И вот в 1999 году интрига с украиноевреями свёршется! Еду! В Одессу!

Отплытие утром из Хайфы, от моего Иерусалима 3 часа езды. После естественного ночного недосыпа явились в порт втроём: я, провожающая жена и пузатый чемодан. Пароход - не самолёт, до 100 кг груза позволены, мы и развернулись с подарками.

Вот он, значит, причал, вот просторная синь моря и белый борт теплохода “Абашидзе”, и очередь желающих плыть, - их за сотню, и все с такими же пузатыми чемоданами. Народ, в основном, пожилой, немощный. Кто-то иногородний устал после ночи, проведенной в гостинице, но бодрится: впереди прогулка, покой и воля, отдохнём, отоспимся... А кто помоложе и покрепче, гомонит радостно: вот-вот отчалим, уж там разгуляемся... Все - в счастливом нетерпении. Правда, на досмотр не пускают, задержка, говорят, рейса по техническим причинам. Ну, ладно, публика всё бывшая советская, покладистая, подождём по техническим причинам. А через час-другой проясняется и сама техническая причина: забастовка.

У израильтян забастовка - вроде национального вида спорта. Демократия и рвачество, смешиваясь, нестерпимо соблазняют бросать работу кого угодно от мусорщиков до врачей в больницах или спасателей на пляжах. Скажем, авиаторам сам Бог велел время от времени прикрывать единственный аэропорт и выжимать прибавку к жалованию. Бастуют и похоронные общества, и труженики водоснабжения. Их доходы близки к зарплате министров, но в жарких краях отключить воду, особенно в больницах и при июльской угрозе пожаров, - блестящий ход в праведной борьбе за дензнаки. Не бастуют у нас, кажется, только армия да члены парламента, но последние просто регулярно принимают законы о повышении себе зарплаты.

В моём случае - ещё веселее. Не сограждане забастовали, а экипаж грузинистого лайнера украинско-швейцарского (!) пароходства. Им, оказывается, снизили категорию, как объяснила нам, кандидатам в пассажиры, дама с теплохода, блондинка с неплохо сохранившимися постельными принадлежностями, в прошлом, похоже, из буфетчиц, но далеко по морям пошедшая.

Толпа гомонила, в зале ожидания было во всех смыслах жарко. Дело происходило в пятницу, а в передовом, но обрелигиозненном Израиле с вечера пятницы до вечера субботы жизнь замирает, включая общественный транспорт, так что если до двух часов дня забастовщиков не уболаговорят, то ещё больше суток не только что морем в Одессу, но и здесь никакие автобусы не повезут, и порт закроется, потом ищи-свищи такси, а многим домой в другие города - паника свирепеет, толпа рвёт на части смазливую турагентшу-автора поездки, та отбивается, в помощь ей сошли еще двое с корабля: один, о котором позже, и эта вот лапочка голубоглазая, толково объяснившая распалённым пассажирам, что они, экипаж, воюют не столько даже за свою зарплату, которая зависит от категории судна, сколько нас, пассажиров, ради, потому что среди их, теплохода, требований есть ремонт, корабль в ужасном состоянии, тараканы кишат, иллюминаторы разбиты... Мне издалека слышались только обрывки её речи, но показалось, что этой забастовкой сам Бог нас спасает.

Так я и попытался разъяснить близрасположенному народу, рвущемуся на морские просторы; мол, может, к лучшему оно, не плыть с разбитыми иллюминаторами. Попутно вспомнил я и запланированную экскурсию по Стамбулу, а там аккурат накануне курды провели террористический акт и грозят изводить в Турции туризм на корню - может, опять-таки нам свыше избавление от опасности? Тут мне отъезжающие (точнее, остающиеся) и говорят: “Вы что, какой Стамбул? Его именно из-за опасности и отменили” - “Как?! Кто? Когда?” - “А вам разве не звонили? Нам вчера позвонили и сказали, что Стамбул отменяется” - “Интересно. И где мы будем эти стамбульские сутки мотаться?” - “А нигде. Придём в Одессу на день раньше” - “Позвольте, - удивляюсь с неизбывным своим идиотизмом, - ведь я сообщил своим, чтобы встречали 7-го” - “Ну, а мы придём 6-го. Ничего, вы не один такой. Кому-то звонили, предупредили, кому-то не успели”...

Созидателем поездки была, замечу, одна из лучших в Израиле туристских фирм, назову её “Эх-ма Холидейз”.

...Я вдруг устал воевать с фирмой, с теплоходом, с его тараканами и буфетчицами, с Богом, уцепившим меня за задницу. Я сдался. Я сдал. Я сдал свой билет. Горите вы с вашей поездкой, паразиты международные!

Горели, конечно, не они, а мы, несостоявшиеся пассажиры. Они же, организаторы и благодетели, тушили страсти, для чего и появился бок о бок с красотками турагентства и корабля ещё один сокол, крутой хлопец лет 50-ти, грудь колесом, седина коротко и энергично подстрижена, глаза нежно-голубые и вместе строго-стальные, под тонкой рубашкой мышца накачанная, из наглаженных шорт тоже мускул нехилый выкатывается - ладно скроен крепышок, лицо гладкое, чем-то и привлекательное, но такая маслянистость во взгляде, на щёчках, на подбородке - ой, жучок, ой, из родного одесского детства, ой, с Привоза мальчик!..

Там, на рынке кипела жизнь голодной послевоенной Одессы, там, в знаменитой толкотне среди продуктовых соблазнов, между нищих, инвалидов и жулья - там, на Привозе, разбитной парнишка в клёшах полуметровой ширины (вроде бы морячок, их Одесса всегда уважала: “мореман” - говорили чуть ехидно, но и с любовью) разыгрывал с подставными партнёрами представление в “3 листика” - “Угадай туза, полста твоих! Оп! Оп!” - три карты летали в его руках, ложились на дощечку вверх рубашкой, но в порядке вполне очевидном, и партнёры выискивали туза почти безошибочно, обогащались легко и заманчиво, а вслед за ними заезжий деревенский лопух зачарованно выворачивал карманы. (Бессмертная игра, завезенная ныне в Израиль, случается, оживляет и святой град Иерусалим. Марокканские евреи, явно только-только из тюрьмы, с той же лихостью мечут карты, эффектные русские блондинки завлекательно выигрывают, мимоидущая толпа поставляет жертвы вроде наивных американцев или дорвавшихся до азарта религиозных подростков.)

Вот и в хайфском порту проклянулся одесский Привоз, и тот мореман, теперь с теплохода “Абашидзе”, сменив послевоенные клёши на аккуратные шорты, сказал красиво налаженным баритоном: “Господа-граждане! Очень прошу, убедительно прошу, во-первых, успокоиться. Я буду записывать всех, кто согласен улететь вместо этого плаванья. Потому что команде кое-что предложили в смысле денег, но они не согласны и сколько ещё простоят в порту - неизвестно. Наша



фирма (потом выяснилось, что он - представитель промежуточной фирмы, которая для израильской “Эх-ма” арендовала швейцарско-украинского “Абашидзе” - диво дивное международного сотрудничества), наша фирма для вашего удобства будет на следующей неделе доставать вам билеты на самолёт”.

Начинается давка к нему на запись. Все понимают, что достать больше сотни авиабилетов в разгар летнего сезона, когда всё наперёд распродано - маловероятно, если и повезёт, то только первым. А вопрос, между тем, нешуточный, ведь помимо тех, у кого сорвались намеченные планы и встречи, есть и туристы, у которых в сей момент кончается виза и они остаются в Израиле неизвестно на какое время и на каких правах.

И сидит на скамейке в здании порта круглоглазый одесский жмурик-шурик по имени вроде Егор или Игорь, в общем, Игорёк, а на него прут люди со своими жалкими фамилийками, и он, не поднимая озабоченной головы, усеивает свои скрижали их именами и цифрами телефонных номеров, и отвечает на лавину повторяющихся вопросов: “Всех отправим... Не сразу, а как получится. Сразу не обещаю... С воскресенья полетите... В субботу у вас в Израиле ничего не работает... Позвоним, а как же?... Отправим... Позвоним... Станьте в стороночку, кто записан... Не мешайте работать... Запишу, потом отвечу”... И вдруг вскакивает с рёвом: “Я не могу так работать! Женщина, что вы всё время спрашиваете? Я прекращаю запись!!” И нервно ходит между стульями, а в руке его полощется белый листик заветного списка - трепет авиапочты.

Все в страхе умолкают, особенно пугается та женщина интеллигентно-забитого вида, чей вопрос был последней каплей в чаше игорькового терпения; таких, как она, всегда затягивает под колесо судьбы.

Народ заткнулся, психолог Егор-Игорёк завершил скорбную перепись.

Глядя, как люди колотились плечами и животами, только что не затаптывали сами себя, а потом, записавшись, стихали и расходились, я вспомнил прощание с Высоцким в день его похорон в Москве. Милиция направляла толпу в переулки вокруг Театра на Таганке, где стоял гроб, так что в конце двухкилометровой траурной людской змеи никто не видел, куда девается её голова, которую остроумные милиционеры возле самого Театра отворачивали мимо него, в пустоту прилегающих улиц.

Так и мои спутники, уgomонясь, стихали почти в такой же пустоте, в надежде почти призрачной. (Позднее, впрочем, оказалось, что человек тридцать улетели.)

Потом мы ехали домой - обделавшаяся турфирма разбрасывала клиентов по их домам бесплатно. Нас вёз таксист, мистически оказавшийся бывшим (30 лет назад) одесситом. Рядом с прибрежным шоссе, в окошке нашей машины колыхался расплав Средиземного моря, но его ядовито-зелёная роскошь не замещала тёмную белопенную синь Чёрного. Я тосковал вслух. Таксист утешал: “Всё впереди, вы ещё поедете в нашу красавицу Одессу, не сегодня, так завтра, куда торопиться?” И добавил: “По Дерибасовской гуляют постепенно”.

Кажется, это Жванецкий.

#### 4. ЛИЧНОЕ

Замечательные одесские писатели. Куда я суюсь со своим текстом? От Бабеля просто руки опускаются: жизнь одесской Молдаванки у него набита *“сосущими младенцами, сохнувшим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шика и солдатской утомимости”*. Бабель - не фотограф. Живописец. Ему бы делать эту книжку о крушении еврейской Одессы. Однако на нет суда нет.

Остаётся склониться в тень другого литературного одессита, на склоне изворотистой своей жизни изобретшего жанр, который он несколько кокетливо назвал “мовизм” от французского “mauvais” - “скверно” - этакую мозаику обрывочных текстов, напрашивающуюся для темы “Одесса”, в литературе столь многократно и талантливо прокрученной, что вроде бы явный перебор грозит, но как не попробовать? И по опыту средневековых центонов, выстроенных из стихотворных цитат, сцепить греющие душу литературные выдержки, и документы, и свидетельства очевидцев - не слишком трудная задача автору, склонному паразитировать.

Сверх того у меня сентимент: детство моё частично в том городе состоялось. Потом, в юности и молодости, одурманенных комсомольской страстью к покорению Сибири, невероятный мой одесский патриотизм сменился презрением к бесперспективности увядающего города с его безголосой оперой, отжившими хохмочками и дешёвой романтикой моря. Теперь же, с высоты (или из глубины) прошедших де-

сятилетий, из захолустья и громокипения Ближнего Востока проглядывался мне тот прославленный знаменитыми голосами и перьями город великолепием. Каялась моя душа.

Сверх того: Евгения Ефимовна просила. В письме в израильский Мемориал *Шоа* - еврейской Катастрофы. Мемориал Яд ва-Шем.

## 5. ГРОДСКИЙ

**В** Яд ва-Шем пишут много и разное. Воспоминания, благодарности, претензии, стихи - из глыбы общей Памяти люди высекают свои искры боли, умиления, недовольства. Просьбы приходят самые неожиданные - например, помирить с мужем, бросившим семью, или вроде такого: “Я, Рабинович Игорь Рафаилович, заслуженный работник милиции 35 лет стажа, имею правительственные награды. Хочу как еврей помочь государству Израиль в вопросе памяти евреев, убитых в Отечественной войне. Посылаю список погибших воинов-евреев, которых я выписал из архива нашего райвоенкомата, и мне перепечатали на машинке как знакомому. Это большая работа, всего 529 фамилий... Эту большую работу я сделал бескорыстно, живу на пенсии и не имею дополнительных доходов. Прошу оплатить мой труд хотя бы 150-200 долларов. Ко мне в Таракановск деньги не присылайте, а прошу отдать моему сыну, который проживает у вас в Израиле по адресу...”

“Фраеров нету, гони монету” - мудрость народная международная.

Есть, есть еще, однако, фраера. Письмо Е. Е. Хозе - совсем иная просьба, робкой рукой. Она, Евгения Ефимовна Хозе - девочка Женя в Доманёвском гетто Одесской области - выжила с помощью неевреев, и вот: *“Если бы можно было сообщить о подвиге этих людей в прессе - это было бы справедливо”*.

Тех, кто спасал евреев в годы Шоа, в Израиле награждают званием “Праведников Народов Мира”. Спасённые евреи часто просят воздать их спасителям эту почесть, но такое скромнейшее *“сообщить в прессе”* и наивная русско-советская вера в силу печатного слова - подкупа-

ли. К тому же имя главного спасителя, Константина Михайловича Гродского, интриговало: не еврей ли сам, такому сидеть бы тише мыши... Я ткнулся к Хозе с письмом-просьбой о подробностях, она ответила - назвала свидетелей, других спасённых и спасителей, некоторые ещё здоровствовали, кто на той одесской, кто на здешней израильской земле. В переписке с ними, в разговорах, намотанных на магнитофонную плёнку, закрутилась тема, и вот в иерусалимской моей квартире дрожат на столе старушечьи строчки писем, смотрят глаза с давних блеклых фотографий, сползают с кассет хриповатые старательные голоса...

**Лидия Гимельфарб** (интервью): “Гродского я знала с 1930 года, а до того слышала о нём. Говорили, что до революции он был меньшевиком, а потом от всего этого отошёл, стал беспартийным, но сохранил большие связи с верхушкой большевиков, чуть ли не до Ленина. Иначе его бы уничтожили. Ведь он был необыкновенным человеком, как только слышал о несправедливости с кем-нибудь - сразу вмешивался.

В конце двадцатых годов в поликлинике, где он работал врачом-венерологом, убили одного врача-грузина. Очень уважаемого, но он был чем-то неугоден властям. И вот к нему в кабинет зашёл человек и застрелил его. Вся Одесса кипела... Мол, это чекисты [карательные органы] устроили. Их было полно и на похоронах, они старались, чтобы не было шума. Похороны начинались в поликлинике, тело лежало там. Собралась уйма людей. На балкон вышел Гродский и на всю эту колоссальную толпу произнёс блестящую речь с возмущением о зверском убийстве доктора. Одесситы вспоминали известную речь Ленина в Петрограде с балкона Кшесинской. Гродский вообще немного походил на Ленина: невысокого роста, такая же лысина, такое же лицо овальное, а волосы тёмные, гладкие, глаза карие...

Выступлением Гродского вся Одесса восхищалась, все знали, что это очень опасный поступок, вразрез с партийной линией. Но Гродский всегда шёл на защиту другого, невзирая на возможные свои неприятности. Например, в одной семье три брата - два меньшевика и один сионист - сидели в тюрьме. Время голодное, нужны передачи, а семья бедная. Гродский о них узнал и сразу стал помогать. Он был авторитетом, величина в Одессе, но всё-таки никто не понимал, как он ничего не боялся”.

Одесса - клочкотание слухов: из зоопарка сбежал лев; знаменитому футболисту запретили бить убойной правой ногой, чтобы мячом не прикончить соперника или ворота, упаси Боже, не поломать; урки играют в карты на живых людей, проигранных режут прямо на улице. Театралы припоминали дореволюционного гастролёра из Англии: он так душил на сцене Дездемону, что в зале неверные жёны падали в обморок, честное благородное слово; и ходил, добавляли некоторые, в партере ходил мальчик и за пару копеек предлагал валерьянку, маленький гешефт, золотая одесская голова, не Додик Ойстрах, но что-то вырастет... Развёрстые одесские уши, неумолкающие одесские рты: кого сняли, кого назначили, кого посадили, кто женился-развёлся-сошёлся и с кем и, будьте добренькие, с подробностями. Доктор-то Гродский *а пропо* тоже женился - и на ком бы вы подумали? - девочка на тридцать лет младше, Надюша, Наденька, из дома ушла, из такой семьи, дядя знаменитый петербургский Михаил Осипович Гершензон, отец - наш профессор Гершензон, дружил с Гродским, а теперь дочку видеть не хочет, с зятем не здоровается...

**Белла Шнапек** (знакомая Гродских, сегодня живёт в Ашдоде, Израиль): “Их разница в возрасте не чувствовалась. Надежда Абрамовна, Надя была шатенка, не очень красивая, но хорошо сложена, интеллигентного вида, характер суховатый... Она в него безумно влюбилась. В него нельзя было не влюбиться: в высшей степени интересный человек, образованный, умный. Всегда подтянут, аккуратен... Бородка небольшая. Слегка шепелявил, “р” не очень чисто произносил...”

**Л. Гимельфарб**: “Ему тогда было лет пятьдесят. В его внешности ничего особенно красивого, но такое обаяние, что мы, девчонки, понимали этот роман. У нас в химическом техникуме Константин Михайлович начал в 1930 году читать органическую химию. И вот сентябрь, он в первый раз входит в аудиторию и студенты сразу в его власти - он буквально излучал что-то такое... Он и одет был не как все. Без пиджака, белоснежная рубашка с большим чёрным бантом вместо галстука. Актёрский вид.

Он читал необыкновенно. Мы обожали его и его органическую химию. На контрольных работах он отвернувшись, читал книгу, а нам казалось преступлением воспользоваться шпаргалкой. Получить у Гродского оценку ниже “отлично” у нас считалось неприличным”.

Уже через два месяца случился скандал. Шестнадцатилетних студенток несправедливо обвинили в отлынивании от уборки кукурузы на селе, устроили модный тогда товарищеский суд с подготовленными комсомольскими обвинителями, с выкриками из зала: “Буржуйские фифочки!”, с предложениями вышвырнуть “мамочкиных дочек” из техникума, и тут доктор Гродский пламенной защитительной речью развернул ревущее собрание к сочувствию и сорвал запланированный партийно-комсомольский спектакль. Гродскому, конечно, не простилось: выговаривали на партбюро, на педсовете... И он ушёл. Техникум был ему вроде развлечения, кормила врачебная практика и собственная лаборатория медицинских анализов.

**П. Великанова-Никифорова** (коллега Гродского, из письма): *“Это был очень образованный врач, получивший медицинское образование в Германии, в дальнейшем следивший за медицинской литературой, издаваемой в Европе, т.к. знал немецкий, французский и английский языки. Специализировался он преимущественно на дерматовенерологии, хотя при обращении помогал всем больным”.*

Почтительно написала одесситка П. Великанова о германской выучке Гродского. И не случайно. В интеллигентной Одессе “немецкость” обозначала высшее качество жизни и культуры: Париж Парижем, но Германия - сами понимаете!..

“Бродские евреи” заквасили жизнь одесской общины семенами *Хаскалы* - еврейского Просвещения, сблизившего еврейскую традицию и европейскую культуру.

В России середины 19 века центром *Хаскалы* была Вильна - почтенный “Литовский Иерусалим”. Одесскую общину российские еврейские просветители-*маскилим* не жаловали: здешние евреи слишком незатейливы, мозги гешефтом заняты, душа в развлечениях порхает - какие тут, спрашивается, духовные запросы?..

Русские *маскилим* ошиблись. Взлёт Одессы, её мировые деловые связи, национальная пестрота одесситов, сплетение культур и народов сочетались тут с вольномыслием молодой еврейской общины - не лежала на ней вековая “пыль поколений” (выражение раввина и писателя

Ш. Левина). Одесса вообще Бога почитала без рвения: здесь и в православную церковь не слишком ходили, и треть христианских супружеств жила невенчанными. И евреи, к житейскому успеху устремясь, рванулись в сторону европейской культуры, в русло общееврейского движения, завихрившегося в конце 18 века от всеохватного урагана идей Свободы, Братства, и, главное, Равенства, которое даст, наконец, возможность евреям прорваться из местечковой затхлости к блеску столичных салонов.

Прцветание и богатство ожидали евреев на путях Просвещения - так провозглашал гений Хаскалы Моисей Мендельсон. Он жил и творил в Германии - в глазах “бродских евреев” естественно: где ещё ума набираться? Кант, Лессинг, Шиллер, Бетховен, Гёте... Гейне, наконец... “Бродских евреев”, галицийских жителей Австро-Венгерской империи, питала немецкая культура, как многие-многие годы кормила торговля с Германией, чаровавшей “бродских” немецкой основательностью, умом, деловитостью, трудолюбием, честностью - всем, чего не хватало суетливым евреям и полупьяным русским дельцам.

С Германией в уме и в сердце пришли “бродские” в Одессу, где общиной заправляли ортодоксальные евреи - неслигаемые хасиды. Новое, как обычно, пробивалось с боем. В прямом смысле: уже в 1817 г. поборники религиозной вольности побили на улице раввина - строгого ревнителя традиций. А в 1826 году, когда “бродские евреи” взялись открыть школу с обучением детей светским дисциплинам, городской раввин немедля написал генерал-губернатору: инициаторы школы сами бездетны, родителям же евреям она ни к чему, кто хочет, пусть учит ребёнка нееврейским дисциплинам в христианской школе или наймёт учителя.

Школу, однако, открыли - окно в Европу для еврейских детей Одессы.

Так и жила община, по еврейскому обычаю, в борьбе: опора хасидов Главная синагога против Бродской - центра реформаторов. Первую материально поддерживали городские власти, вторую содержали с 1841 г. на свои деньги “бродские евреи” - люди с капиталом, верхушка общины.

“Кто её обедает, тот её и танцует” - игриво говаривали в Одессе. Или деликатнее: “Кто платит, тот и заказывает музыку”. Богатая

Бродская синагога диктовала общине новинки вплоть до сочинений собственных музыкантов, равноправно сочетавших еврейские традиционные мотивы и христианские мелодии Генделя или Баха (как же без Германии?). Здесь, в Бродской, зазвучали первые в России синагогальный хор, а с 1909 г. оргán с органистом-немцем из лютеранской церкви.

Музыка завлекала в Бродскую синагогу и неевреев, они, включая христианских священников, являлись не только на организуемые по праздникам платные концерты, но и на субботние молитвы. А евреям Одессы Бродская синагога стала духовным и интеллектуальным центром.

Тому исключительно способствовал немецкий раввин Шимон Швабахер, доктор философии и богословия. В России иноземным раввинам служить запрещалось, но Швабахера в 1860 г. назначили казённым раввином в Одессу - генерал-губернатор Строганов пособил. Ш. Швабахер - яркий европейский интеллигент, взялся менять многое вплоть до упрощения обрядов. Он стоял у истоков создания для евреев первого ремесленного училища и благотворительных учреждений, организуя, сотрудничая, жертвуя собственные деньги. Швабахер благодетельствовал широко: он мог заниматься сбором пожертвований и для соплеменников-переселенцев в Палестину, и для болгар, воюющих с турками.

Швабахера почитали, но отнюдь не все. Многие огорчались нарушением традиций, а сверх того - непонятным немецким языком поведений красноречивого раввина. Не раз вскипали вокруг Швабахера страстные споры. За 28 лет его службы каждые три года при очередных выборах казённого раввина Швабахер воевал с различными кандидатами-соперниками. И когда Швабахера всё-таки отстранили от должности по той же причине, что он иностранный подданный, раввин - умер.

А Хаскала не умирала, и в шестидесятые годы Одесса в Просвещении уверенно опередила Вильну; теперь Одессу тоже называли Иерусалимом, “Новороссийским”.

И дух немецкий не снижал в этом городе - о Германии говорили с непременным “О!” восхищения, со вздёрнутой почтительно бровью. И речь немецкая, что родной идиш, и Гейне вровень с Пушкиным. Одесский деятель М. Моргулис в 1880-е годы свою мечту о духовном пер-



венстве Одессы среди русских евреев выражал так: “Одесса будет для России тем, что Берлин для Европы”.

Свет в окошке - Германия, туда тянулись за европейским лоском и образованием. Гродский вернулся оттуда Врачом.

## 6. ПЕРЕПУТЬЯ

Враждующие лагеря в еврейской общине, в отличие от других городов России, не обозначали себя как прогрессисты-маскилим и консерваторы-приверженцы старых традиций. В динамичной Одессе все числили себя в передовых. А как же!.. Одесская община - современнойшая среди русского еврейства, культурнейшая.

В 1860 г. здесь начали выходить газета на иврите “Ха-мелиц” и еврейский журнал на русском языке “Рассвет”, первый в России (очень помог тому попечитель одесского учебного округа знаменитый русский хирург Н. И. Пирогов, большой благожелатель евреев). “Рассвет” в 1861 г. сменился журналом “Сион”, затем появились ежедневные газеты: русскоязычная “День” с 1869 г., а в 1910 г. “Гут моргн” - на идиш, который в начале 20 века считали своим родным языком почти все одесские евреи.

Еврейская пресса Одессы и развитие в городе книгоиздательства позволили зазвучать на всю Россию голосам одесских еврейских просветителей. Почитая Германию, они жили всё же в России и тянулись любить её, и ждали взаимности.

В огне погромов 1881 года выпарились многие надежды русских евреев. Как ни старались они врастать в культуру России, служить руссконародным нуждам, как ни уповали на прогресс русских умов, на рост образованности, христианское сердоболие и совестливость гуманистов - ничего не меняло положения евреев... Трезвея, они искали: продолжать ассимилироваться? объяснять ненавистникам свою пользу? драться за будущий социализм, когда общая сытость примирит “эллина и иудея”? искать землю, где евреев не бьют?..

С 1882 г. до 1914 г. из России вытекло три миллиона еврейских беженцев, более всего за океан, где манила Америка; одесские евреи ударились в бегство чуть ли не на следующий после погрома день.

Но ещё одна возможность замаячила. Еврейские интеллигенты Европы, разочаровавшись в ассимиляции, голосом М. Гесса ещё в 1862 г. предложили: создавать себе прибежище не среди других народов, а рядом с ними, на равных; строить свой дом, своё государство - зародился сионизм. В его созидании Одессе - месту погромов и интеллектуальному центру - выпала выдающаяся роль.

В Одессе в 1881 г. писатель и публицист П. Смоленский сменил свою двадцатилетнюю просветительскую деятельность на пропаганду коллективной эмиграции евреев в Эрец-Исраэль. Одессит М.-Л. Лилиенблюм звал осваивать Палестину: *“Одна коза, приобретённая евреем в Эрец-Исраэль, важнее десяти гимназий”*. Другой влиятельный одесский интеллектуал Ахад-ха-Ам (псевдоним А. Гинцберга), основал *“духовный сионизм”*. *“Идея государственности, не опирающаяся на национальную культуру, способна отвлечь народ в сторону от его духовных устремлений... таким образом порвётся нить, связующая его с прошлым”* - писал Ахад-ха-Ам. Однако погромы требовали не столько духовности в еврейском доме, сколько самого дома. Строить его немедленно - идея *“политического сионизма”* Т. Герцля. Но высказана она была за полтора десятка лет до него.

В 1882 г. в Берлине вышла в свет анонимная брошюра *“Автоэмансипация. Призыв русского еврея к соплеменникам”*. Она разъярила немецких евреев: антисемитизм, говорилось в ней, - это постоянное явление, обусловленное страхом перед еврейским духом, неизлечимой болезнью *“юдофобии”* (определение автора), старания евреев вписаться в нееврейское общество безнадежны, надо не выпрашивать равноправие, а завоевать его собственными усилиями - автоэмансипироваться. Автор звал евреев *“стать нацией”*, организоваться, создать руководящий орган, собирать средства на приобретение территории будущего государства евреев, создавать там сельское хозяйство и промышленность. Написанная просто и ярко, *“лозунгово”*, подобно популярному *“Коммунистическому Манифесту”* Маркса и Энгельса, *“Автоэмансипация”* легко подкупала читателей. В отличие от *“приспособившихся”* германских евреев в послепогромной России брошюру воспринимали восторженно.

Через год, в 1883 г. раскрылся автор “Автоэмансипации”: знаменитый одесский врач Леон Пинскер, сын известного педагога С. Пинскера. Л. Пинскер окончил в Одессе русскую гимназию и юридический факультет Ришельевского лицея, затем медицинский факультет Московского университета и после стажировки в Австрии и Германии вернулся в Одессу активным пропагандистом ассимиляции. Он пошёл добровольцем на Крымскую войну, оказался среди первых шести евреев, заслуживших царский орден Святого Станислава. Затем лечил одесситов с огромным успехом, писал статьи о необходимости приобщения евреев к русской культуре, участвовал в благотворительности и общественной жизни. Образцовая биография преуспевающего еврейского интеллигента - и вдруг, в шестьдесят лет выплеск “Автоэмансипации” - провозвещательницы сионизма.

Человек действия, Л. Пинскер вместе с М. Лилиенблумом основал движение “Ховевей Цион” (“Любящие Сион”), оно сменило харьковских “билуйцев” - первых энтузиастов, отправившихся в 1882 г. из Одессы заселять Эрец-Исраэль (“БИЛУ” - первые буквы фразы на иврите из Торы “О, дом Иакова, вставайте и пойдём!”) Их опыт, неудачный из-за тяжёлых условий Палестины, однако вдохновляюще подтолкнул деятельность “Ховевей Цион”, после долгих и тяжёлых хлопот разрешённого петербургскими властями под названием “Общество вспомоществования евреям земледельцам и ремесленникам Сирии и Палестины”. Первая и единственная в России официальная палестинофильская организация, она открылась в апреле 1890 г. в доме своего первого председателя Л. Пинскера. В следующем году он умер.

Палестинофильское общество собирало деньги на покупку земли в Палестине, отправляло эмигрантов, обучало их. В обществе работали М. Усышкин, Ахад-ха-Ам, Д. Пасманик, И.-Г. Клаузнер - университетский лектор в Одессе и Иерусалиме, в 1949 г. кандидат на выборах первого президента Государства Израиль.

Крылатые судьбы одесских сионистов! Мальчик Миша из дома 32 на Базарной улице в 1885 г. за участие в русской революционной организации “Народная воля” сел в одесскую тюрьму, после неё стал активистом “Ховевей Цион”; с 1921 г. он уже Меир Дизенгоф - первый мэр Тель-Авива. В сегодняшнем Тель-Авиве улица его имени пересекается с улицей Жаботинского, и Дизенгоф-центр соседствует с Домом Жаботинского - одесская молодость Израиля.

Владимир (Зеев) Жаботинский. *“В нём было что-то от пушкинского Моцарта, да, пожалуй, и от самого Пушкина”*, - вспоминал **К. Чуковский**, одноклассник Жаботинского, их вместе вышибли из последнего класса за выпуск рукописного журнала с насмешками над родной Ришельевской гимназией.

Уже в двадцать с небольшим Жаботинский в Одессе - известный поэт, переводчик, журналист, драматург, яркий оратор, радетель европеизации евреев и социализма: в полицейском “Дневнике наблюдения по гор. Одессе” с 13 января по 22 апреля 1902 г. прослежено по дням и часам, с кем встречался и куда ходил *“Жаботинский Владимир Евлов Евгениев, 22 лет, Николаевский мещанин, занимается в редакции газеты “Одесский листок”, кличка Школьник...”* Он успел и недолго посидеть в одесской тюрьме в 1903 г. за связь с революционным социалистическим подпольем.

Модный роман с европеизмом был недолог, с социализмом и того скоротечнее. Потому что в том 1903-м взорвался Кишинёвский погром. Он столкнул предельно передового интеллектуала с дороги благополучия и признания: подобно Л. Пинскеру после погрома 1881 г., подобно Т. Герцлю после дела Дрейфуса во Франции 1894 г. Жаботинский бросился творить государство гонимых евреев. В августе 1903-го 22-летним он поехал делегатом от Одессы на Шестой Сионистский конгресс в Базеле, где услышал последнее выступление Т. Герцля; тот вскоре умер. Жаботинский словно принял эстафету.

Он вывернул себя наизнанку, ради спасения евреев отказавшись от надёжного успеха, завоёванного на старте жизни, от блистательной литературной карьеры, даже от родного города, о котором в дневнике 1930-го года, уже давно и бесповоротно расставшись с Одессой, заметил: *“Я люблю такой маленький городок, которому достаёт наглости считать себя центром мира, - как мой родной город Одесса...”*

Создатель первых вооружённых сил палестинских евреев и партии сионистов-ревизионистов, Жаботинский расходился с “официальным” сионизмом по самым разным вопросам: политическим (он требовал высокой активности в борьбе за еврейское государство), социальным (*«В период становления [государства] недопустима классовая борьба»*, - писал он), религиозным (*«Любой атеист обеими руками за мораль, так зачем же религиозная “упаковка”?»*), моральным (*“Почти в любом столкновении интересов личности с дисциплиной и подчинением я - на*

стороне личности”) и многим другим вплоть до поведения в общественной жизни («Мне отвратительно и гадко всё, хоть отдалённо напоминающее культ личности») и в обыденности («Мы, евреи, страдаем неумением себя вести... Утрачено чувство “этикета”».)

Взгляды Жаботинского, да и сама его личность не могли не раздражать. “Повесить надо вашего сына”, - заявил его матери М. Усышкин ещё в Одессе. “Горе народу, у которого такие лидеры!” - писал о Жаботинском Шалом Аш, американский писатель. Х. Вейцман, будущий президент Израиля, говорил Жаботинскому: “Я не могу, как вы, работать в атмосфере, где все на меня злятся...”. Когда Бен-Гурион, лидер “рабочих сионистов” в 1935 г. предложил соратникам ради общеврейских интересов объединиться с ревизионистским движением Жаботинского, те своего вождя не поддержали.

Но и они, кляня Жаботинского, признавали за ним интеллектуальное первенство среди сионистских деятелей всего мира.

В сравнение с Жаботинским просится Лев Троцкий: в юности тоже одессит (его училище имени св. Павла при советской власти побудет недолго школой имени Троцкого - один из местных анекдотов), и в той же одесской тюрьме вызревал, и тоже фейерверк талантов, включая литературные и организаторские, тоже безоглядная самоотверженность разворота в политику, тоже мыслитель, и воин, и деятель - вождь с замахом ещё бóльшим: устройство не одной страны, но всего земного шара. Только за делом Жаботинского - правда и победа, пусть посмертная, а за делом Троцкого ложь, кровь и - крах.

Социалистические соблазны. Евреям как было не увлечься перспективой разделаться одним махом и с антисемитизмом, и со всеми социальными уродствами на путях борьбы за новое справедливое общество. И они упоённо бросались в драку.

В Одессе это было легче лёгкого: она с 1870-х гг. была одним из центров русского революционного движения. В 1874 г. в Одессе возникла первая в России рабочая тайная революционная организация “Южно-Российский союз рабочих”, насчитывавшая до 200 членов. В Одессе русские террористы из организации “Народная воля” держали свою типографию; они дважды (1879 и 1880 гг.) пытались убить царя, а в 1882 г. двое из них застрелили на Приморском бульваре военного

прокурора генерала Стрельникова, прибывшего из Киева в Одессу расправляться с царскими врагами.

Уже в семидесятые годы выделялся среди бунтарей еврей С. Чудновский. Его возмущали погром евреев в 1871 г. и рассуждения революционных товарищей о вине евреев в эксплуатации русского народа, но, тем не менее, он считал, что спасение евреев только в уничтожении самой эксплуатации; национальные интересы евреев, естественно, значения не имеют. В январе 1874 г. Чудновский был схвачен при получении на почте запрещённой литературы - первый арестованный в Одессе революционер.

В 1888 г. ученики еврейского ремесленного училища “Труд” образовали революционный кружок. Его организовал Нахамкис - будущий большевик Ю. Стеклов, в 1893-1894 гг. один из руководителей тайной рабочей организации в Одессе, активный участник русских революций 1917 г., затем видный советский журналист; его не раз сажали при царизме (а убили в годы сталинских репрессий).

Революция выворачивала судьбы одесских евреев круче сионизма и неизменно кроваво. Яков Блюмкин: ученик ешивы М. Мойхер-Сфорима, в 1918 г. убийца германского посла, шпион, лазутчик в экзотических краях, троцкист, чекист<sup>1</sup> и в ЧК расстрелян. В интернетовской энциклопедии “Одессика”: *“Тепер Илья Наумович... Известен под псевдонимом Шами Александр Моисеевич... Участник Гражданской войны. С 1922 - член ЦК коммунистической партии Палестины. С 1925 - секретарь ЦК компартии Сирии. Один из организаторов и руководителей вооруженного восстания сирийского народа против французских колониальных властей. После возвращения в СССР...арестован и в 49 лет расстрелян”*. Тепера-Шамаи в Палестине занимали не евреи с их эгоизмом-сионизмом, а всеарабское будущее счастье. Итог - пуля сопартийцев.

Среди евреев не обошлось без охотников сплести национальные еврейские интересы с классовыми: в 1899 г. возник социалистический сионизм и соответствующая партия Поалей Цион (“Труженики Циона”) с обычными внутривнутрипартийными разборками. В ходе споров откололись радикалы - именно их вотчиной стала темпераментная Одесса:

---

<sup>1</sup> Сотрудник ВЧК (иначе: ЧК) - Всесоюзной Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

в 1917 г. здесь находилось их руководство, они активно проявляли себя в политической пестроте революционного города.

Радикальная Поалей Цион была партией с большевистскими целями, дополненными созданием государства для евреев. Но ещё больше евреев подобно Чудновскому или Троцкому уходило от своего еврейства в борьбу за общечеловеческое счастье. Никому из них, хоть бы и почти гениальному Троцкому, не почуялось в революционных буднях постоянство еврейской судьбы.

## 7. ШИМЕК

**М**альчик жил в Одессе. Сима - Шима - Шиме - Симха - Шимка - звали кому как удобнее. Для бабушки - Шимек.

Ещё в полусознательном малолетстве Шимека родительски заботливая сталинская власть изъяла из его жизни отца; мама Женя, спасая себя от ареста и сына от сиротского дома, сбежала из столицы, где они обитали, к своим родителям в Одессу. Здесь жизни Шимека предстояло пробуждаться под ласковым начальством бабушки. Мама почти не участвовала: от зари до полночи она отстукивала синие строчки на машинках двух учреждений. А дед царил где-то высоко: достаточно было видеть, как бабушка подавала ему обед, выкладывая крахмальную салфетку, устанавливая отдельную тарелочку для хлеба и серебряную с шариками-шишечками на крестообразных ножках подставку под нож и вилку, как заправлял дед салфетку под горлом за галстук, как ел размеренно, неспешно манипулируя столовым прибором - трапеза английского лорда, и это посреди коммунальной квартиры, за дверью керосинный чад и наостренное ухо соседки...

Дед - строгий, молчаливый, застёгнутый наглухо, в жилетке часы с цепочкой, офицерская выправка, красивое холёное холодное лицо под стать фамилии, в которой звенела надменность аристократического титула: Брауншвейгский - неожиданный германизм у еврея из местечковой Балты, дослужившегося, впрочем, в дореволюционной Одессе до высокой должности представителя всемирно известной немецкой фирмы, достаточно преуспевшего, чтобы удобно проживать с четырьмя детьми и прислугой в многокомнатной квартире на втором этаже солид-

ного доходного дома на Большой Арнаутской улице, где в бельэтаже квартировал отставной царский генерал.

...Солнце бабьего лета, мягкое, октябрьское, стояло над Большой Арнаутской. Где-то ворочалась погромная толпа, летели оттуда, нарастая, пьяные и грозные, победные клики.

Дворник, уберегая жильцов, запер ворота. Евреи наверху дрожали.

Эстер Брауншвейгская сажей мазала от насильников красивое личико старшей дочери, на маленьких, закусив дрожащую губу, натягивала зимние пальто: Бог даст, вата подстёжки убережёт детей, когда будут сбрасывать со второго этажа...

Вал погрома приближался к дому. Сверкали над толпой хоругви, глядел невозмутимо царь с поясного портрета. “Конец жидам! - летело радостно. - Поховались, июды, обсерились? Кровью умоешься!”

Шествие ткнулось в ворота, они чернели глухо, толпа встала. Хоругви приспустились, топоры приподнялись. Кто-то рыжебородый, всклокоченный - густо пахло дёгтем от сапог - выступил вперёд: “Посторонись, хлопцы, з́араз юдочков потрогаем!” Лом томился в его мощной ладони.

В черноте ворот открылась дверь. Сама открылась. В проёме стоял генерал. Борода двумя белыми ручьями по груди, кресты наград, бахромы золотая погон - монумент. Молча высился в дверном прямоугольнике, обрамлённый чёрным блеском свежелакированных ворот, за спиной его угадывались двор, дом, ужас...

Хоругвь над народом застыла. И царь на портрете застыл. И мужик с ломом.

“Виноват, ваше превосходительство! - сказал он невиноватым басом.

Народ ещё чуток помялся и - пошёл. Царь и хоругви поплыли вперёд, к домам победнее, без генералов.

От погрома Брауншвейгские спаслись, но революция настигла. Завируха гражданской войны вывернула удачливого коммерсанта в рядового бухгалтера. От прежнего благополучия деду Шимека на память или в насмешку сохранилась любимая улица, революционно однако же переназванная улицей имени террориста Гирша Леккерта; того круче заместились подробности: второй этаж - четвёртым под протекающей крышей, вид на тенистую в акациях улицу - балконом над



нищим двором с водоразборной колонкой посередине, с паутиной бельевых веревок, с неопрятными запахами бедности, с визгом ссор и детских игр, а просторы многокомнатности ужались до двух комнат, и скрипучие доски коридора топтала чужая женщина, молодая соседка, неутолённо энергичная; бóльшая из комнат служила столовой, здесь собрались остатки мебели эпохи процветания Брауншвейгского семейства, прежде всего стол, массивный, с квадратной раздвижной столешницей, с резными пузатыми опорами, связанными понизу толстенной крестовиной, - они, кажется, несбиваемо утвердились на полу, и дед, обедая, возвышался за столом так же неизбежно - ностальгический сколок славного прошлого. Вокруг стола к стенам жались пухлый диван под чехлом, прикрывающим потёртости кожи, тумбочка с дешёвыми, в мягких обложках, Львом Толстым и Джеком Лондоном, настенные часы с боем, с бесшумными отмахами фальшиво-золотого маятника за стеклом, с тонкими вычурно-ажурными стрелками и циферблатом, по которому дед учил Шимека узнавать время, а заодно и римским цифрам, и буфет - могучее германское сочинение из морёного дуба, весь в узорчато застеклённых дверцах, ящиках, полочках на фигурных стойках, с мраморной столешницей, на которой бабушкиными заботами всё лето стояло блюдо с фруктами; буфет увенчивался карнизом, тевтонски мощным шедевром резьбы, где в разлёте листьев вспухали изобильные грозди винограда.

Этот карниз от какого-то ничтожного встряса рухнул на голову Шимека, потянувшегося к блюду за грушей.

Дома была только бабушка, да и не рядом, а на кухне. Обомлев от удара, воспринятого в первый миг без боли, Шимек успел удивлённо глянуть вверх, но тут же из рассечённой головы хлынула кровь, заливая лицо, ослепляя; Шимек с рёвом рванулся в кухню, там бабушка, ахнув, с ходу ткнула его головой в рукомойник под струю воды, пытаюсь одолеть поток крови и разглядеть рану; Шимек вопил, захлёбываясь водослёзокровепадом, набежала соседка - дуэт причитаний, бабушка, так и не найдя раны под навалом крови, бесхитростным махом опорожнила бутылку с зелёной на голову Шимека, кое-как обвила её полотенцем и в таком виде, зелёным, алкогольно-опухшим, в белой чалме приволокла Шимека в поликлинику; слава Богу, рядом.

Шимеку запомнились белизна стен и халатов, стул, на котором он сидел, переборка словами врача и медсестры над его головой, боль,

бабушка в стороне. Когда их отпустили домой, Шимек очень гордился тем, что ему “наложили кнопки”, и головой, забинтованной, как у военного героя, и похвалой доктора: “Молодец, шесть лет, а почти не плакал... Теперь можешь требовать мороженое”.

Шимеку и вправду полагался холод. Он лежал дома сколько-то времени со льдом в круглой резиновой грелке на голове, ему покупали мороженое, деликатес в картонных стаканчиках, взрослая порция - сто грамм, полный стаканчик; да ещё мама как-то принесла роскошный голубой корабль, уйма пушек и мачт, с капитанским мостиком, со всеми мореходными подробностями вплоть до спасательных кругов и якорей, модель крейсера, а то и линкора, - Шимек лежал счастливый в кровати рядом с кораблём, выскрёбывал деревянной плоской палочкой ванильную мороженую сладость, и облизывал палочку, и облизывался - наслаждался болезнью.

Она и деда заставила приоткрыться, он носил Шимеку мороженое, а когда доктор разрешил гулять, выводил внука на аллеи бульвара, опять-таки кормил мороженым (доктор велел!), объяснял разные житейские подробности, например, почему нельзя показывать собаке свой страх или для чего деревьям листья. Иногда дед усаживался на скамейку с газетой или рядом с кем-нибудь, завязывался типичный разговор о политике, погоде и вундеркиндах - Шимек тем временем тешился общением с другими детьми, купался в их уважении к его бинтам на голове.

Замечательное было время, замечательно запомнился Шимеку бульвар, где они с дедом гуляли, вернее, не бульвар, а проспект, он после войны назывался проспектом Сталина, потом проспектом Мира, потом Александровским, как и до революции Александровским...

Ни маленький Шимек, ни многоопытный дед не заметили в ударе по голове немецким изделием - намёка. А до войны с Германией осталось всего ничего...

## 8. ЕВСЕКЦИЯ

Улица была до революции Новосельская, при советской власти Островидова, сейчас опять Новосельская. Новосельский - когда-то богатейший одесский промышленник, Андрей Островидов - певец и революционер, убитый в передрягах гражданской войны. Сегодня забыт Островидов, не знают Новосельского - Бог с ними, а вот что про Константина Михайловича Гродского не вспоминают - обидно. Он жил здесь в доме номер 79, в квартире номер 4.

**Б. Шнапек:** “Он всю жизнь жил в одной квартире, без соседей, большой, четыре комнаты или даже шесть. Столовая, кабинет, большая лаборатория. Он был состоятельным человеком. В кабинете старинная добротная мебель, картины... Никакой роскоши, но всё со вкусом...”

Столовая доктора Гродского. Дубовый, незыблемый, как у деда Шимека, стол, туго-крахмальная скатерть, расставленные равномерно чашки немецкого или японского фарфора. За столом близкие друзья, коллеги, единомышленники. Хозяйка Надежда Абрамовна изгибает лебедино руку с пузатым чайничком, он уточкой клюёт-наклоняется над нежной округлостью чашек, облитых мягким светом из-под абажура с бахромой, струящей тепло и тишь. Темнеет ермолка на лысине хозяина, поблескивают драгоценности на женских пальцах. Ванильная нега торта “Наполеон”, пахучий дымок из чашек, реюющие намёки французской косметики (несмотря ни на что, непременно французской, от портовой или чекистской клиентуры) - ласковая смесь запахов и звуков: ложечка о блюдец звякнет, смешок вспорхнёт, кашель мягкий, возглас, вздох... Негромкая беседа о людях и книгах, о больных и театре, беззлобные усмешки, искры острот, политические выпады, подперченные осторожным ехидством... Вспоминалась с едва прикрытой тоской дореволюционная Одесса: гимназии, выезды на дачу, домашние спектакли, канторская музыка, лучшая в России, Пиня Минковский из Бродской синагоги, певший по всему миру, в 1922-м он сбежал в Америку от большевиков, и магазины изобильные, с угодливыми приказчиками - сказка на фоне нынешних очередей и хамов за прилавками...

Уют квартиры и согласия, кругом света из-под абажура он отгорожен, кажется, накрепко от советских бесчинств и грохота.

Не раз говорили у Гродского о еврейской жизни, её свободе при царской власти, погромной! - и удушении при власти советской, “свободной”. Удушении и самоудушении.

В годы революции еврейская Одесса всплеснула бурно. Сионисты и Бунд (Еврейская социалистическая партия), составившие тогда большинство в правлении еврейской общины, выпускали газеты и журналы на русском языке и идиш. Книг на иврите в Одессе в 1917-1919 годов вышло в свет семьдесят девять, много больше, чем во всей остальной России. В городе открылась и школа с преподаванием на иврите. Действовали спортивное общество “Маккаби” и музыкальное общество “Ха-Замир”, киностудия “Мизрах” снимала фильмы на еврейские темы. Школа молодёжного движения готовила будущих поселенцев в Палестине. В 1919 г. туда отплыли из Одессы очередные 630 эмигрантов.

Вышли на сцену и евреи-деятели победившей революции. В городе, где треть жителей евреи, как им не играть ведущую роль? В. Юдовский руководил в Одессе 1918-1919 годов Военно-революционным комитетом и Советом народных комиссаров, Я. Гамарник был в 1920-1923 гг. председателем губернского комитета коммунистической партии.

Русская революция изначально нацелилась: “Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем”. Не вышло - и вся энергия хлынула вовнутрь, справляться с прошлым “в одной отдельно взятой стране”, как тогда формулировала партия коммунистов. В одной отдельно взятой Одессе с одними отдельно взятыми евреями дело пошло бойко.

Еврейские вопросы в СССР решали Еврейские секции компартии (Евсекции). Она, компартия, авторитетно объявила, что из всех правд одна истинная - борьба классов и пролетариям всех стран соединяться, для чего и давайте стричь всех под одну безнациональную гребёнку. Энтузиасты Евсекций, горя мечтой о будущем без наций, азартно корчевали свои корни.

Из Протокола заседания **Центрального бюро Еврейских коммунистических секций Р.К.П.**<sup>1</sup> от 28 июля 1919 года:

*“ПОСТАНОВИЛИ: 1. Организовать еврейский стол при секретном Отделе В. Ч.К...*

*3. На обязанности стола возложить: а) борьбу с контрреволюцией на еврейской улице, для чего взять под контроль все еврейские буржуазные и общественные организации... в частности сионистскую... взять на учёт всех активных деятелей... установить цензуру над всеми изданиями и печатью на еврейском языке, связаться с военной цензурой, приступить к собиранию материалов о деятельности указанных организаций...”*

**Из Отчёта по Киеву и Одессе центрального бюро по просвещению при Наркомпросе УССР, 1921 год:** *“Вследствие развившейся на Украине погромной волны, оставившей за собой большое кол-во безпризорных, искалеченных голодных и разутых детей-сирот и сильного экономического распада семьи, Евбюро главным образом пришлось уделить своё внимание организации учреждений... всех типов и видов. В настоящее время мы имеем на Украине домов 225, садов 175 и школ 300...*

*От царского режима мы получили жалкое наследие: несколько десятков отсталых учителей-меламедов, ни одного еврейского учреждения для подготовки работников просвещения...*

*Еврейская мелкая буржуазия усиливаясь экономически пытается ослабить наше политическое влияние. Клерикализм в самых одичалых и устарелых его формах (хедер, ешибот) - печальный факт еврейской действительности. Втягивание в производство страны... широких слоёв еврейского населения и ожесточённая борьба с еврейской реакцией - ближайшая задача Евбюро... Кое-что уже делается в этом направлении: суды над хедером, религией и рабинатом. Клуб, библиотека и печатное слово служит орудием борьбы...”*

Революция полумерами не делается. Клуб клубом, слово словом, а кулак вернее. Иврит объявили “реакционным” языком, еврейскую рели-

---

<sup>1</sup> РКП - Рабочая Коммунистическая партия.

гию - мракобесием; еврейские праздники - “курам на смех”, в издревле выходную по еврейской традиции субботу “Даёшь показательную работу на “субботниках”!”. Подверглись гонениям и запрету сионистские партии и Бунд, еврейские общественные организации и движения. Пресекалась всякая национальная самодеятельность евреев.

Прибитая гражданской войной Одесса в начале двадцатых годов вымирала от голода. Местная пресса сообщала, как сводку с фронта выкрикивала: *“Положение ухудшается с каждым днём. Голод увеличивается. Среди еврейского населения голодает 90 %.. На кладбище ежедневно привозят трупы людей, умерших от голода на улицах. Смертность среди детей моложе 14-летнего возраста ужасающая. Более половины обречены на голодную смерть. Одних детей из погромленных мест, которые жили прежде в детских приютах, насчитывается свыше 3000... Большое количество детских приютов закрыто”* (“Рассвет”, № 7, 28.05.1922). Итог за полгода: *“Число смертных случаев среди евреев в Одессе за первую половину 1922 года составляет 20000, т.е. 10 % всего еврейского населения Одессы”* (“Рассвет”, № 23, 17.09.1922).

Но у еврейской революции свои заботы. *“Евсекция ком. партии в Одессе предприняла меры для пресечения попыток создания культурных и социальных организаций со стороны некоммунистических элементов... Все некоммунистические организации являются замаскированными организациями сионистов и клерикалов. Недавно Евсекцией были закрыты еврейский спортивный клуб и комитет медицинской помощи”* (“Рассвет”, № 35, 10.12.1922).

Сионистам - особое внимание. Из архивных свидетельств: *“Я, Рам Цви, родился в 1911 году в г. Одессе... Я учился в детском саду на иврите. Позднее учился в школе, где преподавание велось на иврит. Эту школу закрыли и с 5 класса я стал учиться в русской школе... Я состоял в детской подпольной сионистской организации “Сафим ашомер ацаир”. В 17 лет за принадлежность к этой организации я был репрессирован, с 1929 по 1954 год. 4 ареста и 5 решений особого совещания - вот чем “уплатила” мне советская власть за мою сионистскую деятельность...”*

1925 год. Битва вокруг Бродской синагоги. “Рассвет”, № 13, 29.03.1925: *“Некоторые подробности о закрытии Бродской синагоги 6 марта... По этому торжественному случаю город был украшен флагами, фабрики и заводы не работали. Собранным на манифеста-*

цию рабочим председатель губисполкома Кудрин произнёс речь. Он, Кудрин, не сомневается, что среди присутствующих найдутся “шпионы”, которые сообщают за границу, что советская власть творит насилия над верующими. Но власть этого не боится”.

“Рассвет”, № 14-15, 09.04.1925: “Бродская синагога, национализированная большевиками и превращённая в еврейский пролетарский клуб, возвращена еврейской общине по распоряжению ЦИКа Украинской республики. На решение ЦИКа повлияла петиция тысяч евреев Одессы, ходатайствовавших о сохранении этой стариннейшей и красивейшей синагоги в России”.

“Рассвет”, № 16, 19.04.1925: “Недавнее постановление украинского правительства о возвращении Бродской синагоги еврейской общине отменено ЦИКом СССР 9 апреля. В заседании ЦИКа выслушали две приехавшие из Одессы делегации - от еврейской общины и от еврейского пролетариата. Первая доказала, что синагога является религиозным центром одесского еврейства. Вторая - что синагога обслуживает небольшую группу еврейской аристократии и буржуазии и что всё еврейское пролетарское население Одессы нуждается в помещении для клуба как центра еврейской культурной жизни в городе”.

Зато: “В Одессе основан еврейский пролетарский университет с отделами социально-экономическим и технико-биологических наук. Для поступления требуется уметь читать и писать по-еврейски и знание 4-х правил арифметики” (“Рассвет”, № 3, 17.01.1926).

В противовес ошельмованной “старине” Евсекции выдвинули “пролетарскую культуру идиш”. Одесса - впереди. Здесь на идиш говорили во многих учреждениях, даже в судах и милиции. На идиш работали школы, библиотеки, педагогический техникум, еврейская партийная школа, выходили периодические издания; в университете открылся факультет идиш. В праздник десятилетия революции 7 ноября 1927 г. открылся музей еврейской культуры. С 1935 г. функционировал Одесский еврейский театр. Но к концу 1930-х годов и культура идиш стала снижаться и исчезать. Евреи как народ были призваны раствориться во вненациональном безличии.

И что евреи? В “еврейской” школе на Молдаванке учителям, преподающим на идиш, ученики отвечали по-русски. Закрытие синагог в Одессе серьёзно противилась лишь горстка старых прихожан да раввинов. А еврейский пролетариат просил власти превратить синагоги в клу-

бы модных тогда безбожников и центры “культурного отдыха”, которые и вправду очень способствовали просвещению.

При закрытии в тридцатые годы последних одесских синагог повторялась технология, отработанная в 1925 году на Бродской синагоге.

1932 год. В марте горсовету пишут рабочие коллективы (швейная фабрика им. Воровского, обувная фабрика им. Октябрьской революции и др.), что синагогу надо передать под Дворец культуры безбожников. Сотни подписей, девяносто процентов евреи, они даже русский текст своей просьбы подписывают на идиш. И горсовет откликается Постановлением 9 мая, отмечающим, что синагогу посещают только двести человек, а закрыть её просит рабочий класс в количестве 5019 человек, в том числе евреи.

Кажется, в 1934 г. (по архивному документу даты не понять) в ЦИК пишут уполномоченные Главной синагоги Царгородский и Циклис, что *“До революции в Одессе находилось 9 синагог и 50 молитвенных домов...”* и, мол, оставьте хоть что-нибудь. 16 января 1935 г. в ЦИК летит срочная телеграмма: *“От имени десятков тысяч верующих просим оставить единственную оставшуюся в Одессе синагогу на далёкой окраине города”*.

На войне, как на войне. “Спілка Войовничих Безбожников” (в переводе с русско-украинской смеси на русский “Союз воинствующих безбожников”), сражаясь против возвращения верующим уже отобранной синагоги, пишет в ЦИК, что в ней пили и торговали, *“обнаружены а) бутылки с водкой 16 и без водки 19, б) табак и папиросы, в) весы и гири, г) часовая мастерская, где часовой мастер укрывался от финотдела, работая днём и ночью... Возвратить синагогу это значит дать торжествовать классовому врагу... СВБ категорически протестует против возвращения Одесской синагоги, что политически будет неправильным. Кроме того, необходимо учесть, что скажут метрополиты Тихоновской и Сенодальной ориентации в случае возвращения евреям синагогу. Отв. секр. Облсовета СВБ /Дикий/”*.

Когда после возвращения отца Шимека Абы из колымского концлагеря в семье Брауншвейгских, безрелигиозной, накрепко забывшей еврейские обычаи, вдруг засветился пасхальный вечер (то был 1947 год), Аба добыл невесть где тайно выпекавшуюся мацу, устроил торжество. Шимек, младший в семье, по сговору с Абой вызубрил напи-



санные русскими буквами традиционные слова на идиш и произнёс их за праздничным столом, повергнув маму и дядю Хилеля в изумление: “Татэ, их вэл дир фриген фиер кашес” (“Папа, я хочу задать тебе четыре вопроса”) - они не слышали их десятки лет.

Так взыграло еврейство в бывшем чекисте, пробудилось что-то от канувшего в небытие еврейского детства на Воляни, от Абиного дяди - казённого раввина.

**Аба** (из рассказов послевоенных лет): Я в двадцатые годы почти со всей семьёй порвал. Местечковые евреи, сопли, вши, чеснок, дальше синагоги не ступят, а у нас новый мир, свобода, “долгой!”. И начальство не поощряло: работники органов должны только советской власти служить. Вот московская сестра Фрума, я ей даже не писал все годы. Сейчас, когда в Москве незаконно бываю, прежние друзья душевные, я с ними спирт пил и картёжничал ночами, они боятся поздороваться. А Фрума требует, чтобы я у неё останавливался. Ещё сосиской какой-то подкармливает, и сама ведь нищая, девять детей, мать-героиня, а жевать нечего...

Кто свой? Мы кричали: партия, товарищи, а вышло - родня. Та самая, местечковая. Просто евреи.

Говорил Аба, сказывал - жизнь цепью анекдотов: хедер, царская армия, фронт Первой мировой, подполье, ЧК...

**Аба**: Я вырос просто. Семья почтенная. Дядя - казённый раввин. Нас у папы с мамой всех шестеро было, четыре мальчика, две дочки. Я там был не тот ребёнок. (“Тот ещё ребёнок”, - вставила тут Женя, интонируя.) Пока ходил в хедер - ничего. Но потом в училище - развернулся. Двойки, тройки... Поведение, конечно, отличное. Отличное от остальных. Сарай во дворе поджёг - хотел посмотреть пожар; хорошо, не поймали. Потом разозлился за что не помню на служителя, он по классам булочки с чаем разносил, я по его подносу ногой зафутболил - всё вдребезги... Выгнали меня. Папа сказал: хочет быть дураком - пусть идёт работать. Я и пошёл посыльным в магазин. В двенадцать лет. Недоучка твой отец. Зато у советской власти в почёте: рабочий стаж с 12 лет, “жертва царизма”.

Я в детстве где только не работал. Лучше всего в пожарной части. Лошади - гривы по ветру, подводки с бочками, гиканье, свист, колокол

бухает... Приезжаем: “Как, хозяин, заплатишь или тушить будем?” Все знают: можно поберечь, что не горит, а можно распотрошить дом до основания... Платили. Куда буржуям деться?..

Пел Аба весело, слуха никакого и слов не помнил, от силы две строчки, “Больно хлещет шёлковый шнурок” выпевал с надрывом, остальное из романса объяснял: любовь, страдание, она его убила... Но одна песня, хоть и длинная бесконечно, засела в Абе целиком из окопной его молодости в Первую мировую войну, боевая, строевая: “Истопила Дуня баню, позвала соседа Ваню париться с собой, эх, париться с собой...” Затем Дуня интересовалась: “Это что такое, Ваня?” и тот отвечал: “Это колбаса”. Женя возмущалась: “Абчик, что ты поёшь ребёнку?” - а Шимек радовался, представлял Абу-царского солдата в атаке с винтовкой, штык устремлён в немца или австрияку, или Абу во всей гренадёрской высоте, перед строем отмечаемого за храбрость. По этому поводу Аба рассказывал анекдот, где фельдфебель говорил о еврее, совершившем подвиг: “Рабинович плохой солдат, но старается” - Аба не любил нести себя на блюде, Шимек потом только случайно узнал, что он в родном городе в гражданскую войну при власти белополяков отличился в революционном подполье вплоть до ареста и камеры смертников, чудо, что наступающие красные наскочили, освободили - знакомцы Абы рассказали, не он сам, он у себя выглядел смешно-несуразно, и никак не героем. После войны и лагеря, когда Аба не имел права жить ближе ста километров от областных городов и его с семьёй носило по российской шире, Шимек в их деревенском быту наблюдал, как Аба не мог зарезать курицу - жалел. А в лагере, однако, подрался с могучим вором, похитившим у него посылку. “Ты не испугался, он, наверно, убить мог?” - спросил Шимек отца. “Ещё как испугался! Но знал: если промолчу, блатари меня сожрут. Дрожал, а ударил. И потом он меня боялся, не знал, что я ещё больше боюсь”.

Аба о себе - всегда со смешком. Так и про службу в мировой войне: о боях ничего, зато о дезертирстве - с упоением. Как брели, бросив окопы, по домам, в попутных селениях выменивая на пропитание кто винтовку-надёжу, кто патроны, кто пару гранат, кто обувку солдатскую крепкую...

Это после Февральской революции. На фронтах бурлило “воевать - не воевать”. Солдаты лезли брататься с немцами, митинговали. Приехали как-то посланцы Временного правительства, звали воевать до победного конца, больно хорошо говорил господин почтенный, а особенно барышня при ём гляделась сильно по сердцу, солдаты согласно ревели “Ура!”. За агитаторами на ту же повозку взгромоздился ещё один приезжий, тоже борода барская, длинный, в пенсне, вид непотребный яврейский, а заговорил, прокричал несколько минут всего и вслед его “Долой войну! Штыки в землю!” солдаты, весь Абин полк, развернулись: “Айда, ребя, домой, бабе под бок!”. И пошли весёлыми дезертирами. “Кто был таков, тот говорун? Вроде из большевиков?” - спросили в толпе, и зазвучало имя “Троцкий”.

Во второй раз Аба видел издали Троцкого в начале двадцатых годов на московской Красной площади, он прохаживался вдвоём с китайским генералом, по обычаям тех дней, без всякой охраны, даром что Троцкий был уже великим, вторым после Ленина.

А в третий раз Аба увидел вождя низвергнутым. Тогда, в двадцать девятом году зима стояла на удивление злая. Холод придавил Чёрное море непривычным льдом. Февраль мёл метелями. В ту пронизанную хлётким колючим снегом ночь одесские власти проводили государственной важности совершенно секретную операцию: перебрасывали с прибывшего персонального поезда на корабль для изгнания вождя русской и несостоявшейся мировой революций. Москва потребовала строжайшей тайны, дабы не возбуждать многочисленных сторонников опального вождя. Предписывалось также избежать любых эксцессов, а особенно неожиданного и всегда опасного обращения лучшего оратора революции к народу. Сверх того, приказано было обеспечить личную безопасность и полное благополучие изгоняемого, ибо как знать, не раскается ли великий бунтарь и не потребует ли на службу родной стране?.. Начальника городской ЧК сжирала ответственность.

Из порта изгнали всех лишних. Войска стали в оцепление. Тьма. Ветер. Махи фонарей на столбах. Снег. Троцкий шёл к трапу стремительно, подгоняемый вихрями. Начальник ЧК, в испуге за легко одетого изгнанника, накинул на него шинель, снятую с подходящего по росту чекиста из цепи охранения. Им оказался Аба: в его шинели взошёл на теплоход “Ильич” ближайший соратник этого самого Ильича, Вла-

димира Ильича Ленина, Лев Троцкий - и с борта его в последний раз глянул на изгоняющую его родину

Ледокол вывел “Ильича” в открытое море. Шинель Абы растворилась в морозной мокрой ночи вместе с несостоявшимся разжигателем всемирного революционного пожара.

*“Ай, Чёрное море, вор на воре”.*

**(Э. Багрицкий)**

Но нет, нет, старомодно обязательный Лев Давыдович честно расквитался - из турецкого эмигрантства прислал раздетому из-за него чекисту отрез добротнейшего сукна на пальто. Женя после ареста Абы берегла для него сукно, повезла даже с собой в эвакуацию, в Узбекистан, и только там выменяла его на три буханки хлеба - голодные дети, Шимек с братом, подкормились от Революции.

Пишет о Троцком журналист Ю. Боров: в годы гражданской войны эсерка Елизавета Кузьмина-Караваева должна была убить его, но в последний момент отказалась, не выстрелила. В эмиграции в Париже, став уже монахиней матерью Марией, она встретила с Троцким. Он узнал, что обязан ей жизнью и спросил: - Чем вас отблагодарить?

Она тогда организовала приют для бедствующих русских эмигрантов.

- У меня нет денег на уголь для приюта, - сказала мать Мария.

Троцкий заплатил за уголь.

Давали буржуйскую слабину железные вожди и дети Великой Революции, и она закономерно принялась их пожирать, начав именно с той ночи, когда она многозначительно подмигнула вышвырнутому Троцкому маяком одесского волнореза. Но кто бы сразу догадался?

Ведь как начиналось! Как выпевалось в юной молодости, в азарте: вперёд, навстречу заре новой... товарищ маузер... ЧК... война с бандитами, экспроприация буржуев, “грабь награбленное”, злость боёв весёлая и праведная: бессудные расстрелы, “революционная законность”, но ведь и сколько же сирот ЧК обогрела, сколько беспризорных спасла в своих колониях и приютах... “Спасаящий одну душу - спасает весь мир” - припоминалось Абе из Талмуда, из его детства в хедере родного города Ровно.

В августе двадцатого года Россия рвалась вернуть Польшу в свою империю, прежде царскую, теперь революционную. Копыта Первой Конной армии красных достучали до Ровно. Поляки бежали накануне. Город опасливо ждал: год назад он пережил два погрома петлюровцев.

На безлюдные улицы первым, разведчиком, влетел дивный конник: сабля на боку, папаха с красной лентой, галифе и поверх грязно-белой рубахи - дамский пеньюар. Он проскакал на центральную площадь, вздыбил коня, развернулся, лошадиная грива колыхнула жаркий летний воздух - и исчез.

День продолжал вязнуть в ожидании. Двери на запорах, окна - в бельмах ставень.

...Красные вошли в клубах пыли, спокойно и весело. Евреи, повременив, закрипели дверями и калитками, объявились, нарядные, встречать освободителей.

Местечково-валяжные старцы в выходных чёрных костюмах-тройках окружали подбоченившегося хлопца на лошади, жарко пахнувшей потом и мочой, повествовали, как польские солдаты на улицах отнимали у евреев добро, как, забавляясь, срезали у прохожего пейсы. “От заразы!” - хлопец возмущался, а скорее восхищался: смехота, наверно, как дёргался обстригаемый жидок! И спрашивал вдруг: “А шо, панове, який зараз час?” Ближайший старец важно доставал из жилетки часы на цепочке, отжимал крышечку, вглядывался в циферблат: “Половина четвёртого, прошу пана!” “Да ты шо! - удивлялся кавалерист. - А ну, покажь!” Бородач тянул кверху часы, хлопец кренился, неспешной рукой поддевал их, дёргал, обрывая цепочку, бросал благодушно в поднятое к нему ещё радостное бородатое лицо: “Поносил, таточку, та й добре! Зараз я поношу”. Солнце в хитром прищуре конника...

**Аба:** На второй день конармейцы добрались до винной лавки, разбили её, из погреба несли бутылки, кто-то там внизу упился, кто-то возле крыльца на улице рыгал. Орут: “Жида!” Я, помню, подумал: вот тебе и спасители красные! А тут прискакал их командир, палит из револьвера вверх: “Расходись! Клади вино взад!” Куда там! Никто не соображает, крик, мат... Он бах пулю в ближайшего, в упор, тот усами в пыль и кругом сразу - тихо. Только слышно там внутри, в подвале

орут... И что ты думаешь? Разошлись. К тому на коне ещё подскакали, а тут уже кто куда, только убитый на земле, кровь из-под тела, шлем будённовский в пыли - в общем революционный порядок, как говорится.

Евреям, конечно, это понравилось. И мне, хотя, если честно, что мне тогда были евреи! Штетл, кагал, раввины, хедер - всё это отжило для молодых, им подавай новый мир без наций, богатые и бедные - вот и вся делёжка, они и мы, буржуи и пролетариат... Я к своей еврейской родне и не появлялся все годы, что в ЧК работал. У них суббота, седер Песах - а я передовой, революционный. Дурак... Слава богу, хватило ума не менять своё еврейское имя. Многие ведь меняли, под русских или никаких красились...

Чекист, а нутро еврейское... Аба прекратил переписку со старшим братом, когда тот в угоду русской жене и сослуживцам в казачьей столице Новочеркасске стал из Исаака Сашей-Александром.

Николай Петрович...

Не стоит, однако, слишком ехидничать, из сегодняшнего дня умудрённо и насмешливо глядя. Имя меняли и помимо корысти; в жажде отрешиться от недавнего ничтожества, в рывке к будущему без наций. Вздымать волну освободительной революции, и какие, к чертям, хедер и Талмуд? Что они дали евреям?.. Черта оседлости... Жандарму царскому задницу лизать... Погромы...

Жалкое еврейское прошлое, “смитьё” - говорили в Одессе. Будущее сияло.

Изводили контру, чистили путь в светлую даль. Троцкий, известно, на вершине своей власти объявил гордо: “Я не еврей, я - революционер”. На всякого мудреца, говорят в России, довольно простоты. Не провидел он превращение революционной тачанки в теплоход “Ильич” - золушкиной кареты в тыкву.

Абу несла та же тачанка, и когда глядел в одесском порту на корму “Ильича”, который уволакивал в изгнание Льва революции, не колынула Абу никакая тревога, не свернул он со стези. Но инстинкт сносил его со стремнины в заводи потише: в экономический отдел ЧК, где не пахло ни кровью, ни порохом, а позднее в дорожное ведомство, приписанное к ЧК, - вовсе мирное поприще: перевозки, графики, грузови-

ки... Служил Аба исправно, знак Почётного чекиста заработал, ромбы в петлицах, поднялся в руководство. Но отстранялся - не по уму, не с обдуманной опаской от общего бодрого марша, даже - белой вороной среди начальников - избегал в партию вступить, только в тридцать втором, почти случайно...

...случайно в коридоре встреченный нарком Балицкий сказал на ходу Абе: “Оказывается, вы не в партии. Почему?” “Не считаю себя вправе, - замямлил Аба, но нарком глянул дзержинским взглядом и сказал: “Подавайте заявление. Я сам рекомендацию напишу”. Не увильнуть. Приняли Абу кандидатом в партию большевиков, кандидатом и влетел в тридцать седьмой, в тюрьму. После реабилитации в пятьдесят шестом, когда заверили справкой официальной, что не был шпион, ошибочка вышла, вот тебе обратно все права и зарплату за два месяца в компенсацию, и 10 лет лагерей зачтём стажем чекистской службы, “кто старое помянет - тому глаз вон” и можешь жить, где хочешь, даже хлопотать о возвращении бывшей квартиры, и вот тебе твой знак Почётного чекиста, только именное оружие, при обыске изъятое, извини, вернуть не можем - после всего этого как бы возврата в прежнее состояние Аба хмыкнул: “Они меня простили”. И отказался проситься обратно в партию: “Сами меня исключали, сами пусть и восстанавливают”.

Так Аба говорил после обжига души ГУЛАГом, в конце сороковых годов. В молодости думалось иначе. Спасибо партии и рабоче-крестьянской власти за советскую еврейскую судьбу. С колен - ввысь! В торговлю и промысел, едва дозволили послабления двадцатых годов, а мощней того в рабочий класс - хозяин мира, в непобедимую армию, в науку, в культуру, интернационально просторную. В Одессе почти половина интеллигенции были евреи. Знаменитая одесская юго-западная школа в литературе чуть не вся из еврейских имён.

**К. Паустовский** вспоминал об одесской газете 1920-х годов “Морьяк”: *“На её первой странице на четырёх языках красовался лозунг: “Пролетарии всех морей, соединяйтесь!”*

*...Бумаги не было. Таможня из сострадания выдала нам кипы чайных бандеролей разнообразных и приятных цветов - розового, зелёного и сиреневого.*

*На обороте этих бандеролей мы и печатали газету. Каждый день цвет её менялся...*

*...В газете... сотрудничали Бабель и Семён Юшкевич, Катаев и Шенгели, Эдуард Багрицкий и Славин, Семён Гехт и Андрей Соболев. Ильф в то время работал, кажется, монтером и ещё не задумывался над литературным будущим.*

*...Катаев ходил в прожжённой шинели, пахнувшей карболкой и сыпняком, и в линялой турецкой феске. Он напечатал в "Моряке" рассказ "Сэр Генри и чёрт". Рассказ был романтичен и страшен...*

*Бабель только что приехал из Конармии. Он писал свои рассказы с таким же вкусом и неторопливостью, как портовые грузчики едят белый хлеб с маслинами, - крикая от наслаждения.*

*Багрицкий, худой и бледный, целыми днями лежал в степи за Люстдорфом и ловил жаворонков и перепёлок. В свободное от этого занятия время он писал чудесные стихи и страшным басом рассказывал вымышленные истории из своей жизни на турецком фронте.*

*Славин писал очерки об одесском базаре под названием "Имеете пару интеллигентных брюк". Гехт работал фальцовщиком... и слагал стихи о небе Иудеи.*

*Никто из сотрудников не получал ни копейки. Гонорар выплачивался чёрным кубанским табаком, синькой и хлебом.*

*Было время веселья и голода, время молодости республики и не затихающих над горизонтами гроз.*

*Почему именно из Одессы, а не из Киева или Саратова появилось столько талантов?..*

*Одесса - это Левант. Это Чёрное море, тёплые ветры с Босфора, бывшие греческие контрабандисты и негодяи из Пирея. Итальянцы-гарибальдийцы, капитаны и портовые грузчики-банабаки. Богатства всех стран, влияние Франции, гетто на Молдаванке, бандиты, ценившие превыше всего остроумие, седоусые рабочие с Пересыти, итальянская опера, воспоминания о Пушкине, акации, жёлтый камень, цветы, любовь к анекдоту и страшное любопытство к каждой мелочи. Всё это - Одесса.*

*Но главное - море... Чёрное море выбросило этих писателей в жизнь, как дарит берегам самые разные вещи - от поющих раковин до сорванных с якорей плавучих мин, разносящих в пыль прибрежные скалы" ..*



Еврей И. Ильф и русский Е. Петров показательно вместе сотворили героя с еврейской фамилией и одесской интонацией Остапа Бендера, умного и обаятельно нахального порождения прежней Одессы и новой эпохи, когда по словам авторов “евреи были, а еврейского вопроса не было”. Осуществлённая утопия! Мечта евсекций.

(Она и до сих пор часто грезится. Зажмуриться бы только покрепче, чтобы Шоа не мешала. Сделайте нам красиво!..)

## 9. 1937-й

**Гитлер:** *“Борясь за уничтожение еврейства, я борюсь за дело божие”.*

**“Песня берлинских штурмовиков”** - гитлеровцев в Германии: *“Винтовку держим чёрной мозолистой рукой; Так мы стоим в колоннах, готовые к борьбе, И лишь с кровью евреев свобода придёт к тебе”.*

*“Добьёмся мы освобожденья своей мозолистой рукой”* - **“Интернационал”**, гимн коммунистов и Советского Союза.

**Аба:** Новый год встречали в клубе нашем, точнее бы сказать, во Дворце культуры НКВД. Стоило поглядеть. Говорили в городе: “Все красивые бабы - в ЧК”. Ёлка ослепительная... Дурака валяли. Помню, я на спор бутерброд ел из всего, что под рукой на столе: селёдка, ананас, горчица, крем - слой на слой... Шампанское, тосты... Я вальс крутил со знаменитой певицей, она у меня стояла на ступнях, дама с весом, но ничего - справлялся. А мама-то наша как блистала! Жёны сотрудников канкан на сцене отплясывали, мама - в центре, все глаза на неё...

**Женя:** В моей жизни этот Новый год самый весёлый.

Номер Нового того года был - одна тысяча девятьсот тридцать седьмой, от Рождества Христова. Двадцатый юбилейный год Великой Октябрьской Социалистической революции, звёздный её год.

**Сталин:** *“Пока существует капиталистическое окружение, будут существовать у нас вредители, шпионы, диверсанты и убийцы, засылаемые в наши тылы... Этих господ придётся громить и корчевать беспощадно”*.

Здесь цитата из сталинской руководящей речи в марте 1937-го года, речь называлась “О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников”. С неё пошла в мах убийственная молотилка.

В апреле в Киеве арестовали Абу. Он носил в петлицах два ромба - ему по чину полагалось.

**Аба:** У меня потом, почти через десять лет, при освобождении из лагеря в справке на месте статей обвинения записали “Подозреваемый в шпионаже”. Не обвинение - только подозрение! А хватило на столько лет лагеря. Я ведь из Ровно, это Волынь, тогда Польша, значит, по правилам тридцать седьмого года, польский шпион.

... В тридцать седьмом не судили, приговор выносило ОСО - Особое Совещание, три человека. И обвинение не трудились доказывать, хватало собственного признания на допросах, а его выдать проще простого... Пытать...

Кого били до смерти, кого иначе... Скажем, заводят где-то рядом со следовательским кабинетом пластинку с диким женским воплем и ведут под него допрос и намекают, что это твою жену или дочь бьют, или обещают, что будут бить, - подпишешь, как миленький, всё. Железные маршалы, революционные герои, в расцвете сил - всё подписывали.

Со мной - необычно. Во-первых, меня взяли в самом начале тридцать седьмого, ещё с пытками не развернулись на полную катушку. А во-вторых, нарком Украины был тогда Леплевский, когда-то в Одессе мой начальник, то есть я - его человек, так у нас говорили: “человек Леплевского”, или “человек Балицкого”, или “человек Ягоды”. Все, значит, по своим компаниям. А наверху “Хозяин” - Сталин.

Своих прикрывают, если можно. Поэтому, думаю, при Леплевском мне в тюрьму даже один раз от Жени папиросы передали, хотя строго

запрещалось нам всё бумажное, чтобы, не дай бог, не написали чего вражеского. И следователь со мной на “вы”. И не шлёпнули меня, хотя причиталось по должности. Подозреваю, его заслуга, Леплевского, теперь правду не узнаешь, ведь его самого расстреляли.

Я сидел поэтому с комфортом, даже без битья. Но на конвейер ставили. Несколько суток без сна и следователи сменяются, а то и без них, сажают в комнату, стены обиты белой жёстью, и по углам прожектора - не уснёшь, свет сквозь веки, люди с ума сходят...

Или на расстрел водили. Открывают камеру: “На выход с вещами!” Ведут коридорами. Могут глаза завязать. Конвоиры, их двое, могут перемолвиться, вроде между собой по секрету, тихо: “Куда?” - “В расход”. Ну, дальше идёшь - ждёшь. В затылке - пусто, то жжёт, то холодно... Приводят в подвал. Сырость. Лампочка еле-еле. Кирпичи голые, кровь на них. И на полу... Оставляют тебя одного. Полчаса, час... Никого нет. Ну, что вспомнишь, как вспомнишь - не рассказать... Ждёшь- ждёшь... Замок гремит - ну, всё, конец. А тебе: “Выходи!” И назад в камеру. Как дойдёшь - не заметишь. И ещё дня два ничего не замечаешь - ни соседей, ни еды, ни воды... Очень впечатляет... Меня два раза водили. Кого-то и больше. Но, говорят, с третьего раза меньше действует: доверие к Органам падает.

...Я как-то в камере сказал: “Если меня начнут бить, я сразу всё подпишу, чего мучаться...” Конечно, донесли. Мне на очередном допросе следователь говорит: “Вы почему ведёте провокационные разговоры? Кто здесь и кого бьёт, а?” Мне это “а?” сильно запомнилось. Когда пришла его очередь сесть, он попал как раз к нам в камеру. Приволокли его с первого же допроса с перебитой рукой - я хотел спросить его насчёт провокационных разговоров и про “а?”, да жалко стало.

**Песня 30-х годов:** “*Мы отстаиваем дело, Созданное Ильичом!  
Мы, бойцы Наркомвнутдела, Вражьи головы сечём!*”

**Аба:** В Киевской тюрьме была знаменитая камера-одиночка, там Богров сидел, убийца Столыпина. Нас туда натолкали больше двух десятков. В том числе один водопроводчик. Следователь стал ему шить шпионаж. После допроса его надзиратели забрасывали в камеру, мешок с костями. Мы его отхаживаем, он плачет: “Какой я шпион?”

Почему шпион?” И вдруг он приходит с допроса сам, своими ногами, впереди себя в кульке бумажном клубнику несёт. Смеётся, счастливый: “Подписал. Сознался. Всё подписал. Все довольны. Следователь клубникой угостил” Лёг на нары, жуёт, улыбается. Я спрашиваю: “Что же вы подписали?” - “Что я шпион. Латвийский. Меня здесь в Киеве латвийский консул завербовал. И оружие дал. Только я его где-то забыл”. “Но в Киеве нет латвийского консульства”, - говорю ему, я это точно знал. И водопроводчик вскакивает: “Неужели? Они перепутали?.. Боже мой, опять бить будут! Пусть исправят на другое консульство”. Этот шлимазл колотится в дверь, орёт: “К следователю прошу! Ошибка! Пусть перепишут!” Человек требует себе расстрельную статью - чисто работают Органы. Я того следователя знал, он тоже сел, мы встретились в лагере, я напомнил про водопроводчика: “Как вы могли сочинить латвийское консульство? Вы не могли не знать, что нет такого” А он удивился: “Какое это имеет значение? Некогда мне было, работы сверх головы, а он сознался ведь - и ладушки”.

**Анекдот** 1937-го года: “Генеральному секретарю ВКП(б) тов. Сталину. Заявление. Прошу расстрелять меня по собственному желанию. Член партии с 1905 года Рабинович”.

**Аба:** Вот, пожалуйста, два братика, я и Моня, он на два года младше, я не сказать послушный, но я рядом с ним в ангелочках... Он вслед за мной тоже в гражданскую полез стрелять, ловить, в ЧК оказался, и не как я, в тихом экономическом отделе, а в боевом, оперативном, с бандитами воевали, по деревням, по лесам... Потом уже без стрельбы тоже лихачили. Помню партконференцию, должен был выступать секретарь Украинского ЦК, Москва хотела проконтролировать, так наш нарком приказал Моне и его людям выкрасть накануне доклад - сделали чисто, скопировали, вернули - никто ничего не заметил. Моня начальником отдела стал ещё в двадцатые годы, на улице ему, в штатском, милиционеры честь отдавали. Очень гордился. Высокий, статный, красавец кудрявый... Бабник, конечно - жене та ещё жизнь: у него ведь для агентуры тайные квартиры по всему городу и номера в гостиницах, а там гуляй, и деньги на расходы не считанные. Они в ЧК короли были, Монины люди, оперативный отдел...

(“Оперотчики” - Женя произносила брезгливо. И ругала Моню за хамские измены тонкой деликатной жене, которую любила, и жалела Моню за то, что, мстя ему, какой-то уголовник среди бела дня зарезал эту несчастную жену на седьмом месяце беременности.)

... Моня, Моня, еврейский гусар... Охотник заядлый - правда, дичи что-то не помню. Один раз как-то принёс пару птиц, я его спрашиваю: “Почём стрелял на рынке?”... Он не обижался, характер лёгкий... В тридцать шестом напросился в Испанию, вернулся с войны с орденом, и его сразу взяли. Моня на первом же допросе, как услышал, что он враг и шпион, ударил следователя табуреткой по голове, убил. Говорят, сам позвонил охране: “Приходите”. Они его там в кабинете и забили насмерть. С того допроса повелось табуретки для подследственных к полу прибивать - спасибо Моне, что надоумил Органы.

## 10. ШУРА

**Н**иколай Дубровин, активный сотрудник “Общества пароходных связей с Японией” с 1918 года состоял в партии большевиков и когда она по накатанному революциями пути пришла к самодетству, угодила в тюрьму. 1937-й год, от рождения дочки Дубровина Шуры - двадцать третий.

Маму Шура потеряла в годовалом возрасте, с отцом жить не складывалось - она и выскочила замуж, нырнула в семейные заботы, как в малолетстве со скалы в море - зажмурысь. Сиротское детство вмиг переигралось: новая фамилия, Подлегаева, жильё своё, хоть и скудное. Жить бы - радоваться, да взорвался примус у сестры Шурино мужа, сгорела она, оставив брату и молодой его жене двух сирот. Шуре тогда было шестнадцать. Красивая, работающая, добрая... Родила ещё своих двоих, сына схоронила, дочку сохранила; выпало троих детей тянуть сквозь жизнь. Сквозь жизнь советскую.

**А. Подлегаева** (из писем): *“Отца арестовали... Потом арестовали меня. Хотели выяснить, с кем отец общался. Даже если бы я хотела, я ничего не могла сказать, т.к. жила отдельно от отца... Прошёл год, следователи поменялись. Новый следователь, ему как видно стало*

*жаль меня, сказал мне: “Шура, вы своему отцу ничем не поможете. Сейчас надо себя спасать. Я был у тебя дома, видел, как ты живёшь. У тебя маленький ребёнок, и ты не должна лишать его матери. Подпиши документ, что ты отказываешься от отца, и я отпущу тебя домой”. Через месяц я ушла домой.*

*После войны жена папиного друга, который сидел вместе с ним, сказала мне: “Вашего отца расстреляли на третий день после ареста”. Так что следователь был прав. А мне выдали справку, что я была арестована. Эта справка сыграла большую роль во время оккупации”.*

С довоенной поры сохранилась фотография Шуры Подлегаевой: кудрявая головка - вбок и вверх, навстречу невидимому свету, веселю, оно озаряет круглое чуть скуластое лицо с острым подбородком, контур подчёркнут смехом, он бушует в глазах, настежь распахнутых, сверкают зубы один в один, ямочка на щеке, стремительный росчерк брови - “молодая, энергичная, талантливая” написала о Шуре её знакомая Гина Бурштейн.

Работала тогда Шура шофёром - дело мужское, трудное, зато заработка, судьба Шуру не ласкала.

## 11. ДЕТСТВО

**П**етро, дворник. Его шикарная метла лихо скребла мусор между булыжниками, на нём топорщились полосатые штаны, заправленные в мятые с белыми морщинами кирзовые сапоги, пахнущие разнообразной грязью двора и воспоминанием о ваксе, сюда примешивались ароматы пропотевшей рубахи и прокуренных рыжих усов, а поверх всего сладковатая волна водочного перегара - запахи густели вокруг дворника обольстительным облаком, Шимеку приятно нырялось в него, когда Петро приседал на корточки, протягивал зовущие руки с корявыми пальцами, и Шимек прыгал в его объятия, припадал к сильному телу дворника, к небритой щеке и тыкался губами в его лицо, иногда угадывая точно в редкозубый рот, извергавший махорочно-водочный обморочный дух...

Мама Женя ужасалась: дворник болел, все знали, туберкулёзом в открытой форме. И вообще, если Шимека тянуло к дворнику естественно, то обратное направление нежности - от Петра к Шимеку - представлялось маме труднообъяснимым.

Сбежав из Киева от ареста, Женя жила у родителей полузаконно, с временной пропиской, туго возобновляемой, и дорогой друг Шимека Петро регулярно напоминал милиции: “У той гражданки з Кывиву знову прыписка скинчилася, чи не пора ии геть с нашого миста?” и Жене, встретясь в подъезде, ласково выдыхал с перегаром: “Вы, серденько, куды ни то едьте з дому, бо заарештуемо, шоб я так жил...”

Простодушие мамы, видимо, не вмещало сложностей дворниковой психологии: шо треба по службе сполнять - то треба, звывняйте, будь ласка, а дитя воно е дитя, чому ж його не кохаты...

#### Соучастники детства Шимека:

1. Томка - белый комок шерсти с чёрным троеточием глаз и носа, помесь лайки со шпицом, сгусток ума и добродушия; у мамы Жени часто болели зубы, и когда вечером, устав от многочасового машинописания в своих двух конторах, она опускалась на стул у кафельной печи, Томка садился перед нею, клал голову ей на колени и утыкал в её глаза всепонимающий взгляд, такой тоскливый, такой страдающий, что мама, жалея, уверяла собаку: “Ничего страшного, Томочка, потерпим, пройдёт” - и, может быть, от желания облегчить Томкину сочувственную муку собственная мамина боль и вправду утихала; Томка честно отслужил собачий век, в 18 лет заболел, из последних сил попросился выйти, вывололся в приотворённую дверь на лестничную площадку, лёг там под окном; возвращаясь из детсада, Шимек, взойдя на площадку, удивился: почему Томка не дома, почему не встречает, почему неподвижен и смотрит странно, застыло - с теми вопросами Шимек вступил в квартиру, и бабушка сказала горько: “Умер наш Томка”; первая смерть в жизни Шимека.

2. Васька, - этой, в отличие от Томки, было наплевать на всех, одному деду позволялось приблизиться и прикоснуться, остальным предьявлялись когти и зубы, даже кормилице-бабушке; когда из кухни предвестием рыбы или курятины неслись взвизги ножей, которые бабушка точила лезвие о лезвие, Васька вмиг сквозь два коридора пролетала к бабушкиным ногам и тёрлась загрявком, подпрыгивая от воз-

буждения, могла даже и муркнуть (отзвук мурлыкания), но чаще куснуть, а кусок урвав и отхрустев им, ворча и злобно подвывая, если кто приближался, - Васька переставала замечать и бабушку; возможно, она считала себя обделённой вниманием ещё в дальнем детстве, когда её-котёнка определили мальчиком и соответственно нарекли Васькой; со временем мальчик подозрительно раздался, потом откровенно опузател, потом в кухне запищали котятка, и Ваську решили было переименовать, но кошка ни на какие Василисы не откликнулась; так и осталась Васька, только женского рода - суровая была кошка, в своём праве.

3. Кенар - вымечтанная и выжатая из мамино кошелька птичка в большой изумительной клетке, настоящем птичьем дворце с жёрдочками, с поильничком, с ладненькой дверцей внизу; клетку водрузили на стенку рядом с буфетом, кенар тревожно засуетился, когда в столовой объявилась Васька, кошка скосила равнодушный взгляд и с брезгливой холодностью удалилась в коридор; в безмятежной зелени её глаз, в походке, во всей стати холёного белошёрстного крупяничка ничего грозного не предвещалось - с тем и ушёл наутро Шимек с мамой в детский сад протерпеть нескончаемый день: сердчишко рвалось к кенарю - насыпать в кормушку зерна, подлить водички, поглядеть в его стреляющий глаз, пожалеть, что сквозь прутья не дотянуться до нежных перьев, посмеяться его пружинным подскокам на насесте, может быть, даже послушать обещанную в магазине птичью песню или хотя бы поскрипывание, или хотя бы шорох клюва о перья при почёсывании; вечером Шимека ввели домой, он рвался бежать, он взвился над битым мрамором лестницы и без выдоха вымахнул на четвёртый этаж, протаранил дверные проёмы и обомлел перед проломанной клеткой, на дне её лежал округлый комок перьев, который ещё вяло содрогался, тряпочная шея тянулась от него по дну клетки, голова вывернулась к Шимеку потухшим глазом; Васька неподалеку, с верха буфета, наблюдала смерть птицы и столбняк Шимека, пока он не кинулся на неё в беспамятной остервенелости, забыв о когтях и зубах; она сорвалась с буфета, Шимек ударил её в воздухе, Васька вякнула на лету, перевернулась, скользнула по полу под диван, Шимек приволок из кухни веник и улёгся выскрёбывать кошку из-под дивана, она из тёмной пыльной глубины рычала на веник и на Шимека, глаза пылали злобой, но что были Шимеку её тигроподобие и его прежние страхи, когда душу распирали горе и месть.



Гибель кенара стала второй смертью в жизни Шимека, а дальше пошли уже умирания человечьи: дед, бабушка, другие дед и бабка, дядя, тётки, их дети - родня Шимека и не-родня, и ещё, и ещё, пошла война лавиной смертей...

## 12. УРА!

В 1930-х годах в Одессе говорили полушепотом. Не только о событиях за окном. Любые разговоры окрашивались опасной крамолой. Кто-то, рассказывали, на бульваре Фельдмана, возле памятника - прошловековой пушки пустился в историю, в Крымскую войну. Двадцать восемь кораблей французов и англичан пришли брать безоружную Одессу, триста пятьдесят орудий против одной-единственной береговой батареи - двадцать восемь солдат и четыре устаревшие пушчонки. Шторм, от качки корабли промахивались, русские стояли насмерть, через шесть часов нападавшие ушли, оставили три корабля блокировать порт. Один из них, английский фрегат, сел на мель. Одесситы его сожгли, команду, больше двухсот человек, взяли в плен. Трофейная пушка с того англичанина - вот она, на бульваре. Красивая история, но главный герой, двадцатидвухлетний русский командир Щёголев, за подвиг вознесённый через два чина из прапорщиков в штабс-капитаны, он ведь царский офицер, белая кость, классовый враг... Кем восхищаемся? И взяли, говорят, рассказчика за антисоветскую агитацию. А Сёма Кушнир, вы его знаете? Шапочник с Нежинской, он одной даме сказал: “Разве у вас мех? Вот в раннее время был таки-да мех!” Получил пять лет, хотел, говорят, свергнуть советскую власть, вернуть дореволюционные порядки...

Но у Гродского можно было расслабиться. Вечерами в его столовой под абажуром составлялся круг своих, узкий и старомодно порядочный, чужие уши здесь не топорщились. Если завязывался профессиональный разговор о медицине, то гости, позволяли себе, вдохновляемые хозяином, упоминать и психиатра Бехтерева, который после обследования Сталина почему-то сразу умер, и кардиолога Плетнёва, в газетах клеймённого разнообразно от “старый развратник” до “убийца народных вождей”; здесь не опасались и хмыкнуть насчёт удивитель-

ной смерти полководца Фрунзе на операционном столе. Звучали даже анекдоты, за которые запросто было схлопотать срок: “Рабиновича ведут утром на расстрел. “Ничего себе день начинается!” - бормочет Рабинович”; “Хаим, вы здесь живёте? - Здесь, но разве это жизнь?”; “У меня с советской властью только одно разногласие, по аграрному вопросу: они хотят меня видеть в земле, а я - их”.

А уж наедине с женой Гродский мог позволить себе полную откровенность. Припоминалось почти злорадно, как советская власть готовилась в самопалачи. Когда-то чекиста, который убил одесского хирурга Гегелашвили, осудили во многом благодаря обвинительному пылу Гродского, он ведь и на похоронах выступал, и в суде - но осудив, вскоре же и освободили. Это изначально: большевики над законом. Братец московского чекиста, Лев Блюмкин, журналистишка газеты “Одесские известия”, ни за что ни про что, об очереди на пишущую машинку споря, застрелил секретаря редакции. Как наказан? Аж шесть лет, и это в 1924-м году, когда за скрытую золотую монету или вовсе без причины могли приговорить к высшей мере. Вот и получают большевики своё, заслуженное ими и выпестованное.

Гродский знал русскую революцию с первых её шагов, он молодым верховодил в студенческой социал-демократической организации, посидел даже в тюрьме. В Первую мировую, уже в армии служа врачом, ораторствовал на митингах, после Февральской революции выдвинулся в солдатские комитеты. Когда большевики разлагали армию, комиссар корпуса Гродский телеграфно просил Керенского беспощадно бороться с их агитацией. Разложение, вирус смерти сидел в большевиках, спирохета.

Константин Михайлович в начале тридцатых годов по неясному поводу попал на несколько месяцев в тюрьму. Сокамерники - партийцы, новые советские начальники - оказались много хуже политзаключённых царских тюрем. У тех - Гродский помнил - были принципы, честное слово, мораль и вера, у этих - ложь, шкурничество, злоба. Не скрываясь, ругали евреев. Гродский поражался: думали, советская власть антисемитизм вывела, а вот на тебе! Может быть, дело было в следователях-евреях, слишком их много?.. Что ж, и они готовили себе место на плахе.

- Латентный период сифилиса может длиться десятилетия, а потом бац! - узелки на коже. Уж мне ли, Надюша, венерологу, не знать, - улыбался Гродский.

Раскрутился режим воронкой всасывающей. Во тьме, в тайне: ночные аресты, глухие пыточные комнаты, неслышные подвальные расстрелы, невидимые предугранные этапы... А на свету, слепя и вдохновляя, гром торжеств. Праздновались размножение заводов и колхозов, подвиги шахтёров и вызволение из-под фашистских бомб детей Испании, международные триумфы одесских малолетних музыкантов и эпопея папанинцев - героев первой в мире зимовки на льдине у Северного полюса.

Папанин, Кренкель, Ширшов и Фёдоров - грохотали по стране имена. В пятилетнего Шимека врубился этот четырёхимённый набор, овеванный полярным сизым холодом, обрамлённый ледяными далями, сверканием торосов во тьме полугодовой ночи, видениями ледоколов, самолётов, белых медведей, палаток, слепящими сполохами северной романтики и большевистского мужества. И вот Одесса встречает героев: толпы на тротуарах, цепи милиционеров в парадной белоснежной форме, по мостовой ползёт кортеж автомобилей, у них откинут матерчатый верх и полярники - не на плакатах, живые! - вздымают римские приветственные ладони, воздух рвут раскаты: “Ура!.. Слава!.. Сталин!..” Но маленького Шимека в суматохе восторга вынесло из мечты, оттиснуло вместе с мамой из первого ряда, отторгло от праздника так нагло и беспросветно, что ребячья душонка забилась отчаянно: “Не вижу! Ничего не вижу!”. Мама была очень красива, поэтому тут же обнаружился одесски-галантный выручатель: “Мадам, или ребёнок должен мучиться? Позвольте...”. Шимек взвился над толпой и с крутых плеч силача изумительно близко увидел в блеске солнца белозубую радость героев, дождь летящих из толпы цветов, их ковёр на мостовой, продавленный двумя колеями, от которых пахло розовогвоздично, остро и пряно, вообразился даже нежный хруст стеблей под триумфальным накатом автомобильных колёс...

...потом дома Шимек захлёбывался повестью о встрече папанинцев, и бабушка, деланно сокрушалась: “Эр рэд, унд эр рэд, унд эр рэд...” Кто бы знал, что эти “унд эр рэд” (“и он говорит” на идиш), “мишигинер”, “кецеле” и ещё два-три слова в адрес Шимека, только

они и западут в его память камешками с могилы убитого языка и с бабушкиной могилы, затерянной в непроглядном среднеазиатском мареве... Там, в эвакуационном безвременьи, умирая от малярии и голода, она будет сокрушаться, что больше не сможет подсовывать внукам свой трёхсотграммовый хлебный паёк. (Она и через десятки лет выручит Шимека, когда при эмиграции в Израиль он сможет бдительной и тупой чиновнице доказать своё еврейство только задокументированным именем бабушки: Эстер-Рохл).

...Шимек захлёбывался, душа прыгала от восторга, потому что льдина, и полюс, и наш красный флаг на Полюсе, полярники в ледовом плену, ледокол “Красин” пробивается сквозь торосы, спасает от важных...

*“Лучшему другу советских полярников товарищу Сталину - слава!..” (плакат).*

*“Сталинским соколам - ура!” (плакат)*

Через Северный полюс в Америку летят они, первые в мире - Чкалов, Байдуков, Беляков. За ними Громов, Данилин, Юмашев. Они все у Шимека на марках. Советские герои...

Выше всех, дальше всех, сильнее всех!!!

*“От тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее” (песня)*

Наша армия кого хочешь победит. Ура! Ура! Ура!...

У Шимека на фото папа с двумя ромбами, боевой, крутогрудый, со знаком почётного чекиста.

Чекисты - герои, может, главнее даже военных. В кино “Ошибка инженера Кочина” чекист-следователь, всенародно обожаемый артист Жаров, разоблачал шпионов. И папа, наверно, тоже где-то ловит шпионов, воюет за нашу прекрасную страну.

...Папа Шимека воевал далеко-далеко, на Дальнем Востоке, на лесоповале, с лагерными вшами воевал, с цингой. Мама через бесконечное расстояние отчаянно, без надежды, что дойдёт, слала погибающему Абе витамины: чеснок, а иногда, одолев дороговизну, лимон.

### 13. ВОЙНА

В бессонных ночных квартирах всхлипывали в подушку жёны вырванных из жизни одесситов, а днём, припудрясь и улыбаясь, они мчались в ежедневных заботах по городу, и чёрные раструбы репродукторов с высоты уличных столбов оглушали их весёлым хрипом Утёсова: “Ах, Одесса, жемчужина у моря...”

Жизнь кипела, море сияло, круглилось волной, желтели пляжи, забитые загоревшими телами даже и по трудовым будням, а уж по воскресеньям...

В очередное воскресенье, летнее, раскалённое, тысячи одесских детей с утра изводили пап и мам в предвкушении пляжа, плавания, лепки песчаных замков, мороженого, волейбола, катания на лодке. В квартире Шимека посреди гомона сборов (“На море! Едем на море!”) появилась мама, успевшая сбегать на Привоз за двумя лимонами. Она вошла в столовую потерянно и вяло, опустилась на стул и уронила на скатерть, бело-золотую от крахмала и солнца, руки и лимоны, режущие жёлтые в жёлтом солнечном луче. Девочка с персиками с картины Серова... Лицо мамы, под собранными на голове тяжёлыми рыжими косами, белело безжизненно, глаза - в никуда.

- Жень, что случилось? - испуганно спросила бабушка.

Мама шевельнула бескровными губами: - Война...

И замолчала. И бабушка замолчала. Деда дома не было. Шимеку мелькнулось, что война - это здорово, играть в войну и то интересно, а тут взаправду... Но что-то больно мрачно молчали взрослые...

22 июня 1941 года. Жизнь сломалась.

То есть как это?... Только что ведь сиял мир, только что подкрепила его дружба Сталина с Гитлером, на польской крови настоящая, но то чужая кровь, не наша, а наша, от “ежовщины”, вроде перестала литься, полегчало, “жить стало лучше, жить стало веселее” - улыбаясь, сообщил народу вождь. “Я маленькая девочка, играю и пою, я Сталина не

видела, но я его люблю”, - пела детсадовская подруга Шимека Милечка. И глядела на Шимека с искорками.

Милечка про любовь, а взрослые... Только что пели-орали “Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим” - и здрасьте вам, вот он, фронт, всё ближе, и висят над Одессой немецкие бомбардировщики, на улицах громоздят баррикады, уходят мужчины на войну, и кто сумел - эвакуируется.

**Сергей Сушон**, тогда 13-летний (из интервью): “Незадолго перед войной заключили пакт о ненападении с Германией. В одесском порту стояли немецкие корабли с грузами для Германии: зерно, свинина и так далее. Прекратилась антифашистская пропаганда. С немцами дружба, а если что и вдруг война, то ведь как говорили? “Мы победим, через две недели поднимется за нас немецкий рабочий класс, будет революция в Германии, война кончится. Одессу вообще бомбить не будут, потому что в Одессе лучший в мире оперный театр”. И действительно месяц не бомбили, а через месяц началось.

Первые бомбы попали в наш двор, рядом с оперным театром, и мы увидели первого мёртвого, соседского дедушку”.

В Одессе, словно похеренной полосками бумаги, наклеенными на оконные стёкла (чтобы не лопались от взрывной волны), Шимек с мамой при первом налёте сбежали в бомбоубежище - подвал под домом, тесный от раскладушек и скамеек, от сидящих и лежащих на них жильцов. Тусклая желтизна лампочек, свисающих с потолка на грязных мятых перевитых электрошнурах, спёртость испарений и дыханий, детский плач и нервное молчание взрослых - уныние и страх... Мама после первого же самозаточения здесь объявила: “Ноги моей тут больше не будет! Чем погибать заваленными, уж лучше умереть на воздухе”.

У деда вообще и в мыслях не было бомбоубежища: ему да подчиняться каким-то воздушным босякам? Забиваться в крысиный подвал или, словно клопы, в “щели”? Название-то какое насекомое у этих дурацких ям, от осколков прикрытых сверху чем придётся! Бабушка, естественно, была всегда при деде. Они и не спускались со своего четвёртого этажа. Но дочь с внуком заставляли прятаться: кто ж ребёнком рискует?

Мама нашла выход: подворотня. Там пережидали бомбёжку все достаточно храбрые, чтобы стоять под бомбами, или слишком боящиеся оказаться под развалинами

**Из архивов:<sup>1</sup>**

*“Акт 12, 23 июля 1944 года*

**УБИТЫ ПРИ БОМБЁЖКЕ**

*Мы, нижеподписавшиеся Члены Районной Комиссии Содействия Чрезвычайной Государственной Комиссии по расследованию зверств... [перечисляются фамилии] и свидетели очевидцы [перечисляются] составили настоящий акт в том, что при бомбардировке г. Одессы немецкой авиацией 23 июля 1941 г. в 2 часа ночи в дом по ул. Канатной угол Ремесленной попали 2 бомбы. Убито 200 человек (мужчин, женщин и детей), фамилии которых установить не удалось.*

*(подписи)”*

*“Акт 19, 25 августа 1944 г.*

**УБИТЫ ПРИ БОМБЁЖКЕ**

*Мы, нижеподписавшиеся Члены Районной Комиссии Содействия Чрезвычайной Государственной Комиссии по расследованию зверств... составили настоящий акт в том, что во время бомбардировки г. Одессы немецкой авиацией 26/У111-41 г. в дом № 13 по ул. Пушкинской, где... жил поэт Александр Сергеевич ПУШКИН, сброшены бомбы. Под развалинами и от осколков погибло 170 человек, фамилии которых установить не удалось.*

*(подписи)”*

**Леонид Сушон**, младший брат Сергея, тогда 10-ти лет (здесь и далее из книги “Транснистрия: евреи в аду”): *“Главное и обидное попада-*

---

<sup>1</sup> Здесь и далее приводятся преимущественно материалы ЧГК - “Чрезвычайной Государственной Комиссии по расследованию зверств и злодеяний немецко-фашистских захватчиков...”, образованной Указом Президиума Верховного Совета СССР 2 ноября 1942 года.

Источники других документов, как правило, указаны при их цитировании.

ние - в дом, где раньше жил сам он - Пушкин... На другой день я отправился туда... Виднелись руины - обломки стены на втором этаже, обстановка комнаты с развороченной мебелью, с остатками одежды и какими-то книгами...

... мне показалось, что передо мной - самое страшное, что могли совершить фашисты. Шутка ли - посягнуть на такую народную святыню!”

Из именных **Листов** (анкет) на погибших одесситов и примечаний к **Листам** (архивы израильского Мемориала Яд ва-Шем):

“Бронфман Исак, 1924 г.р., школьник, погиб при бомбардировке г. Одессы, 1941 г.”

“Кигель Перец, 63 г., рабочий с Молдаванки, погиб на фронте”.

“Шварцман Яков, профессор-кардиолог, 50 лет, при эвакуации фашистская армия догнала на Кавказе, выкачали кровь у него для переливания немецкому офицеру”.

“Шварцман Кися (жена Якова), 50 лет, при эвакуации на Кавказе уходили пешком, немецкая армия догнала, убили после издевательства”.

“Юдковская Мария, 20 лет, работала медсестрой в госпитале, подбирала раненых на фронте в районе г. Одессы; до последнего дня боёв оставалась в госпитале, где оказывала первую помощь раненым и отправляла их самолётами в тыл для лечения, попала в оккупацию, убита”.

Шимеку июль слаще всех месяцев, у него день рождения в июле. Но в тот год горько чувалось, что в обложенной врагом Одессе не до именин. Шимеку исполнялось целых семь, и он уже соображал не задумываться над злодейством судьбы. Только пару раз припомнилось, как на его именины у бабушки с дедушкой собирались их дети с семьями, благоухала фаршированная рыба, внуки, заведясь от предпраздничной суеты, носились в тесноте между ног взрослых и ножек стола, ссорились и мирились на бегу, трепетно ждали момента, когда дядя Йося соберёт на углу стола стаканы, раскупорит бутылки с газированной водой, называемой на французский лад “ситро”, и прокричит: “Кому пить? Налетай, жмурики! Только берегись: ситро мокрое!” - и осатаневшие от суеты дети в захлэбе визга и восторга будут опи-



ваться сладкой сельтерской водой, вскипающей газовым колотьём на языке.

Дядя Йося - с детских лет бабушкина главная морока, чахоточный младший сын, вопреки приговору врачей спасённый ею с помощью легендарного народного средства - собачьего жира, оздоровлённый до того, что за неуспеваемость и хулиганство был изгнан из гимназии бесповоротно, без права поступления (называлось “с волчьим билетом”) и только что чудом “мальчик из приличной семьи” не свихнулся к “босьякам”, удержался, а там, слава богу, постепенно отрешился от грехов молодости, преобразился ходом-бегом жизни в просто счетовода и вот теперь ушёл на фронт в первые дни войны и пропал тут же под Одессой неизвестно как...

### **Из Листов:**

*“Бранденбургский Исаак, 1901 г.р., счетовод, фронт, пропал без вести под Одессой, 1941 г.”.*

*“Ройтман Фаня, 45 лет, погибла в 1941 г. в отряде по защите г. Одессы”.*

*“Серебрянников Лазарь, 42 года, директор обойной фабрики, был освобождён от воинской обязанности, но отказался эвакуироваться и записался в рабочий батальон по защите Одессы и погиб под Одессой в 1941 г.”.*

*“Яровой Анатолий, 1906 г.р., (экономист) рядовой, погиб при защите Одессы, 1941 г.”.*

**С. Сушон:** “Когда начались бомбёжки, мы с бабушкой и братом поселились на Среднем фонтане, на даче папиного товарища, который эвакуировался. Там я сачком, как бабочку, поймал листовку: “Одесса уже в окружении. Бейте жидов и политработников”. Принёс бабушке, она сказала: “Никому не рассказывай про это”. Потому что за распространение могут арестовать”.

В Одессе тогда боялись: диверсантов, не затемнённых ночью окон, слухов и паники, которую могли вызвать правда о фронте, и правда об эвакуации, и правда об евреях.

**С. Сушон:** “На даче, где мы жили, соседскую половину занимала сестра знаменитой украинской артистки. Моя бабушка на еврейку совершенно не похожа, прекрасный русский язык, колоссальный багаж знаний, практиковала в Лондоне, Берлине, знала языки - аристократка. И соседка ей говорила: “Екатерина Борисовна, почему вы думаете об эвакуации? Вам-то что? Будут бить только жидов”. С душой говорила. То есть люди уже знали, что немцы делают с евреями. Но официально ничего не говорилось... Если бы было известно - евреи бросились бы в море, голыми и босыми бежали бы. Но тенденция была такая: “Одессу никогда не сдадут. Пересидим войну. Молодые пусть едут со своими предприятиями, будут там в тылу работать. А пожилые останутся охранять имущество”.

Окна глухо забирали ставнями, для верности ещё и занавесями, чтобы ни полоски света наружу. Дворники и дежурные из жильцов с улицы следили за светомаскировкой, стучали в дверь: “У вас горит, закройтесь!” Иные поглядывали с прикидкой: не шпионы ли тут, сигнальщики ночным бомбардировщикам...

За таким прикрытием не слишком уютно, но доктор Гродский пытался соорудить из обломков довоенного прошлого чаёвничание с друзьями. Разговоры теперь сводились к “бежать - не бежать”. Они знали о гитлеровской Германии, читали газеты и немецкие листовки с призывом убивать евреев, слышали радио; они не слишком обольщались и по части нееврейских сограждан, сидели в памяти и прошлые погромы и добрососедские, между делом, замечания о “жидочках” - они не ждали добра, но неистребимо жила староодесская вера в милую Германию, в гуманное её европейство, ещё недавно, в Первую мировую, так приятно проявленное на оккупированной немцами Украине.

Очень хотелось напеть себе что-то ласковое немецкое, вроде “О, майн либер Августин, Августин, Августин” и представить промытые росой леса, чистые улочки, шоколадницу в чепце, добродушного пивного толстяка с кружкой, соборы, университеты, Бах... А Гитлер, что ж, пропагандистский трюк: кляня евреев, легче властвовать - дело известное. Зато у немцев дисциплина и порядок, они и нашим хулиганам разнуждаться не позволяют.

Очень хотелось так думать, тем более, что эвакуация пугала словом старой жизни и смертельным риском, да и уважаемый доктор Гродский, искренний и душевный друг, говорил созвучно мятущимся душам:

- Бояться немцев? Смешно. Неужели они вычеркнут из городской жизни евреев? Пол-Одессы?.. Посмотрите на себя, врачей. Сколько вас? Без вас можно лечить город? Нонсенс.

*Л. Дусман (1930 г. р.; из воспоминаний): “Я с такими же мальчишками, своими сверстниками, бегали добровольцами помогать строить баррикады, изготавливать мешочки с песком для тушения зажигательных бомб... носили воду, разносили пайковый хлеб и многое другое...”*

*Никогда в советский период не слышал по отношению к себе слово “жид”... И вот впервые, в начале октября, в ещё советской, не сданной Одессе на ул. Базарной... стоит женщина и кричит: “Ничего, хватит вы над нами двадцать четыре года поиздевались. Всех жидов перебьём!”. И в этот момент проходящий мимо патруль из трёх моряков (хорошо запомнил) в тельняшках с пулемётными лентами накрест расстреливает эту кричавшую...”*

“Одесса была, есть и будет советской!” - гремело в партийных заклипаниях, шелестело листовками на столбах, трепетало плакатами, маячило на газетных листах до самого дня сдачи города в октябре. Но уже за три с половиной месяца до того, 8 июля, от Государственного Комитета Оборона пришёл приказ начать эвакуацию Одессы. Строго секретно. Чтобы без паники.

В тот же день из одесского порта с первым эвакуируемым грузом ушёл в Новороссийск рефрижераторный теплоход “Кубань”. В августе в свой третий рейс “Кубань” снялась в Новороссийск с тысячей тонн груза, тремя тысячами штатских пассажиров и двумястами тридцатью военнопленными румынами и немцами. 18 августа возле Евпатории три немецких “Юнкерса” бомбили безоружный теплоход, 250-килограммовая бомба угодила в трюм, где находились военнопленные, и пробила подводную часть. Судно стало крениться. Команда бросилась заводить пластырь на пробоину, размеров пластыря не хватило. Откачивать воду не управлялись - взрыв повредил трубопровод. “Кубань” тонула. Капитан выбросил судно на мель - спас груз и людей. Подошли два парохода, забрали всех, включая военнопленных (по старинке ещё, видно, воевали).

У Гродского за столом говорили о “Кубани”, ужасались. Добавляли нашёптанные подробности: две трети экипажа “Кубани” списали с корабля, вроде бы во избежание лишних жертв при следующих налётах.

- Ну, и как управляться одной третью моряков? - возмущался Гродский. - При такой-то нагрузке! Бестолочь... И вы хотите доверить этим людям ваших детей? - спрашивал он рвущихся в эвакуацию. - Абсурд! Дороги отрезаны, а в порту что творится?

**Из Отчёта Управления Черноморского пароходства о гражданской эвакуации гор. Одессы № 83-6/с, 29.04.1946 г.**

*“На Одесский порт была целиком и полностью возложена вся эвакуация раненых, гражданского населения... в/частей, госпиталей и т.д.*

*... на грузовых судах практиковалась загрузка грузами... лишь трюмов, а для пассажиров использовывались твиндеки и бридж-деки [междупалубные пространства], а также всё, что только можно было приспособить...*

*...порт совместно с Облсполкомом организовал производство спасательных средств в ряде промышленных артелей... Изготовлено около 18000 спасательных поясов... Также устраивались плоты из пробковой коры и дерева...*

*О первой бомбёжке Одесского порта капитан парохода “Фабрициус” тов. Григор рассказывает следующее:*

*22 июля 1941 г. “Фабрициус” стоял у Платоновского мола... По носу грузился пароход “Ингул”. Все причалы были завалены грузом: ящиками, металлом в чушках... На путях стояли длинной вереницей жел. дор. вагоны и платформы, тяжело загруженные станками и оборудованием...*

*Неожиданно в порту захлопали зенитки. Резкими очередями, смешиваясь с орудийной пальбой, трещали пулемёты.*

*В этих звуках нарастал рёв авиационных моторов. Сотрясая воздух у здания управления порта грохнули сильные взрывы. Во всём здании посыпались разбитые стёкла, смешались с пылью штукатурки.*

*...бежал народ в разных направлениях. Кто спешил в бомбоубежища, кто торопился попасть на свой объект, чтобы выяснить обстановку.*

*...Весь день шла напряжённая погрузка - спешили. Было уже темновато, угасали сумерки, но работа не прекращалась. Вдруг вновь завыли сирены...*

*Над головами пронеслись чёрные тени самолётов, ослепительно, оглушающе грохнули взрывы...*

*Густые клубы дыма встали над Одессой... Город горел - наш город, где прошла большая часть жизни..."*

*Дневные налёты и бомбёжки... заставили усилить погрузочные операции в ночное время... Значительные трудности в работе доставляло полное затемнение порта...*

*... В связи с мобилизацией части работников порта в ряды Красной Армии, порт начал ощущать недостаток в рабочей силе. При ежесуточной потребности в 700-800 рабочих в порту имелось всего 250 грузчиков. Поэтому все рабочие, руководящий и обслуживающий персонал были переведены на казарменное положение и 12-часовой рабочий день... Грузчики и механизаторы работали от восхода до заката, а иногда оставались на причалах и на ночь...*

*Как ни сложна была задача гражданской эвакуации в условиях осады города и блокады порта с воздуха и со стороны береговых батарей противника, коллектив Одесского порта с ней справился.*

*За период от 8 июля до 16 октября 1941 г... было вывезено из Одессы судами Черноморского пароходства 183400 тонн [грузов и]... около 300 тысяч человек".*

Нелли Красносельская, хилая от рождения второклашка, московский заморыш, промёрзшая за зиму, продрогшая за весну, имела, слава Богу, в Одессе бабушку с дедушкой, и едва закруглился учебный год, в мае, родители отправили её туда - к морю, солнцу, фруктам - на поправку. В конце августа предполагалось её, румяную, загорелую, подзоровешшую, вернуть в Москву. Но летом город захлопнулся.

Нелли помнит осаждённую Одессу, первую бомбёжку ("летит самолёт и вдруг от него что-то падает"), недоедание, хлебные карточки, припасаемое бабушкой пшено в сером мешочке, помнит отрезанный немцами водовод из Днестра и жажду: сухие краны, сухие губы, на пивзаводе, куда дедушка - заводское начальство переселил семью, они мыли руки пивом...

И ещё помнит **Н. Красносельская** (из интервью): “Папин брат, который был в армии, прислал вызов, который давал право на эвакуацию. Но получилось так, что мы пришли на пароход, а у бабушки медвежья болезнь, ей постоянно нужно было в уборную. Посадка, а мы стояли, ждали бабушку, дедушка нервничал, кричал: “Где она? Где она? Где она?”. Бабушка бежит, а пароход отчаливает... Мы стоим растерянные, смотрим на корму, а в этот момент пикирует немецкий самолёт и на наших глазах падает бомбой в пароход и он тонет. Судьба, видимо...”

Бой за места на кораблях начинался в городе беготнёй за разрешениями и билетами. В толчее и слухах страстно и сладко трепетали слова “литер”, “вызов”, “бронь”, “блат”. У мамы Шимека никаких благов, но ребёнка надо было спасать, и стариков надо было спасать, как бы дед с его пронемецкостью и антисоветскостью ни сопротивлялся, а что она могла без могучих знакомств сделать в обеспамятвшем от страхов городе, где все рвались в отдушину порта, к сходням отходящих кораблей. Там бестолочь и круговерть, мешки и чемоданы, мат-перемат, дети судорожно цепляются за матерей, чьи руки заняты пожитками, людской поток раздирает семьи, лязг цепей, рёв гудков, грохот, визг, плач... Случалось, срывались с трапа, теряли вещи, а то и ребёнка. Но Жене даже отчаянное то столпотворение оказалось недосыгаемо, и один из последних шансов вырваться из гибели, теплоход с ободряющим именем “Ленин” растворился за портовым волнорезом - им билетов не досталось. Впору было заломить руки.

Именно эту жуть скрывало неподвижное лицо мамы Шимека, когда она опять “девочкой с персиками” сидела за массивным дедовским столом, сложив бессильные руки на уже не крахмаленной (не до того), но по-прежнему белой опрятной скатерти и глядя скорбными глазами - как в первый день войны.

**Из отчёта Управления Черноморского пароходства о гражданской эвакуации гор. Одессы № 83-6/с, 29.04.1946 г.**

[Воспоминания помощника капитана теплохода “Ворошилов” Белинского А.Г. о первом рейсе после незаконченного ремонта]: “*Без пробы, без ходовых испытаний в ночь под 24 июля т/х “Ворошилов”, груженный до отказа ценнейшим оборудованием эвакуируемых заво-*

дов, приняв дополнительно к этому на борт 3000 пассажиров, снялся в свой первый рейс.

...В Севастополе наш теплоход вошёл в сводный караван... Головным шёл пароход “Ленин”, ему в кильватер пассажирский теплоход “Грузия”, ему в кильватер мы... Под охраной сторожевых катеров выходим в море. Густая июльская ночь. Еле заметными очертаниями просматривается по левому борту прибрежная цепь крымских гор. [В] 23 часа 50 минут сквозь мерные выхлопы работающего двигателя и шум винта вдруг впереди по носу судна оглушительный взрыв. Это головной “Ленин” наскочил на мину... Он всего несколько минут держался на плаву и камнем ушёл в пучину. Вокруг крики спасающихся о помощи. Наши шлюпки на воде подбирают людей. Шлюпки старые, текут, вода подходит под банки. Но и они в этот тяжёлый миг сделали своё дело. Спасено и доставлено к нам на борт 207 человек.

... С рассветом... выяснилось, что находимся в опасной зоне среди минного поля. Хладнокровие и выдержка капитана Шанцера А.Ф. [по другим сведениям - Шансберга] спасли от неминуемой гибели корабль...

...Через двое суток отдали якорь в Новороссийской бухте...”

Одесский историк С. Я. Боровой плыл на “Ворошилове”. Трём тысячам пассажиров не хватало места, не хватало воды, на палубе стояла уныло-долгая очередь в наспех оборудованный гальюн...

**С. Боровой** (из книги “Воспоминания”): “Самоуверенные дураки из эвакуировавшихся... объясняли, как нужно себя вести. Строго следили за тем, чтобы не выбрасывали мусор с борта корабля: это будет сигналом для подводных лодок. Когда какие-то женщины стали развешивать бельё - это вызвало панические крики: вы привлекаете внимание вражеских самолётов.

... В нескольких сотнях метров от нас шёл красавец “Ленин”. Под вечер второго дня... остановились. Наш корабль спустил шлюпку, на которую села небольшая семья: женщина и дети. Их пересадили на комфортабельный “Ленин”. Всем было понятно, что у них “большой блат”.

*Наступила ночь... Вдруг мы были разбужены громкими звонками... аварийной тревоги. Вблизи нас подорвался на минном поле и шёл ко дну, перевернувшись, "Ленин".*

*Очень нескоро и неумело "Ворошилов" спустил шлюпки... Спаслись те, кто находился на палубе, а не в каютах, кто умел плавать и продержаться на воде не менее трёх четвертей часа".*

Поговаривали у Гродского, что из двух с лишним тысяч пливших на "Ленине" спаслись в основном члены экипажа: крепче пассажиров оказались и в борьбе с морем, и в драке за спасательные средства. Впрочем, разные ходили в Одессе слухи: рассказывали, например, о миллионере, который за бешеную взятку протащил на борт "Ленина" свою семью - семьёй и пошли рыб кормить...

## 14. ПОМОШНАЯ

Я д ва-Шем всасывает в свои компьютеры памятные Листы. Сижу перед экраном, пальцы тычут в клавиши, спотыкаюсь в невнятице почерков - глаза пухнут... Фамилии жертв, адреса, даты, разные частности - поток. Но вот в нём всплывает: *"Ворожбиева Лидия (дев. Сливкер) с сыном Петром 4 лет, утонула на теплоходе "Ленин", торпедированном на пути из Одессы",* - и странно бередят меня моё везение и чуть ли не вина перед теми, кто заменил меня, как Шимека, на том корабле.

Однажды случилось ещё острее: Лист на Аллу Гринберг из Одессы, 17 лет, погибла во время эвакуации при бомбёжке железнодорожной станции Помошная в 1941 году, в августе. Словно на себя самого вводить Лист...

Фронт был уже почти в городе. Врачи ближнего медсанбата выхлопотали у начальства грузовик и разрешение вывезти свои семьи из осаждённой Одессы. В медсанбате служил мой дядя. Так мы и двинулись в эвакуацию. Вместо солидного надёжного "Ленина" на хлипковатой, но самой в те годы вместительной трехтонке ЗИС-5, враскачку по одесской степи, по пригородному тракту, "шляху" по-украински.

Солнце, пыль, палёный август.



**В. Катаев.** “Белеет парус одинокий”: *“В этом чудесном мире густого синего неба, покрытого дикими табунами белогривых облаков, в мире лиловых теней, волнисто бегущих с кургана на курган по степным травам... в мире, который был создан, казалось, исключительно для человеческой радости и счастья, - в этом мире не всё обстояло благополучно”.*

Особенно если посмотреть не глазами путешествующих дачников катаевской повести, чьи наивные души тревожил 1905 год, а взглянуть из 1941-го, из грузовика, в котором под жгучим солнцем трясутся на узлах и чемоданах, наспех собранных в лихорадке бегства из поколениями обжитого мира, от бомбёжек, от пригородных окопов, от голода и страхов, от надвигающихся немцев и непроглядного будущего, - трясутся в грузовике несколько семей, женщины с детьми, трое стариков, а у заднего борта двое военных: невысокого роста чернявый полковник - в петлицах четыре шпалы и скрещённые винтовки - эмблема пехоты, да высоченный худющий солдат со скаткой и противогазом на боку, в грязной мятой пилотке - белобрысый, узкие, щёлочкой глаза, тонкие спаянные в нитку губы, пыль на скулах, в подглазьях, на волосах, на тощем вещмешке возле ног в обмотках - степь одесская запылила прощально всех беглецов, но того красноармейца, кажется, больше всех, а может, он просто больше всех устал. Между ног его торчит штыком вверх трёхлинейная винтовка Мосина образца 1892 года, усовершенствованная в 1930-м, с этим-то оружием вышла Красная Армия против немцев с их автоматами. (Так у пехоты; у прочих родов войск тоже сопоставление впечатляет, вроде как в Польше 1939 года кавалеристы наскакивали на немецкие танки.) Возможно, о том и думает запыленный боец, уже понюхавший потную и трупную вонь боя, потому что обвязана голова его бинтом, чёрно-рыжим, грязным. Мне, утонувшему напротив среди узлов с пожитками, эта забинтованная голова да ещё и в пилотке, грязной, мятой, но с блестящей красной звёздочкой, видится героической, из кино, досадно лишь, что она не вздёрнута гордо, как принято на плакатах и как я видел на парадах, а клонится и клонится к стволу винтовки, падает бесильно, совсем не по-геройски и штык не упирается в небо непреклонным и непобедимым остриём, а качается покорно ухабистой

дороге и дремотным рукам бойца - не штык-молодец из пословицы, а штык-бестолочь...

Зато полковник - отрада моему взору: полковник тоже устал, примят бессонницей и фронтовыми трудами, пыль под его глазами не скрывает синевы, белки красны, но зрачки чёрные блестят живо, командирская форма в порядке, карманы гимнастёрки оттопыриваются положенными бумагами, в левом, на сердце - я точно знаю - партийный билет и, может быть, фото жены или дочери, и, наверно, Сталина портрет - на боку полковника кобура с пистолетом, на коленях полевая сумка с боевыми документами и ещё рядом прикреплена к поясу планшетка с картами, хоть сейчас в бой... Про бой, однако, я уже думаю не взахлёб, что-то от взрослых уже стало задирает мои мысли, война резво волокла меня из детства, и я прислушиваюсь к разговорам в грузовике, к словам мамы, успокаивающей бабушку: - Всё это, дорога, жара, бездомность цыганская, грязь - всё в конце концов не трагедия, уберём детей от бомб, спрячемся, а там и вернёмся. Ненадолго ведь едем, ну сколько может война протянуться, месяц-два, ну, три от силы. В конце концов разобьём мы этих немцев, всё-таки Красная Армия, тут им не поляки, не Франция...

Здесь мотор грузовика почему-то притих, дорога сгладилась, покатили мягче по пыли, ровнее, и в этой некоторой успокоенности такой же негромкой нотой прозвучал голос полковника: - Ошибаетесь, милая, очень ошибаетесь. Война наша на четыре года.

Общая пауза, все замолкли, только мотор своё выводил. Через мгновение вскрики:

- Сколько?

- Вы с ума сошли!

- Товарищ командир, как можно? Извините, это чистое паникёрство!

А он продлил чуть-чуть заминку и повторил: - Женщины, четыре года. Набирайтесь терпения.

Огорошил. Кто-то ляпнул: - Как же так? Я зимние вещи ребёнку не взяла...

Мама подумала о муже. Его срок кончался в сорок пятом, как раз через четыре года. Надеялась на пересмотр, на досрочное освобождение, хотя бы на замену лагеря ссылкой и разрешение поехать к нему, повидаться - всё насмарку, если война.

Молча ехали дальше, мрачно. Вился из-под колёс вал жаркой пыли, откатывал в степь.

Небо голубело светло, знойно, солнце растворило облака, и в вышней чистоте возник звук, не всеми понятый сразу, но через несколько секунд ставший внятным до колик в животе: так завывали немецкие самолёты.

Он был один, немец. Тёмный крестик самолёта поплыл от горизонта над степью, к шляху, к грузовику, к беженцам, не прикрытым сверху ни хоть бы какой крышей, доской, тряпкой - голым, как есть голым; вот она, смерть, безоговорочная, неотвратимая... Матери подтянули к себе детей, прижали к животам, перегнулись, собой заслоня. Дедушка с бабушкой стеснились, прижались друг к другу, дед обнял бабушку, сказал одно слово "Эстер" - попрощался.

Грузовик продолжал пылить с той же скоростью. Деваться было некуда, степь лежала раскрытой ладонью. Вдоль дороги даже кюветов не было, рожь стояла кругом невысокая.

Самолёт приближался, но не снижаясь. Из грузовика смотрели на него. Почти без страха, однако с тоской великой.

- Рама, - сказал красноармеец с винтовкой.

- Что, что? - спросил кто-то.

- Рама. Немецкий самолёт такой. Сам бомбить не будет, на разведку прилетел. Но может других привести. - Он снял с плеча винтовку, передёрнул затвор, направил ствол на приближающийся крест в небе.

- Вы что!? - всполошилась одна мать, потом другая. - Не трогайте его. Пронесёт...

- Тихо, дамочки, может, пронесёт, может, нет, бабка надвое гадала... У него пулемёт, ткнёт пупочку - все в раю.

Не снизился, не ткнул - пронесло. Самолёт прошёл над грузовиком, вой уплыл за горизонт. И никаких других налётчиков в тот день не объявлялось, видно, цель была мелка.

Однако в кузове напряжение не очень сникло, страх давил.

Ехали.

К вечеру грузовик, отскрипев пылью, вытряхнул беженцев на узловой станции. В ожидании попутного поезда заночевали в крестьянской хатке. Несколько женщин с детьми, полковника с солдатом там

не помню - наверно, где-то отвернули по своим армейским надобностям.

Ночь бархатно-чёрная. Не по-городскому яркие звёзды. Цикады. Тишина.

На рассвете свистнул паровоз, за ним другой, потом ещё, гул пошёл по станции, отчаянный, тоскливый - быки на бойне...

В большой Одессе налёт обозначался воем сирены, маленькая Помошная обходилась подручными паровозными гудками. Их вопль влился через окошки в хату, кто-то из детей проснулся, женщины встрепенулись: тревога ложная или будут бомбить? из дома бежать или оставаться? До станционных путей рукой подать, километр-полтора, не дальше, но всё-таки в стороне, немцы целили туда, а здесь, может, и пронесёт?

Паровозный гудёж нарастал. Сгустившийся воздух повело качать рокотом моторов, неровным, ритмичным, волнами - знакомый по Одессе звук немецких бомбардировщиков.

...В подворотне нашего одесского дома мне повезло упиваться разворачивающейся в ночном небе авиационной суетой, слушать тараканье выстрелов и свист бомб, нарастающий, пока не разрядится уханьем разрыва, следить за скольжением прожекторных лучей, вылавливающих самолёт; вот он, выскребленный из черноты, засеребрился в луче, побежал по-тараканьи со света, но подоспел второй прожектор, скрестился лучом с первым и в пересечении белых полос засветился ухваченной намертво мухой немецкий коршун, сейчас ему, подлюке, гаду врежут зениткой... Но как-то ни разу не удалось мне насладиться победным финалом со сбитым немцем.

...И вот сейчас в Помошной гремело всамделишным боем, и я помчался из хаты увидеть в ясном августовском утре восхищённым взглядом, как наши ихних бьют.

Я опоздал. Быстро отгрохотало. Я не успел на войну. Без меня отсвистели, отбухали бомбы. Паровозы затихали, удалялся самолётный накат.

Я пересёк дворик в рыжих всплесках подсолнухов, в запахе росной травы, подошёл к ветхой калитке взглянуть в сторону платформы, откуда тянул дым: то ли от паровозов, то ли горело что-то... Небо было высоко и чисто, солнце - лейся песня. Белизна хат, блеск со-

ломенных крыш, жёлтая пыль улицы - беспорочный сельский покой. Бабочка встрепенулась на заборе...

И тут - затарахтело. Стремительно наплывая, заваливая уши, давя - потоп гула. Из-за хат в брющем полёте, низко-низко, чуть не состригая кроны деревьев, пронёсся самолёт. Застящий солнце размах крыльев, чёрные кресты в белой оторочке. В кабине лётчик: обтянутый шлемом круглый череп и очки - два огромных окуляра; стрекозиная голова склонилась, лётчик глянул на меня, глаза в глаза, и мимо подвернувшейся, напрашивающейся цели - проскользил. Не нажал гашетку пулемёта. Пожалел? Или последняя пуля потрачена на Аллу Гринберг, одесскую девочку? За неё, что ли, живу?..

Долго потом немцы представлялись мне нелюдьми, симбиозом: стрекозиная голова и крылья со свирепо намалёванными крестами...

Крест распятия. Распятое прошлое.

Крест погрома.

Крест-убийца.

Одесситку Розу Гительзон немцы расстреляли в Березовском гетто. Сын прислал на неё в Яд ва-Шем Лист с примечанием: *“Зиму 1941-1942 года прожила в доме православного священника Березовской церкви Яблонского Дмитрия и его жены Ксении, ушла от них из страха подвести их под расстрел. Узнал об этом из её прощального письма”*.

Крест-спаситель.

Доктор Гродский был крещёный еврей.

## 15. ОККУПАЦИЯ

**Б**ольшее половины одесских евреев, тысяч 100 или 120, уехать не смогли (кое-кто не хотел) и 16 октября оказались под властью оккупантов-румын.

**Л. Дусман:** *“16 октября утром в 10-11 часов по нашей Большой Арнаутской промчались в сторону моря две тачанки, полные матросов с винтовками...”*

*В часов 6-7 вечера на Б. Арнаутской появилась колонна автомашин с румынскими солдатами в кузове... На тротуарах стоят люди, смотрят и молчат. Вдруг наша старая дворничка Максимовна падает на колени, крестит румын и причитает: “Наконец вы пришли, освободили нас...”* Реакция окружающих молчаливая и настороженная.

*Все заходим домой. Мать закрывает все задвижки, ставни на окнах. Никто себе не представляет, что будет дальше”.*

**С. Сушон:** *“Румынские солдаты вошли в Одессу усталые, пыльные, в обмотках... Население встречало их с цветами, с рушниками [вышитые полотенца], с хлебом-солью. Оккупантов встречали! Мне это было совершенно непонятно”.*

Уже назавтра румыны начали охоту на евреев: избиения на улицах, грабежи, насилие в квартирах, обязательная регистрация, облавы и аресты. Тут же подключились землячки-одесситы: кто старые счёты с евреями сводил, кто просто грабил, кто тайный жар души антисемитской тушил - поначалу соучастников у оккупантов было вроде не так уж много, но аппетит приходит во время еды.

*“Неуютно стало... Я не узнавал нашего города, такого ещё недавно лёгкого и беззлобного. Ненависть его наводнила, которой никогда, говорят, не знала до того метрополия мягкого нашего юга, созданная ладной и влюбленной хлопотнёю в течение века четырёх мировых рас. Вечно они ссорились и ругали друг друга... случалось и подраться; но за мою память не было настоящей волчьей вражды. Теперь это всё переменялось... Теперь мы по улице ходили с опаской, ночью торопились и жались поближе к тени...”* - писал **В. Жаботинский** (“Пятеро”) об Одессе накануне погрома 1905 года. Из 1941-го 1905-й гляделся почти забавой.

Суток не прошло с момента оккупации, как была расстреляна первая группа еврейских интеллигентов, 61 человек - известные врачи и учёные с их семьями. Арестовав, их, издеваясь и избивая, водили по

улицам города, для острастки евреям и на потеху антисемитам. Некоторых загоняли в пустые дома, где предполагались мины.

С первого дня оккупации разыгрались мародёры. Голодные румынские патрули, искавшие оружие, звались “сахарными”: в обыскиваемых квартирах они среди прочего непременно прихватывали сахар, особенно в серебряной сахарнице. На дверях обобранных квартир писали мелом “Проверено”, чтобы коллегам не заходить зря. Но власть хотела порядка. Вскоре дворникам и “активистам”-помощникам велено было описывать имущество в оставшихся без владельцев еврейских квартирах и стеречь их от соседей и мародёров.

**Л. Сушон** (ещё до взятия Одессы; во время осады их семья жила на чужой даче): *“Мы не могли вернуться в свою квартиру... туда вселились другие люди. Зайдя однажды за вещами, я не смог попасть в нашу дверь. Её заперли на другой замок, а когда я стал стучаться, то открыли и накричали на меня. Получалось, что ещё до прихода румынских чужаков нас вытеснили свои - тоже враги! Хотя впереди было ещё около двух месяцев, пока Одесса сопротивлялась”*.

**Л. Дусман** (после взятия Одессы): *“Утром обнаруживаем на стене у ворот дома приказ румынского командования о том, чтобы все евреи взяли свои ценные вещи, квартиры не закрывали и шли в село Дальник на сборный пункт на регистрацию. Кто уклонится - будет расстрелян... Необходимо нашить на одежду шестиконечные звёзды: одну на груди с левой стороны, другую на спине из белой или жёлтой материи. За нарушение - расстрел.*

*Моя мать принимает решение никуда не идти...*

*Те, кто пошли, не вернулись, их расстреляли... Вечером мы об этом узнали от тех, кто по дороге убежали. Их рассказы полны ужасов: грабили и убивали по дороге, затаскивали девушек во дворы и насиловали...*

*Соседи во дворе... одни сочувствуют, другие - злорадствуют... Вскрывают квартиры эвакуированных и погибших и грабят или просто переселяются в них.*

*Ходить по улицам опасно... евреям в сто раз хуже, чем остальным - обидеть может не только румын или немец, хватает местных подонков... в основном молодые “комсомольцы-добровольцы”.*

22 октября на рассвете взлетел на воздух штаб оккупантов в бывшем здании НКВД на ул. Маразлиевской, 40. Вместе с генералом-комендантом Одессы погибло шестьдесят человек. Румынский вождь маршал Антонеску немедля, 23 октября распорядился казнить евреев и коммунистов: за каждого погибшего офицера - двести человек, за каждого погибшего солдата - сто. Исполнительные оккупанты уже к полдню 23-го казнили пять тысяч; подавляющее большинство жертв составили легко определяемые на улице евреи. Людей расстреливали на улицах и в квартирах, вешали у вокзала, на рынках...

**Из Листов:**

*“Лурье Александр, 15 лет, школьник, повешен на пионерском галстуке румыном в 1941 г.”*

*“Сирота Абрам, 74 года, портной, выброшен с 4 этажа по доносу дворника”.*

*“Старикова Малочка, 13 лет [на фотографии девчоночка лет шести в балетной позиции, пачка, веночек на голове, рука в лебедином взлёте], во двор... вошли 4 ээсовца, изнасиловали и расстреляли, октябрь 1941 г.”*

*“Старикова Маня, 35 лет, продавщица... была расстреляна рядом с трупом истерзанной 13-летней дочери”.*

На следующий день маршал спохватился добавить ещё одну телеграмму: *“1. Казнить всех евреев из Бессарабии, которые нашли прибежище в Одессе. 2. Все лица, которые подпадают под предписание от 23 октября 1941 г., ещё не казнённые, и те, которых можно к ним добавить, должны быть помещены в здание, которое должно быть заминировано и взорвано. Эта акция должна состояться в день похорон жертв”.* Возвышенная страсть к театру, вдохновение художника...

На Александровском проспекте, где ещё год назад блаженствовали, гуляя, прибитый буфетным карнизом Шимек с дедом, вдоль аллея качались в петлях повешенные, на ветках, на досках, перекинутых с дерева на дерево, - прохожие падали в обморок.

**Из Листов:**



*“Ройтблит Давид, 45 лет, повешен на Соборной площади.”*

*“Ройтблит Генрих, 15 лет, повешен на Соборной площади вместе со своим отцом, Ройтблитом Д. Г.”.*

**Из архивов:**

*“Акт 1*

**РАССТРЕЛЯННЫЕ**

*15 августа 1944 год*

*Мы, нижеподписавшиеся Члены Районной Комиссии Содействия Чрезвычайной Государственной Комиссии... составили настоящий акт в том, что...*

*23 октября 1941 г. под охраной 18 вооружённых автоматами румынских полицейских по улице К. Маркса провели 100 человек арестованных мужчин... На углу ул. К. Маркса и ул. Кирова их остановили... Из колонны... взяли 2-х человек, сначала их повесили на висельницу, но петли не затянули до конца и через несколько минут их сняли с висельницы, дали отдышаться, подвели к стенке дома № 65 по ул. К. Маркса и из автоматов расстреляли... Остальную группу арестованных погнали дальше...*

*Трупы лежали до утра 24 октября, их не разрешала убирать охраняющая румынская стража...”*

**Из Листов:**

*“Фишман Лея, 87 лет, домохозяйка, массовый расстрел, 28 октября 1941 г.”*

*“Грабовецкая Ира, 14 лет, учащаяся, расстреляна в доме в 1941 г.”*

*“Бирман Борис, 12 лет, расстрелян, 1941 г.”*

Десятки тысяч евреев гнали - кого через тюрьму, кого напрямиком - за город. Мимо уличных столбов и балконов, где качались повешенные, по мостовым, залитым кровью тех, кто не поспел за общим движением, - их, калек, стариков, детей, пристреливали солдаты и полицейские конвоя. Они от щедрот своих иногда не упускали порадовать вышедших на тротуары зрителей: им предлагали снимать с проходя-

щих приглянувшиеся вещи. Зрители кто плакал, а кто и попользовался, чего добру пропадать?..

Пять тысяч евреев дошло до пригородного Дальника. Там их разделили. Первых 40-50 человек связали между собой, швырнули в ров и пристрелили. Увидели, что так убивать хлопотно и долго. А под рукой кстати оказались четыре барака, каждый в 250-400 квадратных метров. Их набили людьми, в первом стали косить людей из пулемётов сквозь дыры в стенах, потом смекнули ещё толковее: залили в остальные бараки бензин и подожгли. А первый барак с расстрелянными взорвали 25 октября в 5 часов 35 минут, точно через трое суток после взрыва штаба румын на Маразлиевской, как велел Антонеску, - для впечатляющего эффекта.

**Из Листов:**

*“Бат Иосиф, 51 год, извозчик, расстрелян в Дальнике в 1941 г.”*

На Люстдорфской дороге в 6 километрах от города нашлись пустые артиллерийские склады. В них тоже, залив бензин шлангами через окна, сожгли несколько тысяч евреев. Двести русских заложников пригнали выискивать на обугленных останках драгоценности для румынских властей.

**Л. М. Паладиенко** (послевоенные показания): *“Я и другие стояли в метрах 60-70 от горящих складов... и видели, как люди, охваченные огнём... бросались с окон и дверей складов, кричали, просили спасения. Всем... которые выбрасывались через окна двери живыми тут же начали отрубывать ноги, руки или пристреливали...”*

*...К нам на квартиру, поскольку мы живём по соседству... из команды, которая занималась этой зверской расправой, заходили пить воду как рядовые румынские солдаты, так и офицеры, которые говорили по-русски... и когда я задала вопрос зачем уничтожать людей, ведь вы... верите в Бога, то мне которые приходили пить воду говорили, что этого мало, мы в этих 9-ти складах сожгли 22 тысячи, а мы должны уничтожить всех советских людей, такое указание дал Антонеску.*

*[Были выкопаны] большеущие ямы длиной до 100 метров и шириною метров 5-6 и глубиною метра 3... Румынские солдаты крючками и другими инструментами стали стягивать обгоревшие трупы... в эти ямы, которых было всего 6, сверху прикрыли землёй, но очень мало,*

*потому что собаки разрывали землю и растаскивали трупы сожжѐнных и замученных”.*

**Из Листов:**

*“Смоляр Тоня, 16 лет, ученик, сожжѐн заживо в пороховых складах 25 октября 41 г.”*

После войны в ямах, куда сбросили сожжѐнных, насчитали 28 тысяч трупов. В массовом сожжении участвовали немцы из специальных истребительных частей. Этот опыт пригодился им в других местах “окончательного решения еврейского вопроса”. Евреи Одессы и здесь в пионерах.

**Я. Колтун** (1933 г. рождения; из интервью): “Мы несколько дней просидели в тюремных камерах... потом велели выйти и толпа пошла по Херсонскому спуску к мосту. Я понял, что убивать будут. Спрашиваю маму: “Куда нас ведут?” А мама говорит: “В другое место. Мы ничего плохого не сделали - нам тоже ничего плохого не сделают”.

Через полчаса догоняет на велосипеде какой-то румын, наверно, сержант. По-румынски говорит что-то конвойным, и они командуют: “Поворачивай обратно!” Представляете, тут все обнимаются, плачут, думали: будут убивать, а это вроде жизнь. Старуха какая-то достаёт грязную тряпочку, развязывает, вытаскивает оттуда кусочек сахара, единственный её капитал - отдаёт его конвоиру, чем ещё она может отблагодарить?”

В тюрьме арестованные голодали, их грабили, били, пытали, женщин насиловали. Мужчин гнали на работы, зачастую безвозвратно.

**Д. Стародинский** (здесь и далее из книги “Одесское гетто”; о тюрьме): *“Нас направили на аэродром... Перед уходом из Одессы нашими войсками были завезены в ангары горы цемента, которые затем залили водой. Нас заставляли ломами и кирками рубить затвердевший цемент и выносить его.*

*В другой раз... отобрали человек пятьдесят и заставили плотно плечом к плечу в один ряд медленно идти по полю аэродрома, прощупывая ногами каждый клочок в поисках мин. На расстоянии примерно ста метров за нами шли немцы с автоматами..”.*

**Из Листов:**

*“Кутровский Владимир, 1902 г.р., слесарь, одесская тюрьма, погиб при обезвреживании минных полей при взрыве, 25 октября 1941 г.”*

*“Кутровский Миша [сын Владимира], 13 лет, найден при облаве и расстрелян”.*

*“Смоляр Мальвина, 1922, студентка, расстреляна в тюрьме”.*

*“Крылов Лазарь, 1925 г.р., ученик муз. школы им. Столярского, тюрьма”.*

*“Заз Марк, рожд. 1908 г., служащий, погиб в 20-х числах октября 1941 года, вышедший в общей коллоне после ночи проведенной в Одесской тюрьме якобы на работу в городе, и больше не вернулся... по разговорам совпадает, что все в этой коллоне были загнаны в бывшие артиллерийские склады, заперты и подожжены... Я тоже стоял в этой коллоне но! румынский солдат меня выгнал из коллоны при помощи палки, видимо как ребёнка или просто зная, что сделают с этими людьми (все были евреями) пожалел меня. Мне было 12 лет”.*

**Л. Дусман** (тюрьма): *“Часов в 11-12 ночи [колонной] подходим к тюрьме на Лютдорфской дороге...”*

*Помещение, куда нас загнали, было забито людьми плачущими, стонущими, кричащими... Туалеты не работали и были забиты фекалиями. Люди опраивались зачастую там же, где стояли, сидели или лежали. Лежали, в основном, больные и умирающие... Всё происходило в почти полной темноте... Во всей этой человеческой мешанине сновали солдаты и какие-то штатские личности и выискивали молодых женщин и девушек и уводили...*

*Наше пребывание в тюрьме продолжалось без пищи и воды около месяца. Если у кого было что-то из еды - делились. Воду брали из луж и тюремных колодцев... Воды в них не было, жидкая грязь. Когда грязь отставалась, сверху собиралась вода.*

*...среди евреев нашлись маклеры, которые завязали контакты с тюремным начальством и способствовали за вознаграждение выходу на волю... Нас выпустили”.*

**М. Фельдштейн** (письмо мне, 1990-е годы): *“Мы до войны жили в Аккермане Одесской области. Семья из 5 человек: родителей мужа,*

меня с мужем, врачом-дерматовенерологом и 11-летней дочери. Мы эвакуировались в начале июля 1941 г. в Одессу...

На второй день после взятия Одессы румынские солдаты обходили все дома города, забирали всех евреев и к вечеру привели нас в тюрьму за еврейским кладбищем. В тюрьме собралось больше десяти тысяч человек... Тесно: в камере нельзя было вытянуть ноги. Нам не давали ни есть, ни пить... Мы подкупали стражу и солдаты нам покупали хлеб. С нами делились ещё те евреи, у которых были русские жёны: они приносили своим мужьям передачи.

...после взрыва здания НКВД солдаты из тюрьмы угнали несколько тысяч человек и всех убили...

Потом сказали, что всем бессарабцам, значит, и нам, аккерманцам, надо выйти во двор, нас будут возвращать домой. Вышло человек двадцать. Один румынский солдат подошёл к моему мужу и сказал, чтобы мы шли обратно в камеру, так как оставшихся во дворе поведут на расстрел. Мы уже совсем ничего не понимали. Мы не могли больше выдержать ожидание расстрела. Мы решили сами умереть. У мужа был шприц со всем необходимым. Я начала снимать с дочери пальто, сказав ей, что папа сделает ей укол, чтобы она не волновалась, т.к. она плакала. Она что-то почувствовала и начала кричать: "Я не хочу умереть!" Эта задержка нас спасла, т.к. зашёл солдат и сообщил нам, что мы должны благодарить маршала Антонеску, который отменил приказ о расстреле... Что мы пережили за эти несколько минут - моё самое страшное воспоминание...

7 ноября выпустили детей, женщин и мужчин старше 50-ти лет. Мужу удалось бежать через 2 недели, подкупив стражу.

Нас приютила Гольдфарб, с которой мы сидели вместе в тюрьме. Мы жили у неё до января 1942 г. Жили впроголодь, денег не было... Мы боялись выйти на улицу, т.к. немцы бесчинствовали. Зима была очень холодной, топить нечем, вместо стёкол в окнах была фанера... Жили в страхе... ждали самого худшего".

**Из Листов:**

*“Долгонос Гитл, 44 г., из-за тяжёлой болезни не могла эвакуироваться, её муж Долгонос Берл, 49 лет, ухаживал за ней; соседи видели, как их немцы вывели из дома, больше никто никогда их не видел2.*

*“Вайс Мотл, 1898 г.р., рабочий, расстрелян полицией”.*

*“Нудель Ида, 1890, домохозяйка, повесили румынские солдаты”.*

*“Дейч Белла, 1900 г.р. и Дейч Анна, 1920 г.р., заживо брошены в могилу, 1941 г.”*

*“Трушкин Абрам, 1883 г.р., бухгалтер, расстрелян, 1941”.*

*“Карачинский Соломон, 1926 г.р., ученик. Соседи убили во дворе, 1941”.*

*“Шайман-Крейцер Надежда, 36 лет, артистка театра оперы и балета, расстреляна вместе с детьми во дворе дома, где проживали, октябрь 1941 г.”*

*“Шойхетман Давид, 68 лет, по рассказам соседней был привязан к подводе и его волокли по улицам”.*

*“Футерман Борис, 1922 г.р., электрик, был на фронте, из окружения вернулся в Одессу. Узнанный и выданный сотрудницей - артисткой оперного театра повешен на улице”.*

*“Борух Лёва, 11 лет, в 1941 г. с матерью был схвачен и помещён для уничтожения в склады на окраине города. Под предлогом, что Лёва русский мальчик (он блондин и не обрезан) матери удалось вытолкнуть его из склада... Лёва вернулся домой, его [соседи] накормили, тепло одели, снабдили нателным крестиком и выдворили на все 4 стороны под страхом приказа о сокрытии лиц еврейской национальности. Дальнейшая судьба мальчика неизвестна”.*

*“Белиловская Циля, 1868 г. р., сожжена в Сабанеевских казармах г. Одессы”.*

Адрес Циля: Островидова 100, кв. 12, совсем близко от Гродского. Может быть, слышал он о судьбе 73-летней соседки. Может быть, слышал и о 19-летнем Борисе Футермане и о Лёве Борухе одиннадцати годков. Прикидывалось: можно по-разному вести себя с евреями, но “резонный человек” себя не подставляет. О том и Константину Михайловичу и Надежде Абрамовне нельзя было не задуматься, особенно когда 8 ноября развернули “Одесскую газету” и прочли румынский приказ:

*“1. Все мужчины еврейского происхождения в возрасте от 18 до 50 лет обязаны в течение 48 часов с момента опубликования настоящего приказа явиться в городскую тюрьму (Большефонтанская дорога)...*

*Неподчинившиеся этому приказу и обнаруженные после истечения указанного 48-часового срока - будут расстреляны на месте.*

*2. Все жители... обязаны сообщить в соответствующие полицейские части о каждом еврее вышеуказанной категории, который не выполнил этого приказа.*

*Укрывающие, а также лица, которые знают об этом и не сообщают, - караются смертной казнью.*

*Дан 7 ноября 1941 г.*

*Командующий оккупационными войсками г.Одессы  
подполковник Никулеску”*

Последний пункт приказа выразительно совмещался в том же номере газеты с воззванием к горожанам профессора **Алексяну**: *“Мир и жизнь формируют свою мощь из силы интеллекта, устремлений ума и души, путём обращения к богу и создания идеалов борьбы за честь и уважение к человеческой жизни, которая должна быть основана на достоинстве и таланте, разуме и культуре. Мы находимся на этом пути и призваны повести за собою всех тех, кто вместе с нами готов служить этим высоким идеалам”.*

Алексяну, интеллектуал и любитель Вергилия, был губернатором Транснистрии - отхваченной румынами территории между Бугом и Днестром. Одессу объявили её столицей.

Евреи столицу грязнили - сразу в ноябре началось их изгнание за сотни километров от города.

## 16. БОГДАНОВКА

**Д**оманёвский район, Богдановка - живописное селение на реке Буг. Для десятков тысяч евреев Одессы и окрестности - Рим, куда вели все дороги их двадцатидневного, в смертных муках, пешего марша. Рим - и тупик. Здесь в шалашах и свинарниках - десять человек на месте одной свиньи - а то и на голой земле, в лютый, до 30 градусов, мороз, без еды и воды, среди испражнений и трупов, под палками

и выстрелами солдат и полицаев ежедневно умирали сотни человек. А в конце декабря началась поголовная казнь.

**К. Шеремет** (украинец из Богдановки, свидетель): *“Прибыл карательный отряд из Голты, во главе с немцем Гегелем... Отряд состоял... из немцев-колонистов... Всего их было 60 человек.*

*... Из барачков выводили людей по группам в 40-50 человек, раздевали их, затем вели к оврагу [спускающемуся к Бугу], становили на колени и расстреливали с винтовок. На дне оврага был разведен большой костёр, куда падали трупы и сгорали. При расстрелах палачи даже соревновались, кто больше расстреляет”.*

**П. Куперштейн** (узник Богдановки, показания для послевоенной комиссии): *“23 декабря я попал вместе со своей семьёй в группу, идущую на расстрел. Всех нас поставили у оврага на колени, в это время подошёл ко мне полицай и спросил мою специальность и узнав, что я парикмахер, вытолкнул меня из числа стоявших на коленках евреев, сказав, что я буду работать. Мать, жена, 5-летний ребёнок остались стоять на коленках, были расстреляны. Меня же заставили бросать их трупы в овраг, где пылал костёр. На дне оврага было столько крови, что работавшие на сжигании трупов ходили в ней по колени. Трупы убитых сжигали штабелями, в середину ставили солому и дрова и таким образом производили сжигание”.*

Из Акта послевоенной комиссии:

*“Цельми днями были слышны на деревне выстрелы и пламя горевшего костра было видно днём и ночью; ветер доносил на деревню запах человеческого мяса” (из опроса колхозника Стоного Павла Ивановича).*

*Присутствовавшие... немецкие офицеры войсковых частей... производили с края обрыва снимки уничтожения... давали указания по размещению трупов на костре”.*

Стреляли до 15 января, только на три дня 24, 25 и 26 декабря каратели прервались, съездили в город Голту - Рождество справить, отдохнуть. Охрана лагеря тоже поразвлеклась в праздники.



М. Фельдман (узница Богдановки, показания для послевоенной комиссии): *“Наша женская рабочая бригада в количестве 50 человек была размещена в отдельном помещении... 24 декабря вечером в наше помещение зашёл охранник, зажжёт свет, схватил меня и приказал одеваться и следовать с ним. Я начала просить его отпустить меня, но он начал стрелять с винтовки в потолок и я вынуждена была идти с ним. Он меня завёл в землянку одной гр-ки, которая жила над Бугом, и приказал ложиться с ним спать. К счастью он был очень пьян и быстро заснул не трогая меня а на рассвете я ушла в лагерь.*

*Затем 26 декабря к нам в помещение зашли два охранника и взяли нас 4-х девушек в отдельную комнату... где изнасиловали. Большие меня лично не брали, а Раю, которая была очень красивой девушкой, часто брали и куда-то уводили в следствие чего она заболела и умерла. Труп её был брошен в колодец”.*

Но в общем, время на рождественские каникулы, надо заметить, организаторы не теряли: в те три дня заключённые соорудили в овраге плотину - задерживать сток крови убитых в Буг, длина плотины 12 метров, высота метр восемьдесят (размеры из того же акта).

Не одни немцы-колонисты трудились в Богдановке, и своим полициям дело нашлось. *“Полицейские под руководством Андрусенко подожгли 4 свинарника, откуда люди не хотели выходить на расстрел. Выскочивших из огня - стреляли. Большинство сгорело”* (из справки военного прокурора 37-й армии, освобождавшей Богдановку; Центральный архив Министерства обороны СССР).

**И. Сельцер** (свидетельское показание в Яд ва-Шем): *“В Богдановке... участвовали в расстрелах бывшие советские люди, перешедшие на службу к немцам. Помню... начальника милиции Кравец, братьев Слизенко (их потом, при возвращении советской власти расстреляли), Лазаренко Николай (тоже потом расстрелян). Эти пьяные украинцы ходили по баракам, выбивали стёкла, гнали людей на улицу и к яме на расстрел. Меня вместе с другими погнали к яме. Люди стояли над ямой, к каждому подходил немец, стрелял из нагана в ухо и человек падал. Украинцы тоже расстреливали. Одному украинцу понравилось пальто женщины, приведенной на расстрел... Он снял пальто и велел мне отнести его к куче соломы. Я пошёл и к яме не вернулся.*

*С первого дня из евреев было отобрано 100 мужчин и 124 женщины для уборки после расстрелов. Для различия у них на лбу и на рукаве были повязки белые с знаком моген-дoviда. Когда я ушёл от ямы, я спрятался среди этих уборщиков. Я сделал себе такие повязки и так пока остался жив. Но таких, как я, оказалось 40 человек. Они были без номеров и без регистрации. Об этом скоро узнали, так как были проверки... Нас повели на расстрел. Я увидел подводу с быками. На подводе лежала солома для сжигания трупов. Я выскочил из толпы и взобрался на подводу... Я влез с большим трудом - отказали ноги, они были толстые и опухшие, видимо, от страха, действовавшего на сердце.*

*Я спрятался в соломе. Мне удалось добраться до барака, откуда я увидел, как расстреливали этих людей. Расстреляли 18 человек, остальных оставили в живых”.*

После войны насчитали погибших в Богдановке 54 тысячи. Выжили рабочие бригады: 50 женщин и 127 мужчин-”мортусов”, так называли тех, кто сбрасывал в костёр застрывшие на верху оврага трупы.

...Израильский кибуц Лохамей ха-Гетаот (“Борцы гетто”), при нём музей и образовательный центр. Там слушателям семинаров, от школьников до стариков, напоминают о Катастрофе евреев. Под сенью кибуцных пальм, в прохладе изящного учебного корпуса.

В 1995 году на семинаре оказалось несколько переживших Богдановку - измочаленные дальним прошлым ветераны Шоа посреди роскошного северо-израильского ландшафта, пересечённого акведуком, намекающим на античную гармонию природы и человека.

Оконное стекло отфильтровало пейзаж от зноя, из покойных кресел в вестибюле здания он смотрится безупречным: мирное светлое небо, чистая зелень травы, кряжистые сосны, кипарисы в струнку, кактусы - и те не столько колючи, сколько безобидно мохнаты. На этом фоне под чай с печеньем ложатся в мой магнитофон два слабых обесцвеченных голоса из той Богдановки: **Меир и Бася Файнгольды**, “мортус” с женой.

**Меир:** “Мне было двадцать четыре года. Нас погнали две тысячи человек из Резины, Рыбницы, не по дороге, по стерне, двадцать километров в день. Очень холодно, спали на улице, иногда в конюшне, друг на друге.

У меня были невеста, мать, два брата, дяди, их дети - семья больше тридцати человек. И все мои попали на подводы, и больше я их не видел. Я остался с невестой и её матерью, невесте было восемнадцать лет.

Мы шли до Богдановки. По дороге украинцы давали румынским конвоирам деньги или самогон и за это получали право грабить конвоируемых евреев. Украинец берёт нож, отрывает пуговицы. У меня было хорошее пальто, я его испортил, чтобы была подкладка белая видна... Ботинки были высокого качества, коричневые, с пряжкой, я их порезал ножом. Когда украинец подошёл ко мне, он посмотрел и не взял.

... Мы ночевали то в конюшне, то на улице. Один раз в большом складе, без окон, ветер сильный, резкий. Не давали нам всю ночь спать. Украинец ходит всю ночь, ищет, что на тебе есть, отбирает вещи, серебро.

Одну ночь шли под снегом. Это уже начало ноября. Ночевали прямо в поле, в снегу...

Пришли в Богдановку перед вечером. Приходим в бараки. Там такие свежие аккуратные люди, с Килии, красиво одетые. Видно, недавно приехали.

Я захожу в барак. “Кто ты?” Я плакал от мороза, от боли в ногах. “Золото, монеты есть?” - “Нет”. Тогда не принимают в барак. За золото, за деньги можно было получить место”.

**Бася:** “Забито было всё, даже свинарники, даже проходы. За место надо было платить. Когда стало полно народу, и человек пришёл ночью, и сильный мороз на улице, и человек просился хотя бы постоять у двери, тогда староста барака, еврей, требовал деньги...”

**Меир:** “Не было мне места, не было ничего. Я пошёл в свинарник, там ни крыши, ничего. Туда до нас зашла женщина с дочкой из Бельц. Я взял два камня. Взял шестом солому с крыши, сделал огонь. И так мы были до утра.

А утром я опять зашёл в барак. Сел. Просто плакал: не было совсем место. А тот староста кричит: “Выйди”. Я встал. Весь во вшах. Я до того был чистый, а они здесь все были со вшами”.

**Бася:** “Там был Логин, украинец, старик, очень порядочный человек. Он мог помочь, тоже, конечно, не за хорошие слова. Если вы, например, дали ему костюм, он мог найти место”.

**Меир:** “Я поговорил с Логиным. Мы ему дали какие-то вещи невесты. Он сказал, что в лесу есть землянки для рабочих, и он нас послал туда.

Мы нашли одну совсем разрушенную, и на третий день нашли получше. Я отдал ему ещё костюм, и он сказал, что это место будет наше. Это было потом наше место до расстрела.

Возле нашего леса было маленькое село. В четыре часа утра люди ходили менять вещи в это село. Шум, грязь. Я каждый день ходил искать в селе своих, приходили этапы, я искал почти месяц... И ходил на базар менять вещи на продукты у украинцев. Галоши, брюки - всё меняли.

Я нашёл брата, взял его в лес, он там покушал.

А в субботу, двадцатого декабря, тихо, мороз, снег. И в тишине слышу: стреляют. А я приготовился идти в село.

Когда я зашёл в село, там было человек шестьдесят евреев”.

**Бася:** “Они пришли из других сёл менять вещи, а обратно они боялись идти, там стреляют”.

**Меир:** “Они просили меня взять одного мальчика, лет двенадцать, я его взял с собою в лес. Я ходил не через центр, где жандармерия румынская, управление, а вокруг.

Пришёл к себе в землянку. Приходит полицей Иосиф, украинец, плохой человек. “Завтра, - говорит, - пойдёте на работу”. А брат мой в свинарнике, я хотел к нему пойти”.

**Бася:** “В субботу вечером он вернулся из села и в ту ночь пришла старушка, ей больше шестьдесят лет, здоровая, крепкая, в неё стреляли и не попали, она сделала вид, что она мёртвая, а потом вылезла из ямы. И она сказала: “Евреи, спасайтесь! Нас убивают”.

**Меир:** “Все плачут, женщины, дети... Обрато заходит этот полицей: “У кого есть часы?” Ни у кого нет... Меня, чтобы не забрали с мужчинами, невеста и её мать положили на доски, накрыли тряпками и сели сверху...”

Двадцать первого декабря начался полный расстрел. Вокруг шесть или восемь полицей на улице.

Бежать дорога только на Одессу. Идти надо скрытно, только ночью. Я поднялся, ещё один человек, мать невесты тоже готова, но невеста отморозила ноги, она лежала. И я остался.

И вот ходят по всем баракам, отбирают все вещи, что есть хорошее, костюм раздевают, всё. Идешь толпой, кольцом конвой. Мороз сильный, плачут женщины, дети... По пять человек ставят на колена перед ямой. Это страх стать на колени... Я сказал невесте и её маме: “Давайте дотянем до вечера как-то”.

**Бася:** “А там была очередь из тысяч людей. Очередь к ямам. Меир им сказал (он сейчас вам не всё сказал): “Давайте будем так крутиться, чтобы не попасть в переднюю пятёрку. Каждую минуту даёт Бог”.

**Меир:** “Мы стали в этом шуме каждый раз выходить из очереди, тёртаться. До двух часов дня. Пришёл в два часа дня начальник с большим кнутом: “Выходи на работу”. Взял меня и ещё двух человек - до ям”.

**Бася:** “Трупы расстрелянные, которые оставались и не падали - так надо было сбросить”.

**Меир:** “Народ идёт по пять человек. И много полицей, сразу тридцать человек. Идёт конвейер, всё время плачут”.

**Бася:** “Когда есть семья семь-восемь-десять человек, они просят идти вместе, а их разрывают по пять. Плачут. Разрешают только по пять человек”.

**Меир:** “Стреляют украинцы. А жандармы - они как охрана”.

**Бася:** “Люди, бедные, которые стали на колена, они кричали: “Кто останется жить, расскажите, что было с нами”.

**Меир:** “И так было до вечера. Нас было человек двести рабочих. И я работал, бросал трупы. Рядом с худым толстого, чтобы хорошо горело. Или без порядка... Нервы уже рвутся. Кровь идёт, дым... Холодно... Кушать не думаешь. Ни пить, ни кушать - ничего не хочется. Рядом мешок с хлебом - я оставил, он был со мной...”

Перед вечером увидел: плачет невеста, мать, полицей их гоняет до ямы... Последние идут. Уже было темно. И они приближаются, где я стою. Это колонна, невеста с одной стороны и мать с другой стороны. Полицей гоняет... они хотят обратно... мать плачет... смотрит на дочь... Полицей взял пистолет и стрелял сначала в невесту, потом мать. И кричит: “Рабочие, идите, бросьте трупы”. Я подошёл...”

(Меир плачет. “Может, остановимся?” - спрашиваю. Он машет рукой: “Минуточку...” Заминка - и заново).

**Меир:** “Я подошёл, взял за руки, другой за ноги... Бросили на низ. Потом начальник говорит: “Идите в дом, будете ночевать”.

**Бася:** “Он вам не рассказал: не всех они успели пристрелить в этот день. Оставшихся вернули в бараки, а на следующий день опять начали”.

**Меир:** “В этом здании я нашёл много хороших вещей от тех людей, кого стреляли... Там был один зубной врач, он взял и взрезал вены, чем идти утром на работу...”

**Бася:** “Были люди, которые не могли выдержать”.

**Меир:** “А я остался один. Что делать?.. Я вышел на улицу. Темно... Мороз... Куда идти?.. Утром рано они едут. Пьяные от самогона. Гонят на улицу что-то делать. И опять стреляют”.

**Бася:** “Так стреляли они до двадцать пятого. Четыре дня. До Рождества, Меир”.

**Меир:** “На Рождество делали перерыв”.

**Бася:** “А потом опять продолжали”.

**Меир:** “После девятого января приезжает один жандарм на белой лошади, говорит приказ Антонеску: “Больше не стрелять”. Было хорошее настроение. За хорошее слово люди дали ему мешок румынских денег. Но потом каждый день привозили по два-три человека, по десять человек. И после расстрела мы должны были убирать трупы, вещи в бараках - там умирали по пятьдесят-сто человек в день.

... После больших расстрелов румыны привозили хлеб и меняли на золото, на вещи. Я видел очередь, сотни людей.

Ещё у нас был староста, Лёня, еврей из Одессы - хуже полицаев. Он ходил с палкой будто бы хозяин. Средних лет. Он был с сыном.

Как-то в пятницу нас вызывают на площадь, там почти триста человек, только мужчины. Он выходит с палкой и говорит: “Слишком много рабочих, надо выгнать на расстрел”. И вот он в пятницу отбирает с нас сто человек, остальные все - на расстрел”.

**Бася:** “Было как-то, что пришёл полицей и Лёня ему сказал про одного с наших, что у него есть монеты. У него, правда, были американские монеты, и этот еврей Лёня его выдал, и его расстреляли”.

**Меир:** “Потом я работал в пекарне. Носил тридцать вёдер воды в день, два на коромысле и одно в руке. Из колодца. В гору... По утрам, бывало, едет пьяный полицей, когда издали видит меня с водой, он забавляется, играет - стреляет, а я бегу змейкой, чтоб не попал...”

С водой было плохо. Евреи ходили с бутылкой за водой. А мальчики украинские камни бросали: попадёт - нет бутылки, воды нет...”

Кошке - игрушки, мышке - слёзки.

## 17. ИНТЕРМЕЦЦО

**У** ж сколько раз меня корили, что мои книги тяжелы. И правда: даже сейчас, когда пишу о жизнелюбивой Одессе. А надо, надо бы: разбавить текст, разрядить сюжет, замалевать, затуманить вид Меира Файнгольда, бросающего в костёр окровавленное тело невесты.

Анекдот неуместен, так хоть бы пейзаж, что ли, утешительный... Лёгким бы пером веер глянцевых картинок:

море - пенный расплеск прибоя по упругой кромке пляжа, волна за волной сжеживаются сквозь песок, оставляя на нём, тускнеющем, орденские блестящие медузы...

небо - безмерный свет, весёлый пыл, или залихватский дождь, или ватный липкий безобидный снег...

город - скверы и улицы, прямые, равномерно простроченные перекрёстками; улыбочивые говорливые жители; тротуары с могучими акациями в два ряда, между которыми дорожка из серо-голубоватых квадратных плит, до скользкости оглаженных миллионами шагов; летними вечерами под деревьями надсаживаются синим гудом примусы на табуретках, вынесенных из квартир, в чёрном аду сковород шипят куски камбалы, возле примусов на таких же табуретках высятся хозяйки, монументальные колени разведя, мощные груди облив клеёнчатыми фартуками - они творят ужин под распевный свой переклик, он колышет улицу, тесную от запаха керосина и рыбы...

Это Одесса, стряхнувшая оккупацию, преодолевшая послевоенные недостатки.

Ожил город. Прибывало товаров на Привозе и в магазинах, отменялись продуктовые карточки, укорачивались очереди, на толкучке меняли-продавали кто что от мебели до патефонных самоделок - рентгеновских плёнок, где поверх скелетных подробностей процарапаны были круги звуковых дорожек с запретными эмигрантскими романсами. Взалкал народ и зрелищ, потянулся в кинозалы и театры, а бойчей того на велотрек и футбольные трибуны - вот где фонтанировали страсти. Шимек (он после эвакуации жадно дышал Одессой) однажды на стадионе оказался вблизи бешеного зрителя, вокруг него места пустовали, потому что он в ярости и восторге от игры метался по скамейке, швырял истрёпанный портфель, колотил себя по ляжкам, хватался за голову, выдирая вокруг лысины остатки волос; и слюна ураганом окрест. С годами он стал знаменитым: "О! Гроссман!" Главнейший в городе "фанат", он первым придумал диковину: сопровождать команду на выездные матчи; имя его уважительно выкрикивали в толпе болельщиков, вечно галдевших на Соборной площади. Шимек и годы спустя после детского своего восхищения почувствовал себя польщённым, когда ему случилось пожать пухлую руку Гроссмана; их познакомил Абин старый друг Пиня - в одесском футболе свой человек.

Пиня - мальчик с Молдаванки, родины бабелевских весёлых налетчиков, родины Багрицкого с его *“Горбаты, узловаты и дики, В меня кидают ржавые евреи Обросшие щетиной кулаки. Дверь! Настежь дверь!.. Я покидаю старую кровать: - Уйти? Уйду! Тем лучше! Наплевать!”*

И грянула РЕВОЛЮЦИЯ. И Пиня подался туда, где бугрился мускул: немножко в бандиты, немножко в большевики, немножко к лихим евреям из самообороны от погромщиков - сочетание называлось приманчиво-грозно: ЧК!

Скажем, академик: всемирное имя, квартира в зеркалах, повар пончики печёт - жуй-не хочу, горничная-раскладушка, ножки-пышки. Явиться к такому пижону с орденом - у мадам ихних лицо в дрожь, самому тоже не именины. “Здравствуйте вам, папаша! Золотишко у буржуев берём для трудящей власти. Будем шмонать? Или сам положишь?...” Положит. Покажет в библиотеке, из каких книг выгребать доллары (“долáры” - говорил Пиня), потом на пригородной даче ткнёт, с-под какого дерева выковырять банку с монетами. Трое сбоку - ваших нет. Можно ещё, уходя, мигнуть старому фраеру: “Не дрейфь, отец, мы с тобой ещё послужим народу”.

Победная жизнь. “Кто был ничем, тот станет всем”. Небо сияет, море сверкает, Мурка в кожаной тужурке... “А я Алёша - косая сажень, косая сажень и вверх, и вниз...” - пелось залихватское на улице и в душе Пини. Пело сердце.

Тело пело. Развёрнутые плечи, пружинистые ноги.... Пиня ходил в цирк, силачи ночами снились; в облаках витала слава пилота Уточкина, озорной еврей Пиня летал, прыгал с парашютом, гонял в футбол так, что пробился в сборную страны - кто бы тогда знал, как спорт пригодится в тридцатые годы, когда Пиня сообразит смыться из самопожирających чекистских рядов на негеройскую невидную работу, для ума и азарта найдя выход в подпольном гешефте.

Боевых друзей выкашивало - Пиня отсиживался поодаль. Начальствовал, но слегка: в учреждении, артели, доме отдыха, небольшой фабричке, парке - для солидности, а главное, ради связей с властями и нужными людьми. Лучшие из прикрытий оказались причастны к спорту: директор спортивного магазина, стадиона, начальник городской футбольной команды. На виду, но не на свету.



Толстя, лысея, потеряв голос после гриппа, превращаясь постепенно из Пини в Пиню Исаковича (а официально в Пинхаса Исаковича), он наполнял свой магазин дефицитным товаром, расширял стадион, добывал в команду иногородних виртуозов футбола - радовал своё руководство, и созидал тайное изготовление трусов и станков, продавал и покупал, комбинировал - “делал немножко деньги”. Нажитые капиталы рассовывал по родственникам и верным приятелям, сам же - серенький Корейко из ильфо-петровского романа, ни машины, ни дачи, ни даже квартиры отдельной, лишь отторговал у соседей кусок коридора и место для второго туалета да пробил на чёрную лестницу собственный ход - полусамостоятельной стала его комнатка-каморка, где только и помещалось: шкаф, стол с тремя стульями и вечно незастеленная, головой к окну, кровать; там на несвежей простыне лежал, принимая гостей, хозяин в трусах и носках, могуче-толстый, блеск лысой головы и голого живота, мощные футбольные ноги, в жирных губах папирозина “Северная Пальмира”, грудь в пепле. Рядом с кроватью - тумбочка с записной книжкой, папирозной коробкой, пластмассовой дешёвой пепельницей и единственной роскошью - телефоном. Пуповина телефона связывала Пиню Исаковича с внешними мирами: потаённым деловым и открытым безгрешным. Подслушиваний Пиня Исакович почти не боялся: молдаванец научился оглядке, кроме того, все и всё были куплены. На взятках Пини Исаковича жирели власти вплоть до Москвы. Когда исчезли, к примеру, вагоны с мануфактурой, следовавшие из Ленинграда на Кавказ, один Пиня Исакович точно знал, сколько получил на лапу заместитель железнодорожного министра в Москве.

Потом железнодорожного зама расстреливали, а Пиню Исаковича даже в материалах следствия не упомянули. Все нужные люди были им прикормлены. Повелось: какие бы волны арестов ни вздымали сменявшиеся власти, Пиня Исакович выходил сухим из воды. Все тонили, он не сел ни разу.

Но с годами ловчить становилось всё дороже, да и сам он старел; жаловался: “Такие настанут времена, что придётся не дай Бог жить на зарплату. А что? Зачем бы мне дела крутить, если бы у меня честный заработок в месяц был ну хотя бы...” - тут он называл сумму в шестнадцать раз больше средней зарплаты инженера, каким был его слушатель Шимек. “Ведь худо-бедно, а нужно покушать, одеться, - пояснял

Пиня Исакович, - в гости тоже с пустыми руками не пойдёшь, на подарок, значит, надо. Ну, и туда-сюда...”

Шимек сидел на стуле возле кровати с Пиней Исаковичем на ней. Солнце из окна жарко глянцеваило жирные округлости Пини Исаковича. Пиня Исакович пыхтел папиросой; сердце его теснила печаль.

Когда-то Пиня Исакович вместе с Абой революционный держали шаг, перестреливались с бандами петлюровцев, воевали с саботажниками-старорежимными специалистами, вытряхивали золотишко из буржуев, высылали, скрепя сочувствующее сердце, пламенного вождя Льва Троцкого.

В ту метельную февральскую ночь двадцать девятого года, в безлюдном порту окончилась в жизни Пини Исаковича Великая русская революция. Вздрагивая на холоде в оцеплении рядом с Абой, он не столько сообразил, сколько почувствовал: пора срываться. И стал потихоньку спускаться с головокружительных чекистских вышей на серую земную твердь.

После войны и возвращения Абы из-за лагерной заколючки Пиня пригласил старого друга в артели, которой он тогда командовал. В трудные периоды своей тайно-героической биографии Пиня скрывал у безденежного Абы от хищного государства кой-чего из своих капиталов. Дружили они преданно, смерть Абы Пиню Исаковича ударила больно, и теперь его сентименты проливались на Абиного сына, неожиданно забредшего к отцовскому другу.

- Ты чем занимаешься? - расспрашивал он Шимека.

- На заводе работаю. Инженер.

- Доволен?

- Вполне. Интересное дело. Современная технология, высокий уровень. Литейный цех.

- Жарко?

- Тепло.

- Как платят?

- Очень прилично. Сто тридцать в месяц плюс премии. Грех жаловаться.

- А мама на пенсии? Сколько у неё?

- Шестьдесят рублей. Нам с ней хватает.

- Э... э... - безголосо просипел Пиня Исакович. - Значит, премия ежемесячно? Это, конечно, в масть, это хорошо. Но не пора ли и для себя пожить?

Он лежал на спине, солнечный шар черепа, шарики ноздрей меж шарами скул, грандиозный шар живота - горы тела, глядел в потолок, папироса торчала паровозной трубой, дым, выходя, колыхал пухлые щёки, пучил мясистые валы губ.

- Найду тебе приличную работу. Литейное дело, говоришь? И нравится? Чтоб ты был здоров, пусть литейное. Пресс-форму можешь нарисовать? Например, для таких брошек? - Пиня Исакович ткнул пальцем на стол, там белел пластмассовый паук - модницы носили такие на пальто. - Тысяч шесть-восемь за прессформу, устроит?

Шимека немного огорошило. Дела с прессформой от силы на две недели. Выходит заработок чуть не в десять раз больше, чем у него в цехе. Без жары и возни с пьяными работягами.

- Подумай, - сипел неспешно Пиня Исакович. - Понемногу вздохнёшь, оглядишься, где мухи, где суп, - а там и дела делать захочешь... Парень ты с головой... Я помогу... У меня вчера был тут один чудак... сидел на твоём месте, вот как ты сидишь. Он подзалетел несколько лет назад... накрутили срок... После тюрьмы пришёл ко мне: Пиня, что делать? Сидел здесь на стуле... точно как ты сейчас сидишь. Что делать, говорит, Пиня? Всё сначала, но как?.. Я ему говорю: есть женщина в Киеве. Вдова. Муж-покойник загремел в лагерь... с конфискацией. Но кое-что осталось... квартира, дача, копейка какая-то... Говорю: я позвоню, поезжай, познакомься. Он таки-да поехал. Что ты думаешь, Шимек? Уже три года они живут счастливо, он там в универмаге завсекцией. Вчера были у меня... он сидел, как ты, вот на этом стуле... говорят: Пиня, спасибо.

Помолчали. Пиня Исакович попыхтел папиросой, прокрутил чего-то под своей лысиной, засипел: - Слушай сюда, Шимек. У меня есть девочка, родственница, возраст подходит и вообще красавица, умница, учится в консерватории... Почему бы тебе не познакомиться? Не бойся, ты ничего не обязан. Просто мальчик из хорошей семьи и девочка из хорошей семьи - хорошая еврейская пара, почему нет? Давай прогуляемся, а по дороге заглянем, тут недалеко, не возражаешь? Мне, кстати, давно пора, обижаются, что не прихожу. Я позвоню, предупрежу.

...Они шли по улице. Гуляли, дышали предвечерним запахом из квартир в полуподвалах. Солнце уходило, жара спала. Дворники выскрёбывали жухлую смесь листьев и лепестков из-под акаций. Один из них, худощавый, сморщенный, завидев Пиню Исаковича, стал на встречу, опершись на метлу.

- Доброго здоровья, Пиня Исакович!

- Здравствуй, Зяма. Как живём-дышим?

- Спасибо, Пиня Исакович, дышим ровно. Только жести желательного подбросить.

- Какой толщины?

- Два миллиметра. Можно три.

- Добро. Позвони мне завтра.

- Спасибо, Пиня Исакович.

Дворник вернулся к деревьям скрести метлой. Пиня Исакович с Шимеком проследовали дальше. Пиня Исакович объяснил Шимеку: - У этого еврея небольшое дело. Цех. Таблички по технической безопасности. Ты заводской человек, ты знаешь, они везде висят: “Осторожно!”, “Не стой под стрелой!”, “Стоп!”... На всех заводах, на стройках - сотни тысяч табличек. Штамповка из отходов. И раскрасить по трафарету. Делов - плюнуть и растереть. Он тут мусор метёт, а там ему три человека на прессах монету отбивают. Большие тыщи. Хватает и ему, и кто над ним, и на лапу кому надо. И за рабочих его можно не беспокоиться. Никто не в накладе. А ты говоришь: Форд!

Шимек не говорил “Форд”. Но у Пини Исаковича это был пунктик.

- Я бы посмотрел на вашего Форда не в Америке, а здесь. Я бы посмотрел, какой из него получится Форд у нас, когда тудую нельзя и сюдою нельзя, и сколько он здесь продержится на воле. А наши “идн” тихо себе улицу подметают и держат на стороне маленький такой заводик, участочек - через микроскоп не увидишь, а кормятся так, что и секретарю обкома перепадает, деткам на конфетку...

Пиня Исакович остановился, понёс руку под оплывший бок в брюки, достал из кармана кошелёчек, раскрыл: в развороте под целлофаном улыбались три ряда мужских головок. - Вот смотри, - сказал Пиня Исакович, - сувенир, мне из-за границы Андрюшка Старостин привёз. - Шимек вздрогнул от имени знаменитого футболиста. - Ихние чемпионы. Почему бы у нас не выпускать? С киевским “Динамо” или московским “Спартак”... Оторвут с руками. По всей стране. Мильоны

денег с воздуха... Но разрешение - я вас умоляю... Всё нельзя. Форд в Одессе - поц.

На их пути оказалась сапожная будка. В обрамлении её фанерных стенок, увешанных изнутри инструментом, шнурками, портретом генералиссимуса Сталина и обрезками кожи, косматый старик заколачивал гвозди в каблук туфли, нанизанной на сапожную лапку между его коленями. “Тук-тук, тук-тук” - отбивалось двойными ударами: сильно, потом - слегка. Зажатые в губах старика гвозди просверкивали шляпками. Завидя Пиню Исаковича, он отложил в сторону молоток, извлёк изо рта гвозди и приподнялся в запахах кожи, гуталина и сапожного клея:

- Пиня, чтоб ты был нам здоров! Где твой сахар? Две тонны сахара, у меня люди скучают!

- Сёма, я что вчера тебе обещал? Сегодня к вечеру. Потерпи, Сёма, - просипел Пиня Исакович. - Завтра будет тебе сладкая жизнь. Варите своё повидло и не кашляйте.

- И ты бывай в порядке, Пиня.

Старик нырнул обратно в пахучую мглу будки.

Они прошли к небольшой, круглой площади, её обегал, скрипя, трамвай.

Пиня Исакович не ездил трамваем - боялся. Такая, говорил, у меня психа ещё с детства. По кругу площади стояли три такси, “Победы”, опоясанные шашечкой, чёрно-белыми квадратиками. Водители машин, разом, как по команде, распахнули дверцы: “Пиня Исакович, вам куда?”. Он отмахнул рукой ответно.

...Прошли ещё несколько, свернули раз, другой, и нырнули в ворота со старорежимными львиными мордами, перетерпели затхлость подворотни, в парадном с облупленной штукатуркой и разбитой мраморной лестницей поднялись на второй этаж, позвонили.

Приятной полноты приземистая дама после всплеска приветствий: - О, Пиня! Какой сюрприз! Людочка, смотри, дядя пришёл! - провела их в огромную на взгляд Шимека комнату, где стояли рояль, фикус в кадке и симпатичная девушка, ямочки на щёчках, фигура в маму, но молодёжного, много лучшего варианта.

- Сын моего друга, - представил Шимека Пиня Исакович. - Недавно умер, золотой был человек, теперь таких не делают.

Помолчали сочувственно.

- Хочу помочь, а ему ничего не надо. Ему хорошо на заводе. В литейном цехе. Печка там у него, сталь варит. Такой, представьте, Хаим-литейщик...

Посмеялись, поговорили - познакомились.

- Людочка, поиграй для дяди, - сказала мама, лучезарно глядя на Шимека.

Музыка - культ Одессы. Здесь колдовство оперного театра (*“Он звуки льёт, они кипят, Они текут, они горят, Как поцелуи роковые, Все в неге, в пламени любви...”* - **Пушкин**), здесь всемирной славы канторы, а в советские времена Ойстрах, Гилельс, Буся Гольдштейн и прочие школы Столярского потрясающие вундеркинды, в 1937-м на конкурсе в Бельгии, они выиграли все шесть премий - о, грёза одесских пап и мам!.. В приличной одесской семье ребёнка приращивали к инструменту.

...- Людочка, поиграй для дяди, - сказала мама.

Людочка, хорошенькая и, похоже, неглупая, “чудачка с перчиком”, “аппетитная невроко”, как говорили вокруг неё, достаточно преуспевала. Сватовство ей было ни к чему, мамин каприз, дядина прихоть.

Людочка заиграла нервно, враждебно, ненавидя маму, дядю и этого чёрт-те-откуда взявшегося Шимека, наверно с дурным запахом изо рта. Шарахнуть бы ему цыганистого Лещенко! Однако и родню жалея, и свой бунт лелея, отважилась мамина дочка лишь мятежно вспенить клавиши модной дешёвкой: “Мишка, Мишка, где твоя улыбка...”, и бывший хулиган, чекист и футболист Пиня Исакович повёл увлажнившимися очами с Людочки на Шимека, с Шимека на маму, любимую свою сестру... Отыграв “Мишку”, Людочка, смирясь и смягчась, перешла на Шопена, мазурочное веселье растеклось по комнате - все разулыбались, будущее окрасилось радугами...

Потом пили чай с домашним тортом, говорили о том, о сём, о Людочкиной учёбе в консерватории, чего стоило поступить туда еврейке; если бы не дядя, вы, конечно, понимаете... Дядя, отклоняя благодарность: “Что я? Главное, музыка, у девочки абсолютный слух, педагоги очень хвалили: талант, Миля Гилельс в юбочке... А я что, - скромничал Пиня Исакович, - у нас, молдаванских вкус известный: “Гоп со смыком”, ну, Лёня Утёсов... В оперу я только для фасона ходил”.

Припомнилось, смеха для, как в молодом чекистском кураже явился он, Пиня, в оперный театр с собакой, сел в третьем ряду у прохода, пёс у ноги на ковровой дорожке. Чистоплюи рядом раскипелись. Капельдинер подоспел, пустил пузыри. Пиня на него плевать хотел. Припер администратор. Пине чихнуть - и администратор, шишка пузатая, не просохнет. Но Пиня для хохмы покорно побрёл за ним с собакой через весь зал. Потом в фойе объявился чекистом, забрал трепетного оперного начальника с собой в подвал предварительного заключения: “Нехай ночку посидит, уважение к Органам поймеет”. Ну, идиотство, что говорить, чистое идиотство. Он, Пиня, был швыцар дешёвый, совсем без головы, некому задницу набить...

Шимек, к слову, вспомнил своё меломанское прошлое. Билетёрше у входа в оперу для отвода глаз окружающей публики совали подходящий по цвету к театральному билету клочок бумажки: троллейбусный или трамвайный билет, квитанцию какую-нибудь, даже тряпчатый лоскуток - и проходили, мчались на галёрку. Иногда везло: капельдинер бельэтажа или бенуара пускал в ложу постоять за креслами законных слушателей.

С билетёрами у входа рассчитывались после спектакля, по рубчику или два с человека, на честность, без проверки. Капельдинеры денег не взымали, дружили с безденежной молодёжью. Так же бесплатно в раздевалке брали пальто; обычно без номерков, сваливая в углу. Тоже из симпатии к молодым, только с ними ветеран-гардеробщик мог поделиться никому не нужными воспоминаниями о бывлых гастролёрах или поговорить о заезжей из Москвы очередной звезде, ну, ещё не звезде, но уверяю вас, из этой девочки та-а-акое выйдёт, ахнете, запомните это имя, как она? Мая? Рая? Нет, нет, Мая... Парецкая... Питецкая... Вру, Плисецкая...

Или после “Бориса Годунова”: - Вы заметили, молодой человек, как в сцене смерти Кривченя обыграл стол? Спиной, спиной, не видя, обошёл, упал, сполз, скатерть потащил. Я, знаете ли, видел Шаляпина, да, да, Кривченя лучше его сыграл!

Не хуже Алексея Кривчени лицедействовала и билетёрша в провальном случае, когда при особо знаменитых гастролях и крутом навалу публики возле входа появлялись для контроля контролёров ражие парни из органов борьбы с хищениями, а кто-то из клиентов-безбилетников по невниманию или нахальству всё же пытался при-

вычно ткнуть билетёрше липовую бумажку-заменитель. Каким вздымалась она тогда гневом - правдивей знаменитого шаляпинского “Пожар!?”: - Ты куда, мальчик? Совсем сдурел? Что ты мне суёшь глупство за билет? Тебя так в школе учат? (К парням из органов) Как вам это понравится? Такая нахальства... - Она сыпала говорок, попутно обрывая корешки билетов у текущих плотно зрителей.

Безбилетник, отодвинутый жёсткой рукой, вздыхал неподалёку, отступал, подходил - маневрировал, пока прохлынет поток, парни уйдут и билетёрша, отвернувшись, подаст знак сигануть в дверь и, задыхаясь, под звуки увертюры или даже первого действия, лететь крутыми мраморными, в золоте балюстрады, лестницами - через две, три ступеньки наверх, наверх, пока задохнувшись не окажешься на галёрке, под куполом, за спинами опередивших тебя, из-за которых уже ничего не видно, но слышно и догадаться можно, поскольку спектакль видан-перевидан десятки раз.

Ещё Шимеку вспомнился он сам, шестилетний, на знаменитой сцене. Перед ним в стеклянном барабане крутятся, пересыпаются тёмные трубочки; рядом торжественный мужчина; когда барабан останавливается, он подворачивает его к Шимеку дверцей, открывает её и Шимек, на виду у публики - пять ярусов в золоте и лепнине, в единой страсти - суёт руку в барабан, вытаскивает и отдаёт мужчине трубочку; зал - мертвей, чем при Шаляпине, - следит, как мужчина отточенными движениями фокусника тянет пинцетом из тёмной трубочки белую бумажную и, не касаясь её пальцами, передаёт вглубь сцены; там апостолами за длинным тайновечерним столом застыли строго-пиджачные люди из властей и активистов, на каждого приходится на авансцене барабан, как у Шимека, и ребёнок из его, Шимека, детсада, и мужчина - передатчик бумажной трубочки; сидящие за столом разворачивают все трубочки одновременно, поднимают их над головой, поворотясь к крайнему справа, председателю, первачу апостольского ряда, он, стоя, провозглашает цифры с бумажек, и они, сложась в счастливый номер, высвечиваются на заднике сцены, и зал, в переплесках волнения, повторяет их - это в Одессу пришёл праздник дозволенного азарта: лотерея государственных облигаций Золотого Займа.

Раза два тут же в партере оказывался выигравший одессит, его звали показаться на сцену; зал гудел счастливо и завистливо, хлопал,



потом снова шелестел облигациями, проверяя номера, шумел соответственно сумме выигрыша: при 25 тысячах рублей - взвизги, при 50 тысячах - вопли, при главной удаче - 100 тысячах - транс, затем гул и овация; и именно от Шимека били молнии в зал, именно он вытаскивал не номера облигаций, а денежную сумму - самые разящие, самые шалапинские бумажки, и публика “ложила глаз” исключительно на Шимека, а Шимек - исключительно на Милечку, два её огромных банта оглушительно голубели возле соседнего барабана.

...Уже давно улыбчивый прищур на круглом мягком её личике распахивался Шимеку всепоглощающе, в его синей безмерности тонули все шимековы детсадовские заботы: игрушки, бегодня, пирожное, даже докучное ожидание мамы, вечно запаздывающей со своих двух работ, - всё забывалось под светом милечкиного взгляда и смеха, в радости вдвоём сооружать фанерный дом или лечить плюшевого медвежонка. Была, а потом, в войну, пропала драгоценнейшая для Шимека фотография его детсадовской группы, где он в первом ряду сидит на полу потурецки, скрестив ноги, гордый своими первыми взрослыми брючками, ширинка на них раскрылась, как рот Шимека в ожидании птички из фотоаппарата, и Милечка рядом с Шимеком. А птичка, конечно, так и не вылетела.

...полетят ещё птички, полетят. Металлические, с крестом чёрным на крыле...

И Пиню Исаковича на войне пуля дважды достанет, но он выживет, единственный из трёх Людочкиных дядей-фронтовиков, пропавших, как и папа её; Людочка отголодает эвакуацию в Сибири, где её мама после тифа три месяца будет лечиться в психушке; здесь же схоронят маминых родителей, а другие дед и бабушка останутся в Одессе, там больную бабушку румыны вышвырнут с третьего этажа, а дед сам за нею в окно кинется; и у живучего Пини соседи сдадут на смерть жену и десятилетнюю дочку - Пиня потом их никогда вслух не вспомнит, и не женится и ни с чьими детьми не будет цацкаться, а Людочку будет лелеять сверх меры...

Шимек постеснялся в гостях пускаться в детсадовские воспоминания, не зная как будут восприняты и неприличность сюжета с расстёгнутой ширинкой и его увлечение, давнее и младенческое, но всё-таки... Однако тут и мама пустилась поведать о дочкином детстве, дос-

тала альбом с фотографиями и среди них Шимек увидел ту самую, где он сидел на полу, скрестив ноги в новеньких брючках; позорно зияла раскрытая ширинка. Справа рядом сидела Милечка его детства, Милечка - любовь его златоволосая.

Как он её сразу не узнал? Ну, как же: Милечка-Милочка-Людмилочка-Людочка; от еврейской Милицы к славянской Людмиле - хоженный многими путь. Николай Петрович Горчаков...

А вообще-то сюжет не слишком затейливого кино.

...Или, может, знак? - спрашивал себя Шимек, уже выйдя на улицу. Спрашивал с удовольствием: детская нежность Милечки расцвела полнокровно, девочка что надо, с мозгами и ещё с музыкой. На фига ей сватовство? Неужели сама не найдёт? Ладно, пока можно созвониться насчёт похода на пляж. Завтра же.

Он стоял перед воротами Милечкиного дома, со второго этажа над ним нависал её балкон. Из его открытой двери негромко выпархивала мелодия из “Травиаты”, влекущая: “Как пенится терпкая влага в бокале, так в сердце кипит пусть любовь...”

Шимеку снова почудился знак. Гремело “Ловите веселия миги златые...”, маячили телефонный звонок, Людочка, встреча, ночной парк или опаляющий пляж, белая кожа и черный купальник, морем посебребранный. Жизнь текла...

Шимек уходил довольный. На углу скользнул взглядом по табличке с названием улицы: Островидова.

Совпадение. Здесь в доме 98 жила Евгения Хозе, подтолкнувшая эту книгу, и в доме 79 - Гродские.

А круглая площадь, где Пиню Исаковича окликали таксисты, называлась Тираспольской, и оттуда трамвай пятнадцатый номер уходил на Слободку.

## 18. ГОН

**Н**овый 1942 год обозначился для евреев Одессы приказом номер 7 от 10 января: *“Все без исключения евреи... интегрируются в*

*гетто на Слободке, куда и обязаны явиться в течение двух дней”.*

**С. Боровой** описал исход одесского еврейства: *“По улицам потянулись нескончаемой лентой толпы... с узлами, мешками, с детьми. Тянули за собой сани, нагруженные жалким скарбом, толкали детские коляски... Волочились старики. Больных везли на тачках, таскали на носилках. Подводу можно было достать только за чудовищную плату... Подбегали солдаты или хулиганы и со словами “тебе уже не понадобится” вырывали у несчастных баулы, сумки, срывали с них шапки... Температура доходила до минус 30 градусов... неслыханный убивающий мороз.*

*Отстававших пристреливали. На всех улицах... валялись трупы, которые днями не убирались” (С. Я. Боровой “Гибель еврейского населения Одессы во время фашистской оккупации”).*

**С. Котляр** (свидетельство в Яд ва-Шем): *“Я, Серель Котляр, родилась в 1935 г. в г. Одесса... [Из эвакуации] вернулась примерно в августе 44 г. В нашем доме, в основном, жили евреи... в живых остались две женщины: Бетя Цвок и тётя Поля Коган. Они мало рассказывали о пережитом и о соседях. Но у нас была дворничка-полька Луша, и она, напиваясь время от времени, приходила к нам и рассказывала о наших соседях: “Вы помните старуху Зукинишу? Вы помните, какая у неё была шаль? Так она хотела в этой шали идти, когда их выгоняли. Зачем ей эта шаль, когда на Прохоровской пожарники поливали евреев, которых гнали по мостовой, из шлангов. Так я эту шаль взяла себе”. “А вы помните Питерман? Так они захотели закрыться в последней комнате без воды, без еды, без тёплых вещей, чтобы всей семьёй умереть дома. Но как я могла это допустить? Их выгнали вместе со всеми”.*

Фрейду с Достоевским осветить бы закоулки Лушиной души. Грех ли тлеет в говорливой вертлявой дворничке, ночью будит, днём берedit, водочкой не гасится, только хуже выпирает? И выворачивает изнанку свою пьяно-откровенная Луша перед этими живыми, они двойники тех, мёртвых, в их воле - простить. Шевеление совести...

В Луше?!

С. Котляр: *“Луша рассказала, что как-то ней пришли немцы и потребовали показать, где в доме есть красивые женщины. Луша повела их к Голодным. Дверь открыл отец и т.к. он, узнав в чём дело, по-*

*пытался сопротивляться, его сбросили с третьего этажа в пролёт лестницы. Никто из них не выжил.*

*В доме номер 6 по нашей улице была школа № 24 и при школе жила учительница украинского языка Елизавета Степановна - пусть будет благословенна память о ней. Она прятала у себя двух молоденьких дочерей Шейнфельд. Пронюхав об этом, Луша привела к ней полицаяев, но те никого не нашли и ушли. Луша неожиданно вернулась пригрозить Елизавете Степановне и случайно обнаружила девушек под перинами в кровати. Они не выжили”.*

Васька не была “еврей” - не подпадала под приказ “интегрироваться в гетто на Слободке”. Ей местожительство назначил Петро.

Петро должности соответствовал и когда доносил на маму Шимека, и когда в оккупацию евреев переписывал и румынам сдавал, и когда после войны уже для советских органов опять добросовестно переписывал евреев уже как выбывших.

Конечно, не одно служебное рвение вело Петра; человек не без слабости, особенно если шанс выпадет себе погрязнуть. Да и по справедливости: сколько можно мытариться в подвале трудящему человеку? А тут от жидов квартиры остаются, вон от Брауншвейгских после их отъезда в эвакуацию две комнаты очистились, да соседка-молодайка в бомбёжку сгинула, осталась в маленькой каморке семидесятилетняя Розина, ну, слава Богу, еврейка, всего-то и делов сдать её румынам да кому надо на лапу дать - и четырёхкомнатная жилплощадь его, Петра...

Из архивов:

*“Акт № 30*

*Гор. Одесса... 11 дня июня м-ца 1944 года.*

*Мы, нижеподписавшиеся, Районная комиссия содействия в работе Чрезвычайной Государственной Комиссии... составили настоящий акт в том, что... зверски замучена в 1941 г. Гойхман Ф.К. Её румыны выгнали из квартиры и забрали вещи, т.е. источник её существования.*

*После всего этого её закрыли в пустой комнате и не давали есть в течение ряда дней... Она умерла голодной смертью”.*

*“Акт 174 г. Одесса 1944 г. ноября 24 дня.*

*Мы, нижеподписавшиеся, члены Районной комиссии... составили настоящий акт в том, что... гр. Бауштейн мать фронтовика была в 1941 г. декабре м-це... арестована и по дороге в тюрьму была подвергнута зверским издевательствам, как-то оторвали кусок кожи со лба и вырвали глаз. Через некоторое время выпустили из тюрьмы... она прожила 10 дней умерла”.*  
*“Акт 172 г. Одесса 20/X-44 г.*

*Мы нижеподписавшиеся члены Районной комиссии... составили настоящий акт в том, что... гр. Рабинович Елена Яковлевна и Рабинович Мария Яковлевна с 24 октября 1941 г. начали преследоваться румыно-немецкими оккупантами за их еврейское происхожд[ение]. За время произведенных обысков в их квартире всё имущество и ценности были отобраны в виде откупа, после чего они были всё же забраны в полицию, где их часто избивали прикладами и нагайками. После всех пережитых избиений и издевательствам, несмотря на то, что ими была дана взятка, они всё же были угнаны в гетто. Гр. Рабинович Мария Яковлевна и Рабинович Елена Яковлевна вследствие всего пережитого по дороге в гетто приняли стрихнин. Гр. Мария Яковлевна скончалась, гр. Елена Яковлевна Рабинович была отправлена в больницу... в лагерь-гетто, где подвергалась дальнейшим издевательствам..”.*

*“В районную чрезвычайную комиссию содействия расследованию совершённых злодеяний румыно-немецкими оккупантами...*

*От жильцов дома № 103 по ул. К. Маркса*

#### *Заявление*

*В период эвакуации г-на Хазанова... в квартире оставалась его семья состоящая из отца, матери и старой полуслепой бабушки.*

*С приходом в Одессу румын... был в первый же день уведен в тюрьму отец - г-н Гласс Шая Ицкович и судьба его не известна. Спустя два дня в тюрьму для передачи еды отправилась жена г-на Гласс Анна Михилевна и была убита против Чумной горы. Оставшаяся в квартире дряхлая старушка была спустя несколько дней выгнана полицейскими из квартиры. Оставшись в последствии на улице бедная старушка поплелась в сад где и замёрзла. Имущество, принадлежащее семье Хазанова, Гласс, родных и братьев жены, которые были в это время на фронте, всё разграблено.*

*(подпись дворника) ”*

Петро лично извлёк старуху Розину из квартиры, однако сдавать в гетто или на сборный пункт рук марасть не стал, как-никак сколько годов знакомы, зла от её особого не помнилось, так он старую за пару кварталов отвёл, да и оставил на волю Божью, наказал только до дому ни-ни не ворочаться, сиди, бабка, може, хто пожалие, пособит... А на доме, возле ворот, как положено, поставил крест, мол нема тут жидив, чисто...

**Из Листов:**

*“Жебицкая Анна, 72 года, перед отправкой в гетто зимой 1942 года была посажена в корыто с ледяной водой, заморожена, погибла под выкрики дворника: “Иди догоняй Сталина”.*

**Из послевоенных заявлений в одесские “Комиссии по расследованию злодеяний оккупантов”:**

*“На Куликовом Поле в трамвайной будке лежала старуха еврейка, погибая от холода и голода. Однажды я пыталась подать ей кусок хлеба, но меня прогнал румынский солдат.*

*Старуха лежала несколько дней и умерла...”* (заявление Макарюк Александры Афанасьевны, ул. Свердлова, дом 91).

*“Я дворник д. 59 по ул. Леккерта Скрипченко заявляю о том, что 10/1/1942 румынами солдатами и офицерами были угнаны в гетто из д. 59... [перечисляются фамилии семей]. О судьбе угнанных мне неизвестно”.*

Так же и Петро, когда свои вернулись, написал о старухе Розиной “судьба неизвестна”, а что слукавил, так кто ж без греха: в тех дворничьих справках, всех как есть, о своих грабителях и своём участии - ни шепотка, всё на румын свалено, кое-кто из дворников даже к показаниям-заявлениям жалостливо добавлял “прошу наказать румынско-немецких извергов”. Петро тоже приписал просьбу наказать оккупантов - а шо? кашу маслом не споганишь...

С тем и стал жить-поживать в бывшей шимековой квартире да с оставшимся от жидов добром, с мебелью, со столом старорежимным, справным, крепким як отой дуб. Или не заслужил? Вон сколько годов выкладывался...

Он, в сущности не злой был, Петро, жалостливый даже. Старуха Розина, когда он её с хаты попёр, последним словом за Ваську плакала, мол, жалко животную, Брауншвейгские перед эвакуацией просили присмотреть, она обещала... Петро и тут не злодеем выказался: нет, шоб прыбить зверюку, тем более, злючая, до рук не йде, не мурчить, только шипить, як ота зараза, а Петро по-доброму: не прыбив, просто погнав геть.

И подалась Васька во двор, к мусорке, местным кошкам на горе, они шипели, горбились, гоняли приبلудную, да не на ту напали: одной ухо разодрала, с другого кота вышерстила клочья до лишайного вида, ей самой морду, было дело, распахали - зиму билась за место сытное, а там и весна, март, коты завыли, Васька в цену вошла, главный помоечник, рыжий, поджарый, хвостом метёт, рожа много битая, глаз единственный горит - тот ещё бандюга, тигра на всю улицу, он и обрюхатил Ваську, как бы приписал к помойке, стала своей, прижилась, выжила...

Кто опишет судьбы кошек, собак, птичек, брошенных под рыдания неутешных детей или одиноких горемык, теряющих единственного наперсника, - бездомных бесхозных животин, одичавших, взбесившихся от военных страхов, от бомб и стрельбы, грома и пожаров, ставших пищей голодающему человеку, шапкой мёрзнущему живодёру, мишенью веселящемуся солдату...

Утешься, однако, зверьё: людям - горше.

Н. Красносельская: “На Слободку шли колонной по мостовой. По тротуарам густой довольно цепью охраняли румыны и полицаи. Подгоняли, били прикладом... население на улицах было, хлеб, помню, протягивали, пихали воду - с бидончиком стояла женщина...”

Меня всё время одно мучило. Меня ведь из Москвы сюда отправили только на лето, тёплых вещей не дали. И теперь бабушка меня одела в одежду моей тётки - беличья шубка, фетровые боты, галоши, рейтузы - вещи на меня были велики. На ноги, чтобы ботики не спадали, надели несколько пар носков. Никто не догадался рейтузы ушить. У меня на ходу одна задача была: подтянуть падающие рейтузы.

Беличью шубку с меня сняли, не доходя до Слободки. Румыны снимали. И свои... Дождь был, непогода. Кто-то из толпы дал мне что-то вроде телогрейки.

Привели на Слободке в здание типа школы. На первом этаже в комнату вроде класса, метров двадцать квадратных, набили нас так густо, что не могли сесть. Потом часть людей вывели, и мы легли”.

## 19. СЛОБОДКА

Школа. Школьный бал...

Древнееврейского мудреца Хилеля спросил язычник, желавший мигом освоить иудаизм: “В чём суть вашего учения?”. Хилель ответил: “Что тебе неприятно, не делай того ближнему - вот сущность Торы; остальное - примечания”. Тут евреи и их благожелатели аплодируют. Но фраза Хилеля оборвана. Он добавил два крохотных слова: “Иди учи”. Учи, значит, Тору - священную Книгу евреев.

Евреи, говорят, - “народ Книги”. Учиться - их живительный обычай: образованность веками спасала евреев. Издавна учёный еврейский жених успешно противостоял богатому.

Ученье - свет, как того не понимать одесским живчиком? В 1826 году, одолев косность в общине, они открыли первую в России общеобразовательную еврейскую школу. Сперва 63 ученика, на следующий год 250, а за 26 лет, пока школу не закрыли, - две с половиной тысячи. Стараниями директора школы, галицийского еврея Бецалея (Базилиуса, Василия) Штерна в школе, помимо традиционных Торы и иврита, учили по немецкому образцу математику, географию, историю, европейские языки, бухгалтерское дело. Выпускники преуспевали, становясь финансистами, коммерсантами, учителями, фармацевтами, врачами... Родители, сообразив пользу, щедро поддерживали школу: её учителя зарабатывали больше, чем преподаватели самого престижного в Одессе Ришельевского лицея.

Школе покровительствовал генерал-губернатор М.С. Воронцов, сам император Николай I в 1837 г., посетив её, одобрил высочайше. Но интриг тоже хватало. В 1852 г. противники школы добились её преобразования в обычное казённое училище с примитивным уровнем преподавания. Штерн ушёл в отставку и спустя год умер.

Однако жизнь брала своё. К концу девятнадцатого века нееврейские гимназии и университет Одессы примерно на одну треть заполняли евреи. В 1887 г. правительство ограничило число еврейских учеников в государственных учебных заведениях 10 процентами. Одессе разрешили больше, до 15 процентов. Но местным евреям мало: они тут же создали собственные светские гимназии и училища и отправили в них три тысячи детей. Там, где не действовала процентная норма, в



художественном и музыкальном училищах евреев было 60 процентов - 585 человек. Стоило университетам в 1905 г. ненадолго отменить процентную норму, как в Одессе тут же подскочило число еврейских студентов.

Страсть учиться. В 1881 г. после погрома генерал-губернатор Одессы А. Дондуков-Корсаков с горечью докладывал министру внутренних дел: *“Евреи... успевают наполнять собою учебные заведения... к ущербу для распространения образования в среде христианского населения. ... Приобретая вместе с образованием и более утончённые средства и орудия эксплуатации... эта космополитическая народность... представит серьёзную опасность не только для экономической судьбы края, но и для его гражданского и политического развития и даже для сохранения нравственного облика господствующего племени”*.

Через 60 лет нашлось, как погасить патриотические опасения: музыкальную, гуманитарную, медицинскую, техническую - любую учёбу завершить одним последним классом, выпускным - классом школы в гетто на Слободке. Всеобщее обязательное еврейское образование.

*“В помещении школы на Слободке классы были битком набиты людьми, негде было даже сесть. К ночи, когда... все затихли, со двора стал доноситься детский крик и стон. Когда охрана перестала ходить по двору, я, прижимаясь к стенке, стала по-пластунски ползти к тому месту, откуда раздавался крик. Я приползла к стеклянной двери, за которой стояли мальчики лет 8-12. Их лица были окровавлены и искажены от страха и страданий. Они плакали, кричали, просили о помощи. Из их криков я поняла, что комната битком набита мальчиками, которых несколько дней как отняли у родных, закрыли без еды и питья. Многие умерли.*

*Я... приползла обратно и рассказала людям об увиденном. Тут же матери стали переодевать своих мальчиков в девичью одежду. А тем детям, запертым, помочь никто не смог” (Р. Коркучанская, в 1941 г. 16-ти лет).*

Восьмилетний **Ян Колтун** находился на станции переливания крови при 1-й инфекционной больнице, где прежде работала его мать: “Там русская была администрация, но курировал румынский офицер. Настал момент, когда нам сказали, что сколько можно они нас скрывали, не выгоняли, но больше нельзя. И вот последний день, с которого нахождение евреев вне гетто карается расстрелом.

Холодная зима была... День морозный, а мы ходим по улицам... Заходим в дома, спрашиваем, например, Наталью Ивановну. Нам говорят: “Нет такой”, а мы вроде ищем, ходим по коридорам и этим обогреваемся. Мама это для меня делала. Так мы ходили до вечера, а потом ушли в гетто”.

**С. Сушон:** “Слободка - это один из районов Одессы, который легко было отгородить от мира. Там место, которое было огорожено, стояли вышки, румыны-часовые в обуви на толстой подошве, потому что были лютые морозы.

Евреи шли сплошным потоком, как будто в Мавзолей Ленина. С чемоданами, узлами - разрешалось взять столько, сколько можно было унести. У меня были торбы с сухарями и очень приличный чемоданчик, там инструмент: молоток, плоскогубцы - и учебники для седьмого класса, и мои драгоценности: я собирал монеты и марки.

По дороге я увидел первые трупы: пожилых людей, детей - замёрзших. Что интересно? Вши с мёртвого тела выходят наружу, и на одежде - серые пятна из вшей. Это ж редко можно увидеть! Живое пятно!..”

Из архивов:

*“Акт № 91*

*...Гр-не Кричевский М.И., Ивчер Я., Ивчер Л. и двое детей были раздеты догола и в таком виде погнаны по снегу. В пути они все замёрзли”.*

*С. Боровой: “Слободка стала заполняться евреями. Размещались они в условиях невероятной скученности - в помещении школы, суконной фабрики, общежития Водного института... Некоторым удалось устроиться на квартирах у обывателей. Одни давали евреям приют из сострадания, другие сделали из этого источник обогащения. Многие в эти страшные морозы оставались под открытым небом...”*

*Скученность, голод и мороз делали своё дело... Началась массовая смертность, пошли эпидемии сыпного тифа, дизентерии и т.п... Евреи-врачи... самоотверженно вступили в борьбу... Им удалось даже организовать больницу. Но эти врачи были высланы, больница закрыта, а больные вывезены на открытых машинах..."*

### **Из Листов:**

*"Хасин Иосиф, 1895, рабочий, умер в гетто от сыпного тифа, 1942 г."*

*"Меламед Сарра, 1878 г. р., умерла в госпитале на Слободке".*

*"Кагаловский Яков, 1929 г. р., сбежал из гетто и замёрз на улице".*

*"Френкель Розалия, врач, вприснула сыну Октаву Шмидту (10 лет) и себе смертельную дозу морфия, чтобы избежать насилия, гетто на Слободке, 28 января 1942 г."*

**С. Сушон:** "Мы попали в комнату, где жили человек шестнадцать. Пятнадцатого января день рождения у меня (тогда, в сорок втором мне четырнадцать исполнилось) и у бабушки: я - ей подарок. И в этот день в комнату вошли румын и двое полицейских из местных. Они начали делать шмон [обыск]. Им попал на глаза мой чемодан. Один схватил его. Естественно я бросился за чемоданом. Получил я ногой и отлетел в сторону. Мама за меня заступилась и бабушка тоже на чемодан. Там же всё моё добро!.. И один из них наотмашку ударил маму в ухо, и она отлетела тоже к стенке. Это был мой день рождения 15 января. Мама не плакала, не стонала. Мы все были в шоке.

... Когда были облавы и ловили мальчишек, то заставляли показывать пипку. Многих мальчиков в советское время не обрезали, но меня, например, бабушка обрезала - у таких было легко определить еврея.

Если кто бежал за ограждение, а потом был пойман, то его били 25 ударами (называлось "кара 25"), он должен был кричать: "Кто будет удирать из гето (мы все так ставили ударение), будет получать, как я" - и с последним словом его ударяли палкой, ремнём, пряжкой - как придётся, по голове, по спине. Били солдаты, полицаи - кто хотел. Все окна должны были открываться, и все обязаны были слушать - процедура очень впечатляла.

...Умерших не успевали вывозить и складывали в котельной - она же не топилась. В марте-апреле потеплело, надо было вывозить трупы. Меня

тоже мобилизовали. Вытаскивали скрюченные замороженные тела, распрямляли, грузили на подводы - ужас. Страшнее ада. Можно с ума сойти. И в эти же дни мы видели, как румынский еврей Изя Фидлер женился на Сарочке. Румынские евреи были хорошо одеты, Изя в кожанке, кашне красное, шапка, Сарочка тоже красиво одета. Веселились, пели... Их всех потом вывезли убивать”.

**Л. Дусман:** *“Евреев переселяют на Слободку, в гетто. Жители Слободки, кто желает, могут переселиться в еврейские квартиры в городе. Но в город переехало очень мало.*

*Евреи переселились. Заняли школы, бани. Многие поселились у слободских жителей на квартирах.*

*Население помогало, спасало - усыновляли детей, переправляли в деревню к родственникам... Многие и сейчас живут на Слободке, не зная, что они в действительности евреи”.*

Добросердечному Дусману помнится светлое, а в румынском отчёте от 19 января 1942 года: *“Мероприятия по интернированию евреев в гетто и по их эвакуации приняты христианами благоприятно”.*

**Александра (Шура) Подлегаева** (из писем): *“На Слободке организовали гетто. И запретили жителям Слободки давать приют евреям под страхом смерти.*

*Зима была лютая. Сугробы 2-3-х метров. Люди погибали, замерзая на снегу. У нас был собственный дом. Муж на фронте. А я была глава семьи. У меня в доме пряталась семья евреев: мать, отец, дочь и двое маленьких детей. Об этом не знал никто”.*

**А. Тетеревятникова** (дочь А. Подлегаевой; воспоминания 2003 года): *“Двоюродный брат мамы Миша Овсянников с другом-одноклассником Монеи Фридманом в том году десятилетку окончили и вместе на фронт ушли. Это Монина семья жила у нас в доме, с маминной тётёй Фросей.*

*Когда кто чужой приходил, они все прятались под кровать, там покрывало свисало. И вот зашёл немец, колонист местный, болтает с тётёй Фросей и между прочим говорит: “Если бы ты, Фрося Ивановна, была жидовка, я бы тебя на месте застрелил”. А те, под кроватью, слышат, и потом не могли успокоиться. Да ещё им кто-то пообещал за золото вывезти в на-*

дёжное место. Тётя Фрося их уговаривала остаться. С ними дети были, мальчик запомнился мне очень, чернявенький, красивенький такой, он не хотел уходить, плакал бедненький, кричал: “Я не хочу быть евреем!.. Мама, папа, идите, а я останусь с тётей Фросей!” Но они ушли и его забрали. И пропали неизвестно где...”

**Из Листов:**

*“Хапер Татьяна и двое детей, расстреляны в Одессе, 1942 г.”*

*“Трушкина Йохевед, 1894 г. р., Одесса, расстреляна”.*

**М. Фельдштейн:** *“В январе 1942 г. нашу семью из 5 человек, как и всех евреев Одессы, пригнали на Слободку и разместили в свободные помещения и в квартиры жителей Слободки. Хозяйкой квартиры, куда мы попали, была Теряева Анастасия. Она жила на Кооперативной ул. 33. Приняла она нас очень сердечно и со своей подругой Александрой Николаевной Подлегаевой, которая жила тоже на Кооперативной через дом, сразу приняли живое участие в нашей судьбе. Мы там жили месяц. Они нам помогали, чем могли, делились едой, хотя сами очень нуждались.*

*С большим трудом достали наши вещи, которые хозяйка нашей прежней квартиры не хотела отдавать. Очень нас поддерживали морально. Мы себя сразу почувствовали, как в родной семье.*

*Александра Николаевна несколько раз в день к нам приходила и вселяла в нас бодрость. Семью в 5 человек невозможно было спрятать. Соседей там не было, т.к. в маленьком доме, где мы находились, были ещё 3 квартиры, в которых жили мать и сёстры Теряевой - они тоже к нам хорошо отнеслись. Всё, что они делали, было совершенно бескорыстно, только из желания помочь”.*

**А. Подлегаева:** *“У одной нашей соседки Теряевой муж был еврей. Он ушёл на фронт. Мать его Теряева забрала к себе. К сожалению не все наши соседи были хорошие люди. И угрожали, что выдадут её румынам, если её свекруха не уйдёт. Сестра Теряевой попросила меня взять свекруху к себе. Я согласилась при условии, что приведут её ночью, когда вся улица будит спать, чтобы никто не видел, т.к. на улице жили разные люди. И я боялась за свою семью и за тех евреев, которые скрывались у меня. Свекруха Теряевой у нас жила, как будто моя бабушка.*

*Однажды, выйдя на улицу, я увидела старика, который лёжа на снегу замерзал. Убедившись, что никого нет по близости, я помогла ему подняться и привела к себе домой. Я попросила бабушку напоить его кипятком и дать немного мамалыги. Был он у нас часа четыре, а я всё бегала на улицу смотреть или не видно румын.*

*Когда он согрелся и пришёл в себя, я попросила его, чтобы ушёл.*

*Он ведь не знал, что бабушка тоже еврейка. Он встал раскачиваясь и с закрытыми глазами что-то говорил. Я думала, что он не доволен, что я прошу его уйти.*

*Когда он ушёл, я сказала бабушке: почему люди такие неблагодарные, неужели он думал, что мы кушали лучше, а его выпроваживали потому, что боялись за себя. Бабушка мне сказала: “Вы его не поняли. Он на древнееврейском языке просил у бога для вас счастье и здоровье”. Прошло много лет и я поняла: да, у евреев есть свой бог, Мойсей, и он его услышал, и помог мне, и сейчас помогает. А потом я узнала, что Ваш бог и наш бог родные братья”.*

Е. Хозе возбудила всю историю с Гродским-Подлегаевой-Теряевой ещё в 1991 году. Тогда же Яд Вашем занялся присвоением Подлегаевой звания Праведницы Народов Мира - как положено спасительнице евреев. С тех пор и я, и, по моей просьбе, евреи, которых выручала Александра Николаевна Подлегаева (далее для краткости А. Н.) понуждали её написать о себе. Она долго стеснялась. Спасённые наивно обещали ей, хворой, немощной и неимущей, какую-никакую помощь от благодарного Израиля - она упорно отмалчивалась. Наконец, на рубеже 92-93 года я получил от неё это письмо. Читая, не сразу понял, что именно Бог услышал от пригретого Подлегаевой старика. Лишь теперь соображаю, что по его мольбе Господь, как она считала, одарил её счастьем дальнейшей жизни, детьми и внуками. Заботы и мытарства А. Н. в расчёт не берёт – Праведница.

## 20. ЭТАП

Три дня утрясалось, утряхивалось слободское гетто, а на четвёртый, 14 января был опубликован подписанный ещё 2 января

губернатором Александру приказ о дальнейшей “эвакуации” всех евреев в места Одесской области, где, по словам приказа, их ждёт работа “для общественной пользы... с вознаграждением пищей и содержанием... Административные и полицейские власти на местах должны обеспечить добросожительство с местным населением”.

“Добросожительство” началось уже в самом начале пути, когда толпы гнали к железнодорожным вагонам на станции Одесса-Сортировочная через лиман по колено в ледяной воде и на морском ветру, а обмороженные ноги означали замедление хода и немедленный расстрел. Вот когда наживались окрестные владельцы подвод, местные немцы и украинцы: за огромную плату давали место людям и вещам, а провезя немного, людей сбрасывали. Награбленным делились обычно с конвоирами. И в дальнейшем следовании в пеших переходах случалось, что румын-конвоир за плату выводил местному крестьянину из рядов еврея, тот раздевался, украинец забирал вещи, а румын еврея убивал. Еврея покупали, потрошили, потом - в отходы... Промысел. “Невже ж без розуму?”.

**М. Фельдштейн:** *“Накануне отправки со Слободки мы просидели в каком-то помещении всю ночь. Александра Николаевна не побоялась нас найти и принести нам поесть. Помню, что это была мамалыга, ничего другого у них не было.*

*Когда нас посадили на телеги и под конвоем повезли на вокзал, я видела, как румынский солдат несколько раз ударил А. Н. прикладом по спине и прогнал её, чтобы она нас не провожала”.*

**Е. Хозе** (из воспоминаний): “В январе мытарствуем на Слободке. За нами охотятся, как за дикими зверями. Мы прячемся, переходя из хаты в хату. 11 января нас выгоняют на бывшую суконную фабрику.

Зима лютая, минус тридцать, метель. На суконной ни окон, ни дверей, зияющие провалы.

После тщательного обыска нас отправляют на станцию Одесса-Сортировочная. Там теплушки, вагоны для скота; без окон, наглухо закрытые. Едем. Все стоят, кроме тех, кто на полу умирает. Оправляются при всех - никто не обращает внимания.

Мы знаем, что сделали с предыдущими евреями: их вывезли на запасные пути, оставили на некоторое время в закрытых вагонах, потом открыли и замёрзшие трупы сложили штабелями. Теперь у нас на каждой остановке сердце падает: “Приехали...” Нет, ещё не то, едем дальше. Очередная остановка: прибыли. Оказывается, ночь. Нас вышвыривают вниз,

в жижу: снег с ледяной водой. Темно. Люди ломают ноги при падении, теряют детей. Крики, вопли, стон... Картину освещают только румынские фонарики. Наконец, погнали всех во тьму. Держусь за маму, умоляю: не падай. Упадёт - меня погонят дальше, потеряю её. По дороге останавливают и грабят. Так проходит ночь.

Утром без отдыха дальше. Сил уже нет. Оглядываемся: оказывается, нас гоняли вокруг Берёзовки и мы на том же месте, где были вчера. Это румыны развлекались. Так, с издевательствами мы добирались до Доманёвки. Дорога была усеяна трупами, потому что отстававших румыны расстреливали”.

**С. Сушон:** “На Слободке... мы все переболели тифом, поэтому попали в последние этапы. В нашей комнате жил Розенфельд Юзик, лет пятидесяти, он комплектовал на отправку выздоравливающих евреев. Каждый раз выдавалась норма, сколько отправить. Розенфельд ходил с палкой, бил ею евреев по голове.

...Нас, несколько сот человек, в основном, старики, женщины, дети, загнали в три вагона из-под угля. Поезд шёл всю ночь. Извините, писали и какали в штаны, потому что двинуться было невозможно. Вонь стояла страшная. Это июнь. Когда утром выгрузили в Берёзовке, мы все были, как негры”.

Случилось до войны: облава на бесхозных собак. Грузовичок - полуторка, клетка во весь кузов. Пойманные псы. Тихие тоскливые их глаза. Пятнистый благородный сеттер, в бок его вдавлена дворняга, рядом корявоногая такса, ещё дворняжка рыжая, уши лопухами, и ещё нечто совсем несуразное, лохматое, худющее, свалывшееся в грязи помоек - все тесно слеплены, слиты - сообщество безнадёг. Не грызутся, не лают - чуют. Они издалека ещё предугадали смертную эту будку (точнее, чем потом евреи немецкую душегубку), мчались от неё по улицам. Прохожие свистели вслед, прогоняя подальше от ловцов, страстно ненавидимых, осыпаемых проклятиями и улюлюканием, а они, специалисты убийственного дела, размахнувшись удилищем с длинной верёвкой, споро набрасывали петлю на голову преследуемой жертвы, тянули к себе, петля придушивала животное, оно хрипело, билось и трепетало подтягиваемое к клетке, та как-то ловко распахивалась: и прежде пойманные не успевали выскочить, и новая жертва водворялась уже освобождённой от удавки, которую палач управился сдёрнуть.



В отличие от бездомных псов с их богатым уличным опытом, с их великой собачьей интуицией, Томка по домашней своей наивности знал жизнь с одной только ласковой стороны. Чего бы ему, вышедшему привычно погулять с любимым дядей Йосей, тикать в подворотни от ловцов, которые, прыгнув с полуторки, уже двигались нацеленным неотвратимым шагом к очередной жертве. Чего бы, спрашивается, паниковать? Он трусил себе весело возле дядийосиной широкой штанины, как вчера, как всегда. И дядя шёл-прохаживался, паника улицы его не касалась, жалко зверьё, конечно, да ему-то что, его-то псинка защищена и присутствием хозяина, и регистрационным номерком на ошейнике...

...но утонувшим в Томкиной густой белой шерсти, чего дядя Йося не заметил. Живодёр с длинной удочкой в руках тоже не заметил. Он размахнулся удилищем, верёвочная петля просвистела гибельную свою дугу и легла - Бог, видимо, положил - рядом с Томкой. Пёс на петлю-удавку в своей недотёпистости даже не поглядел, хотя уловил сложный её запах - собачьего страха запах. Он дёрнулся к ней чёрной пупкой носа, но опережая его, дядя Йося наступил на петлю гневной тяжкой стопой. Ловец дёрнул к себе, нога дяди Йоси оказалась внутри петли, и собравшаяся мгновенно публика могла воочию увидеть, как даётся свыше вдохновенный текст.

- Стоп! - загремел дядя Йося. - Стоп, кому говорю? Ты промахнулся! Ой, как ты промахнулся, погань штопаная!!!

- Пусти! - испуганно и нагло крикнул ловец, лихорадочно дёргая петлю и тем ещё крепче затягивая дядийосину ногу, ещё туже связывая судьбы палача и жертвы, меняя их местами...

- Ты на кого руку поднял, недоносок? - вопил дядя Йося. - Это что тебе, сука уличная? Ты номер на собаке не видишь?

- Где номер? - оборонялся ловец. - Где твой номер? Шерсть надо стричь с такой псины!

Псина, возбуждаясь от криков, залилась лаем, запрыгала резиновым белым шариком вокруг орущих.

- Ша, паскудник, ша!! - сотрясался дядя Йося. - Он не видел номера! Слыхали? - обращался он к толпе вокруг.

Беспронимчиво взывал - народ, конечно, поддержал:

- Чтoб глаза у него повылазили, как он не видел! Паразиты... сволочи... Мать родную не пожалеет... Убивать их надо ещё до родов!

- Он не видел номера! - дядя Йося не снижал накала. - А что ты вообще видел, говно слепое! Мамину сисю? Байстрюк! Задницу мою ты

видел, а?! Задницу мою чтоб ты видел! - варьировал дядя Йося и для понятливости уточнял: - Жопу!!!

Толпа упоённо внимала, Томка заходилась руладами лая.

- У меня обязанность, - выкрикнул ловец. И подкрепил себя не слишком уверенно: - Будете мешать, оштрафуем.

От угрозы дядя Йося взвился с новой силой. Под свист болельщиков - они всё набегали и набегали - он стал честить ловца и его напарника, и полуторку, и всю санитарную службу города, и даже городскую власть, что вполне могло быть принято за призыв к свержению советского строя, наказуемый вплоть до высшей меры социальной защиты, как пышно именовался обычный расстрел. Но дядя Йося в запале о том не думал, он изливался справедливым гневом, любил и выручал Томку.

Обошлось. Они с Томкой были дома. Дети на радостях Томкиного спасения получили арбуз, лопали “аж уши мокрые”, как определил дядя Йося, и слушали многократно его рассказ о победе над живодёрами-подонками-недоносками-говнюками... Бабушка последних слов не одобряла, хмурилась, но и улыбалась радостному исходу, а дядя Йося, что с него взять, всегда был босяк...

Томку дядя Йося выручил.

А клетка с собаками поехала дальше, к смерти, и стояли они, как люди потом стояли в теплушках. Но собак убивали не сразу, выдерживали где-то некоторое время, так что хозяин мог объявиться, похлопотать или штраф за отсутствие регистрации животного уплатить и вырвать в конце концов пса. Евреям в оккупированной Одессе такое не светило. Боевые Йоси, кто бы кинулся своим на выручку, дрались далеко, не дозовёшься...

### **Из Листов:**

*“Раутман Бася, 1899 г. р., машинистка, и сын Саул, 1928 г. р., погибли по дороге в гетто”.*

*“Бурла Бася, 1860 г. р., замёрзла в теплушке, которую поливали холодной водой”.*

*“Глейзерман Миша, 1941 г. р., в феврале 1942 сожжён по пути в Доманёвское гетто”.*

**Б. Шнапек** (этап со Слободки): *“Нас посадили в товарняки, везли. На какой-то станции возле Балты, состав остановился, двери приоткрыли, и там вдалеке стоял небольшой вагон и там горел костёр,*

*ужасные крики... Мы спросили: “Что это?”, и нам сказали, что там сжигали детей. И сразу закрыли двери, и мы поехали дальше”.*

**Н. Красносельская:** “Нас посадили на грузовики и повезли. На вокзал. Посадили в товарные вагоны. Забили их так, что только стояли вплотную... Везли двое суток или трое. По дороге вагоны не открывались. Вечером где-то выгружали состав, часть вышли, часть вынесли, часть выбросили мёртвыми. Это была Берёзовка.

Дальше пошли. Конвой был пеший и конный. Я держала за руку соседку по дому. Бабушка, ей было пятьдесят пять или больше, чувствовала себя плохо, отставала. Помню ночь, степь, какие-то бугры, зарево вдали...

И вот нас остановили, стали отсчитывать: сотню налево, сотню направо. Требовали денег, ценные вещи. Бабушка, что возможно, всё отдала.

Нашу сотню отправили направо, а другую налево, их уничтожили.

Был ноябрь. Шли мы по полю, нас гоняли, наверно, сутки, мы то бежали, то стояли, то кружили... Местами были большие лужи, мы шли по воде, по болотам, заморозки, у меня ботики к ногам примёрзли. Не к подошвам, а вот здесь, выше почему-то, к ногам, снять было нельзя, очень больно, бабушка ботики срезала, и пошли дальше. Ножом срезала.

Утром нас погнали дальше. И пригнали в какой-то коровник. В Доманёвку”.

**Б. Дусман:** “*Наш эшелон прибыл поздней ночью в Берёзовку... У вагонов... стояла наклонно узкая доска... Мама моя сойти не смогла... Румынский солдат, стоящий у открытых дверей вагона, протянул ей руки и снял её на снег... Он помогал выходить из вагона и другим людям, на руках снимал маленьких детей. А рядом такие же конвойные хватали людей и бросали на снег с высоты товарного вагона. Развлекались...*

*... людей погнали в ночь, в степь, в мороз. За околицей мы должны были пересечь незамёрзший ручей ... Я упал и погрузился в воду по пояс. Мама... меня вытащила из воды... Одежда на мне мгновенно замёрзла, замёрзли ноги, а останавливаться было нельзя...*

*Я шёл и падал от усталости, холода, голода. Я усypал на ходу.*

*...Нас гнали всю ночь и первую половину дня. Первая остановка была в Сиротском, в бывшем коровнике. В каком-то закутке, где меньше дуло, мать раздела меня, растёрла снегом тело, ноги замотала тряпками и сунула себе под мышки. Моя тётка - мамина сестра была полностью деморализована и измождена. Мама её*

тоже растёрла снегом, закутала ноги и положила их себе между ногами. Так она грела нас двоих... Спать она нам не давала, чтобы мы не замёрзли.

Утром... колонна двинулась... Ходить я уже не мог. Ноги были обморожены и страшно болели... Мать тянула меня на себе... Отстающих расстреливали на месте и тут же снимали одежду солдаты, полицаи или мародёры-любители из местных жителей. Но наряду с ними к дороге подходили местные жители, в основном, женщины и приносили горячую картошку, хлеб, мамалыгу... Они меняли еду на вещи, а то и просто давали из жалости... Были случаи, когда местные забирали и уводили детей...

Мать махнула рукой проезжавшей повозке с румынским солдатом... На французском языке (у него много общего с румынским) мать начала ему объяснять, что я совсем обессилел и пусть он меня подвезёт. Солдат поднял меня и посадил в солому на повозку, а мать пригласил сесть рядом с собой и подал ей руку. Посадил ещё шесть детей и поехал... Матери этих детей шли рядом... Солдат объяснил маме, как бы оправдываясь, что он не может видеть страдания людей, у него дома тоже дети, и показал фотографию”.

“Акт № 173

Г. Одесса, 26 октября 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся... составили настоящий акт в нижеследующем:

16 октября 1941 года - в день вступления оккупантов в г. Одессу, группа румынских варваров на глазах гр. Хирика Лейб Осиповича... изнасиловали жену Любу и 16-летнюю дочь Еву, в результате чего последняя заболела острым менингитом.

12 января 1942 г. в числе многих других Хирик Л.О., жена его и дочь были угнаны в гетто на Слободку.

11 февраля 1942 г. их вывезли поездом в Березовку, а оттуда в 30-градусный мороз погнали пешком в Доманёвку.

Весь путь от Берёзовки был усеян трупами, ноги, руки, туловище, обгрызанные собаками трупы валялись в пути следования.

*Хирик Л.О. отстал от этапа недалеко от местечка Мостового и был расстрелян, а жена и дочь дойдя до местечка Мостовое как оставшие были расстреляны немцами-колонистами”.*

Из **Листов** (семья Бурингольц-Молдавские):

*“Бурингольц Ида, 70 лет. Перед отправкой в гетто села Доманёвка, т. к. она была парализована, её лечащий врач Рабинович (который впоследствии погиб) сделал ей смертельный укол по просьбе её мужа Бурингольца Ш.Р.”*

*“Бурингольц Шмуль, 76 лет, умер по дороге в гетто Доманёвка”.*

*“Молдавская Фаня, 48 лет по дороге в гетто легла рядом со своим умирающим отцом, Бурингольцом Ш. Р. и была расстреляна немцем”.*

*“Молдавский Мойсей, 53 года, умер по дороге в гетто”.*

*“Молдавская Фрида, 19 лет, была изнасилована немцем, сошла с ума, умерла по дороге в гетто”.*

*“Молдавская Эся, 12 лет, умерла по дороге в гетто”.*

**Ц. Торчинская** (из интервью): “Нас погнали в Ахмечетку 25 километров пешком... Сопровождали полицейские. На привале один из них от нечего делать забавлялся, лёжа на земле, клацал затвором ружья и, играя, выстрелил маленькой девочке в сердце. Она только успела крикнуть: “Ой, мамочка, меня убили!” и скончалась на месте”.

**С. Сушон:** “Нас погнали из Берёзовки на Доманёвку. Когда проходили Мостовое, местные жители набрасывались на людей, у которых было кашне, или курточка, или платок или что-то хорошее: “Навыщо вам оцэ потрібно? Вас же зараз будуть вбивати”. И вырывали.

Что интересно? На нашу колонну пятьсот человек было всего три-четыре конвоира. Спрашивают: “Почему вы не сопротивлялись?” Но кто мог сопротивляться? Люди были обессилевшие, полностью деморализованные. Вот представьте, где-то по дороге в лесочке привал. Эти румынские сволочи подходили, выбирали девочек, хватали и отводили в сторону. Все знают, зачем. Девочка кричит, мама кричит. И евреи все молчат! Потому что если разозлить, будет ещё хуже. То есть людей превратили в совершеннейший скот. Кроме того, была надежда, что ведут куда-то на постоянное место жительства”.

...

Ложные надежды, всамделишная трусость. Машина уничтожения строилась с умом и работала без сбоев. А тот вопрос о еврейской позорной трусости звучит по сей день. Через пол-то века, из тиши сего-

дняшней скользя взглядом в прошлое, почему бы, вправду, не удивиться раздумчиво или бездумно?

## 21. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

... Пришёл в Яд ва-Шем “Лист” из Одессы, с ул. Лейтенанта Шмидта, дом 5. Сладкий сердцу моему адрес.

Простенько-прямая улочка, маленькая, жилых кварталов с одной стороны три, с другой и того меньше - два, нестандартная, как сама Одесса, и как она, уютная, в белой и зелёной нежности акаций, утыкающих кроны в верхние этажи. И подобно Одессе в угоду времени меняющая личину.

Начиналась улица Тюремной - от тюрьмы здесь, памятью о ней, дом на углу Водопроводной улицы маячил потом табличкой с именами казнённых тут героев русского террора Халтурина и Желвакова. Тюрьму сменила Земская управа, и улица стала Земской. Революция упразднила земство - “Мы наш, мы новый мир построим” - Земская готовно переименовалась в Красноармейскую. Соответственно боевому названию после оккупации на ней пару лет не управлялись убрать с мостовой разбитый остаток немецкой бронетехники; внутри развороченной башни пацаны устроили сортир, весной его осыпала акация, вместе пахло ошеломляюще.

Позже новой прихотью властей улицу снова переименовали - в Лейтенанта Шмидта. Одесситам на ум приходил не столько революционный подвижник и тем более не пастернаковская о нём поэма, сколько жулики из ильфо-петровского романа, представлявшие “детьми лейтенанта Шмидта”. Теперь жители улицы именовали себя детьми славного морского лейтенанта. Я тоже мог бы зваться сыном расстрелянного царскими палачами героя, не прогони меня судьба с той улицы ещё в бытность её Красноармейской. Ходил по ней ежедневно в дивную послевоенную школу, где мы учились в подвале без электричества, освещаясь керосиновой лампой на учительском столе и кусками пластмассы, воткнутыми в щели парт; подождённые, они горели, треща и воняя, блики прыгали по лицам - кино Хичкока, о котором тогда слыхом не слыхали.

В четвёртый наш класс однажды посреди урока вошла-ворвалась милиция и увела самого сильного и рослого, самого почитаемого ученика - за участие в вооружённом разбое. Незаурядный, между прочим, был класс: половина учеников отличники, половина учителей - фронтовики.

В той школе меня сразу, по окончании первого же дня учёбы, побрили - обязательный обряд “крещения новенького”. Я вышел после уроков и за воротами школы попал в плотный полукруг моих новых товарищей по классу. В середине стоял низенький, с меня же ростом, шкет по кличке, я уже знал, Керекеха. Он весело спросил меня: “Стукнемся?” Я, недавно приехавший из дальней эвакуации, не успел понять, что “стукаться” значит “драться”, не успел даже испугаться, как он врзал мне в лицо, я ему портфелем по голове, он гикнул радостно и бросился молотить кулаками. Смутно вспоминаются заинтересованные лица одноклассников вокруг, искры в глазу, боль, кровь во рту... Всё окончилось быстро, потому что тогда дрались “до первой крови”, а ногами вообще не дрались и “лежачего не бьют” - наивное было время. Но я всё же был основательно помят, и прохожие, помню, приглядывались ко мне, когда я, не поспевая сглатывать слезы обиды, нёс своё обильно окровавленное лицо по родной Красноармейской.

Преходящи, однако, детские печали. Керекеха после подружился со мной, даже научил извлекать папиросы из запечатанной пачки и несколько раз доверительно брал с собой на Привоз торговать этими неполными пачками - без хлопот заработок на варёный кочан кукурузы - “пшёнку”, её, обжигающую, продавали тут же, на Привозе.

“Хлеба и зрелищ”: с папиросного промысла удавалось разжиться и на билетик в кино. Оно было тут же, на Красноармейской, от дома номер пять из яд-вашемовского Листа за два квартала, кинотеатр “Бомонд” - в имени трепетала давняя французистость Одессы с её Дюком де Ришелье, Пале-Роялем, Пассажем... Здесь впервые я увидел трофейный цветной кинофильм “Девушка моей мечты”, где нацистская кинодива задирала в танце юбку на крутых разгульных бёдрах, здесь советская сдержанно-ослепительная кинозвезда жизнерадостно маршировала “Светлым путём”, здесь творил Кадочников “Подвиг разведчика” в логове глупых и трусливых немцев, здесь резвился Тарзан...

Мы бегали сюда чаще всего без билета, то прошмыгивая в толпе зрителей, то, чаще, с другой стороны кинотеатра, через двор его, за-

полненный ожидающими очередной сеанс, - стена двора была сложена из обычного для Одессы ракушечника, податливого, удобного для выдалбливания ямок, они с невесть каких времён позволяли безбилетникам взобраться на верх стены, перевалиться через неё на крышу рядом стоящего во дворе сарайчика и спрыгнуть оттуда в сочувственную толпу, раствориться...

Архивное моё дело тихое, а какие тычутся воспоминания! Из Листа случайного, из документа пожелтевшего...

**Партийный Архив Одесского обкома Компартии Украины, фонд 92, опись 1:**

*“Акт 231*

*г. Одесса 2 ноября 1944 г. составлен настоящий акт по ул. Красноармейской д. № 17 о совершённых злодеяниях во время оккупации немецко-фашистскими оккупантами. Во время террора 23 октября были уведены в лагерь следующие гр-не:*

*Цимберг Герман Самойлович преподаватель математики, Цимберг Ася Германовна 22 лет студентка мединститута, Цимберг Маша домохозяйка, Цимберг Беба преподаватель музыки, Цимберг Лиза, Левина 70 лет старуха, Полторак Давид, Полторак мать, Полторак жена и ребёнок... Боцман - старуха 80 лет*

*Комиссия Федоренко, Шуляк, Пленская... (подписи)”*

Здесь имена для меня - дышат: и жертвы, и свидетели, о чьей жизни при румынах во дворе говорили разное. Мне за дворовыми преданиями, за фамилиями этими - лица, лица, лица...

Большая семья Цинберг - три сестры, брат Герман слепой, дочь Ася осталась в оккупации смотреть за ним...

Старуха Левина - моя дальняя родня...

Полтораки из подъезда напротив...

Шуляк - отец или мать моего дворового друга...

*“Боцман - старуха 80 лет..”*. Её сын после войны жил на первом этаже окном на двор. Дети двора шумели под его окном, и он, разгоняя, поливал их водой из помятой жестяной кружки. Мы ненавидели его, дразнили, и спорт был: крикнуть под окном Боцмана и успеть увернуться от выплеска из-за блеклой занавески.



Повспоминал я, пополоскал душу, поласкал.

И в Лист с родной улицы всмотрелся, вчитался. Погибший - Иогашоу, он же Семён, Теплицкий, двадцатилетний электрик с ул. Садовой. На фотографии красноармеец, ярко-красивый, большеглазый, крутобровый, круглая стриженная голова с весёлой на бочок пилоткой, гимнастёрка подворотничком очерчена безупречно, хоть сейчас на парад. И руки большие, сильные - ладный парень, праздничный.

Внизу Листа обстоятельства гибели: *“армия, плен, гетто”*. И приложена записка на тетрадном листе в клеточку, многократно сложенном, оборванном по краям, дырявом на сгибах, истёртом - читать трудно: *“Дорогой дядя Андрей! Я снова обращаюсь с мольбой к Вам как человеку, который знает и понимает чужое горе, лишь Вы родной дядя можете мне. Я умоляю Вас спасите меня, помогите мне в моём горе, я буквально умираю с голоду, кроме помоев я ничего не имею. Очень прошу Вас с этим человеком передайте мне что вы можете. За всё я буду молиться на Вас. Я вас умоляю хлеба хоть немного, немного сахару, муки или картошки словом что-нибудь. Может быть Вы сможете из сарая достать мои вещи, продайте хоть что-нибудь и передайте немного денег... Я просто в отчаянии родной дядя Андрей спасите меня Бог Вас вознаградит, а я буду молиться на Вас. Ваш Сеня Теплицкий”*.

Фронт, плен, гетто, голодный вопль - всё подтекло к ностальгии и подтолкнуло меня написать автору Листа, Игорю Теплицкому, брату Сени, спросить подробности. Пришёл ответ: *“Брат мой Семён... за год до войны был призван на действительную службу в армии. Накануне призыва он женился на еврейской девушке Эмме. Службу проходил в г. Самбор вблизи границы с Польшей. Был хорошим красивым парнем. Как многие в этом возрасте, писал стихи. Посылаю Вам одно из его стихотворений того периода...”*

*22 июня 1941 года он, среди других, принял первый удар немцев. Подразделение брата разгромили, а остатки потянулись в тыл. И он, по молодости и простоте душевной направился родную Одессу. Когда он пришёл, она уже была оккупирована. Не прошло и месяца, как на него донесли, что он еврей, и он с женой Эммой был схвачен и посажен в гестапо...*

*Я, командир батареи Советской армии в 1944 г. проходил рядом с Одессой, и мне удалось завернуть в только что освобождённый город. В квартире, где я жил, жили другие люди... Над нами жила до войны русская семья Стрижаков. Дядя Андрей, глава семьи, рассказал мне трагическую судьбу моего брата и передал хранившуюся у него записку... Стрижаки в сарае не выкопали вещи - в городе начались аресты тех, кто помогал евреям, и они испугались.*

*Держали моего брата на Люстдорфской дороге в здании тюрьмы... Там же за стеной арестованных заставили копать ров и всех расстреляли. Так погибли Семён и Эмма”.*

Уточнилось: не из гетто - из тюрьмы вызвал Семён. Существенно ли? А вот записка с его стихотворением...

Она, как и первое приложение, на листке из школьной тетради, только на этот раз в линейку. И тоже лист обтрепался, пожелтел, кое-где замызгался - 60 лет ему. Стихи об Одессе: *“И как не любить мне проспекты прямые, Роскошные парки, бульвары, сады, Вы все дороги мне, вы все мне родные, Лазурное небо, синь моря воды. ... За город у самого синего моря, За друга любимого, волю, за мать, За новую жизнь без нужды и без горя Готов свою жизнь без остатка отдать!* Помечено: *6 апреля 41 г. Самбор”.* Буквы со старомодным благородным изяществом, сдержанные завитушки в прописных “В”, “Р”, “Т”, “З” - чёткий, уверенный почерк.

Он разительно отличается от сбивчивых, друг на друге, строк первой записки из тюрьмы. Между листками каких-нибудь полгода, но “В” уже не вензельной каллиграфией - нервным росчерком. Судороги букв, дрожащие голодные пальцы... Изнемогающему этому человеку, еле колышущему рукой - драться? Какой силой упереться перед рвом?

А всего-то между листками полгода. Да хватило бы и пары недель, а то и нескольких дней, чтобы обратить жизнелюба, счастливо одарённого удачами женитьбы, любви, дружбы, службы армейской - обратить победного этого бойца в немощного доходягу.

И так - миллионы крепких солдат, за считанные дни немецкого плена превращённых в покорно умирающие скелеты, зыбкие подобию мужчин - они и ложились под смертную косу безвольными колосьями, и остались народной памятью не упрекаемы. Не в пример еврейским бабушкам...

## 22. ТРАНСНИСТРИЯ

**В**сюду, куда привезли евреев, их убивали. Пулей, голодом, вошью, трудом. В Березовке, в Ахмечетских Ставках, в Мостовом и рядом с ним в селе Весёлый хутор, в Маренбурге, Новосёловке, Молдавке, в Доманёвских “Горках”...

Из заявления **Н. Иванченко** в Ивановскую Районную Чрезвычайную Государственную комиссию, 28 августа 1944 года:

*“В 1942 году в марте месяце в с. Н. Петровка была препровождена группа евреев в количестве 15 человек... старики, женщины и дети. Сначала их загнали в курник, а потом... повели на расстрел. Перед расстрелом им предложили раздеться до последнего белья и в ужасе и крике расстреливали... Группа евреев были жители Одессы...”*

### Из Листов:

*“Гинзбург Израиль, 1928 г. р., расстрелян в гетто Берёзовки в 1941 г.”*

*“Каневская Рахиль, уничтожена в лагерях смерти в районе Одессы”.*

*“Славина Рива, 1900 г. р., домохозяйка, расстреляна в гетто”.*

*“Мильман Фаня, 1880 г. р., домохозяйка, умерла в гетто, 1941-42 гг.”*

*“Сорская Роза, 1924 г. р., балерина театра оперы и балета, погибла в гетто”.*

*“Финкель Мойше Дувид, 60 лет, умер от голода в гетто под Одессой”.*

*“Ханелис Лёва, 1911 г. р., румынские солдаты привязали его к лошади и гнали её пока он не погиб, такая месть евреям”.*

**Б. Шульман** (профессор, свидетельство в ЧГК, 9 мая 1944 года):  
*“Все находившиеся в концлагере “Мостовое” евреи были расстреляны местными немцами-колонистами. В концлагере “Веселиново” ограбленные догола евреи голыми были согнаны ко рву, расстреляны из пулемётов...”*

*В лагере Ахмечетка... к 10 июля 1942 г. насчитывалось около 5000 евреев. В апреле же 1943 года подсчёт показал наличие живых около 100 человек... Массовое вымирание явилось результатом голода, издевательств, побоев и убийств, бросаний в колодец... Лагерь этот носил также название “Лагерь смерти”... помещался в свинарнике, состоявшем из четырёх больших сараев без крыши, без стёкол”.*

**Д. Стародинский** (Ахмечетка): *“В лагере... в основном были так называемые “нетрудоспособные”... обречённые на голодное вымирание... Утром, когда люди хотели выйти из бараков (ночью это запрещалось под страхом смерти), полицейские не разрешали этого до тех пор, пока им не дадут какие-нибудь вещи... Люди, которым нужно было выйти по естественным надобностям, буквально прыгали от боли. Оправляться внутри барака никто не смел - это каралось смертью...*

*...Вшей было столько, что они ползали даже по земле. На мне сохранилась шёлковая трикотажная рубашка... цвет её из голубого превратился в серый, так густо её покрывали вши.*

*...подростки, борясь с голодной смертью, выходили из лагеря, чтобы раздобыть какую-нибудь пищу, но это всегда кончалось их гибелью. Я видел, как полицай застрелил ещё совсем ребёнка, выползшего через канаву, [ограждающую лагерь].*

*[В конце 1942 года] люди обитали в двух бараках... Чтобы хоть как-нибудь согреться, в бараке жгли костры, используя для топлива остатки полов и протенков. Барак был заполнен едким дымом, а люди в этом дыму казались привидениями”.*

**С. Сушон** (Ахмечетка): *“Мы... жили в свинарнике, в свиной клетке. Такой ряд клеток, проход и напротив другой ряд клеток... Клетка на свиноматку с поросятами, метра два на полтора, не больше. В нашей семь человек, в других шесть, восемь... Крики в этих клетках, скандалы: “Чего ты меня толкаешь?” Где была солома, а где кукурузные палки, на этом спали. Страшная вонь: моча свиней - это ужасный запах, просто ядовитый.*

*... Многие сырую муку ели просто так. А мы с братом между двух кирпичей сделали огонь, нашли кусок жести с краской и бабушка на эту жечь выливала тесто, получались такие оладки на воде. Без соли, без сахара, без ничего. Это был деликатес.*

Когда бабушка пекла оладки, крутился там мальчик, Аркадий Альтман. Одинокий совсем. Он был истощён до того, что у него был на щеке фурункул и оттого, что тела нет, в коже образовалась дырка, и он через неё высовывал язык. И бабушка дала брату клецеле [оладушку], и мне клецеле, и третья клецеле вроде себе взяла, но мы с братом видели, как она за своей спиной отдавала этот блинчик Аркадию.

...Мы ели ещё деликатес: воробьи, суслики. Все ямки, где были суслики, мы обшаривали. У меня долго был шрам, что меня суслик укусил, мы его выкурили из ямки”.

### Из архивов:

“Акт №7

1944 года октября 31-го дня

...Когда людей пригнали в лагерь при совхозе “Акметские ставки”, то администрация лагеря Абрамович, Мойше, Есык издевались над евреями. Раздевали, вытаскивали золотые зубы и все эти вещи меняли на продукты для себя... Люди умирали с голоду. За водой надо было ходить приблизительно за километр, людей пускали по 10 человек, а если получалось больше, то последних расстреливали. Лагерь был обнесен рвом и если заключённые пробирались за ров, то их убивали на месте... Виновники всех злодеяний: начальник лагеря Маня (фамилия не известна), которая особенно издевалась над заключёнными, Абрамович, Мойше и Есык. В последнее время начальником лагеря был Малкин, который сейчас работает в Одессе”.

**Д. Айзенберг** (1923 г. рожд., этап со Слободки): “Нас... погнали до хутора Кутузы... Прожили мы там месяца полтора...”

Приехали днём как-то две подводы с немцами-колонистами... местные русские немцы... Евреи собрались, их всех догола раздели. Немцы пересматривали, у кого хорошие вещи, искали золото, ценности и потом в другую конюшню всех сгоняли, там пересматривали снова...

...стали выгонять партию, человек так 30-40... Стало уже темновато... Нас провели к ямам и начали нас расстреливать. Я потеряла сознание и упала... Очнулась я оттого, что слышу: что-то тянут... Я не была ранена. Лежала, молчала. Они проверяли, нет ли живых среди мертвецов. Потом они ушли через какое-то время. Поднялась я и ещё какая-то женщина поднялась, девочка лет 11, она ранена была в ногу, и ещё одна девочка маленькая, 4 или 5 лет. Вот мы четверо поднялись

и стали уходить. Но куда мы ни шли, нам всё казалось, что обратно попадаем в ямы, ведь это уже была ночь.

... Шли мы до утра, когда еле-еле начало рассветать, то добрались до [села] Серацкокого.

Крестьяне нас в сарае спрятали, принесли нам покушать. И мы там двое суток пробыли пока подошёл этап из Одессы, уже другая партия, к которой мы присоединились... шли дальше.

В селе Мостовом нашу партию, уже новую, нагнали немцы и хотели убить евреев. Так вот местные не хотели нас дать... уехали немцы, а эти начали нас гнать дальше и дальше, и мы попали в Лидиевку. В Лидиевке началось то же самое, но я уже была учёная. И когда начали стрелять, я тут же упала. И когда расстреляли всю колонну в Лидиевке, я потом поднялась и ночью постучалась к крестьянке... Она меняпустила, а утром сказала: “Я боюсь тебя держать, но я выведу тебя на дорогу на Доманёвку...”

Дошла я до Доманёвки - у меня уже голова не работала. Нас загнали в какую-то школу. Там я вышла напиться воды из колонки, и в это время хватают 10 человек, в том числе и меня, - заложников, потому что там кого-то убили. Вывели нас в лес, а в лесу меня просто пожалел какой-то мальчишка, я была совсем русая такая... он меня вывел и говорит: “Мне тебя жалко стало, ты ещё такая молодая, иди”.

Из Доманёвки нас взяли на работу. Село это когда-то называлось Старое Головнёво.

Нас заставляли, например, делать такую работу: гной, который лежал по 10 лет замёрзший, заставляли чистить, лишь бы мы погибли... Кушать нам почти не давали. В Головнёве нас было 200 человек... 160 человек там умерли. Кто умер, кого забили.

Кто только хотел, тот над нами издевался... Полицейский мог у входа, там, где мы находились, проверить и если находил у нас кочан спрятанный, так он его вытаскивал и бросал короле в коровник. Вы представляете, какими глазами мы смотрели на этот кочан... Полицейский украинский, немцев там не было.

Там были румыны, они не издевались. Был даже такой румын, который стоял на кагатах. Это там, где на зиму прячут картошку - это такие ямы. Так вот он нам говорил: “Я буду стоять здесь и смотреть, и если полицейские подойдут, то я буду петь”.

**И. Сельцер:** *“Помню в лагере под Богдановкой такой случай: ночью мы выкопали из ямы сдохшую от сибирской язвы лошадь. Среди нас был врач. Он сказал, что если мясо этой лошади сначала отварить, а потом на огне прожарить, то можно его есть. Мы так сделали. С нами ел врач”.*

**Е. Хозе:** *“14 января мы дошли до Доманёвки. Вошли в бывший курятник, без окон, пол покрыт льдом с вмёрзшим навозом. Мы свалились в изнеможении на этот пол.*

*Румын-часовой у входа пристреливал всех, кто пробовал выйти.*

*Немного очнувшись, начинаем затыкать окна тряпками, у кого что есть. Кругом лежат больные, тифозные и сердечные, умирающие. Умерших оттаскивают в сторону. За неимением места и возможности выйти испражняются прямо на них на глазах их близких.*

*... Наш этап был первый, который не расстреляли, а обрекли на постепенную мучительную смерть от тифа, голода, побоев.*

*В лагере свирепствует начальник полиции бывший коммунист Казакевич. Узнав, что одна еврейка, оставшись босиком, отдала свою обувь за мисочку картошечек, он избивает её досмерти. Другая попросилась к местной в избу и в благодарность за это обшивала хозяйку - он, увидев это, выбил еврейке оба глаза, приговаривая: “Теперь ты шей им...” и прибавил соответствующее слово. Ещё двух евреев он сбросил с моста в реку и ушёл, только убедившись, что они утонули”.*

**Л. Дусман (Доманёвка):** *“Этап пригнали на площадь, на которой находилось много полицейев, вооружённых палками, резиновыми шлангами и винтовками. Командовал начальник полиции, одетый в длинную кавалерийскую шинель, в папаче. На поясе висели шашка и наган, в руке нагайка. Сидя на лошади, он показался мне, пацану, красным командиром, Чапаевым, сошедшим с экрана...”*

*...мы прожили около двух недель в ожидании смерти от пули, голода или какой-то заразы... Не могу забыть молодую женщину, мать троих детей, мал мала меньше. Она по дороге из Одессы в Доманёвку в одном из коровников на остановке родила четвёртого и оставила его на снегу. Она истекала кровью и не знала, как помочь своим детям. Кто чем мог с ней делился”.*

**Н. Красносельская:** *“Не помню, что мы там ели, в Доманёвке. Бурда какая-то... Но помню, что у бабушки был всё время понос, вы меня извини-*

те; она была кожи и кости. А у меня, девятилетней, кровоточили дёсны, зубы шатались, выпадали, по всему телу нарывы, и я была лысая.

Бабушка требовала, чтобы я всё время показывала свою лысую голову. Говорила всем, что я лысая от заразной болезни. И она одевала меня в какую-то размахайку, чтобы выглядеть как можно хуже. Как я теперь понимаю, она меня оберегала от изнасилования”.

**Из Листов:**

*“Кировская Рита, 45 лет, расстреляна в Доманёвке в 1942 г. с 13 детьми”.*

**Д. Стародинский:** *“Ко времени моего прихода в Доманёвку массовые расстрелы прекратились... Люди сотнями погибали сами.*

*Ежедневно... проводили “чистку”, выгоняли больных и ослабевших. Этим людей гнали “на горку” - так назывался барак на возвышенности на окраине Доманёвки. В этом бараке они доживали свои последние часы...*

*Это было страшным зрелищем, когда людей гнали “на горку”. Они понимали, что оттуда возврата нет... Люди не хотели идти, сопротивлялись, как могли, но их гнали, избивая палками и прикладами. ... Крики озверевших полицейав смешивались с воплями обречённых людей”.*

**Л. Рожецкий** (мальчик в Доманёвском гетто; из книги “Позднее эхо”):

*“Я хочу вам напомнить  
о крошечном пятнышке  
на карте мировых злодеяний -  
о детях Доманёвки...  
...в гнойниках и коросте,  
с выпирающими ключицами  
и вздутыми животами,  
с огромными глазами на треугольных лицах -  
они жадно глотали пищу,  
хватая её руками  
прямо из мисок,  
и тут же отрыгивали её...  
Они не могли удержать ложки*



*в худых как плети руках”.*

**Л. Дусман** (Малахово-Александродар): *“Моя тётка договорилась [в Доманёвке] с председателем сельсовета села Малахова, и он нас берёт на работу, т.к. она и мать медработники и всего один ребёнок-подросток. Председатель сельсовета Петро Кудря... забрал 10 евреев: маму, меня, тётю Раю, семью Перчуков 4 человека, женщину с дочкой 11 лет и старика-сапожника... Нас поместили в комнату сельсовета.*

*...Пришли двое мужчин... Один из них назвался немцем-колонистом Аккерманом, а другой учителем и директором школы Бильоновым. Румынские власти поручили им надзирать за нами. Бильонов назначил Перчука нашим бригадиром.*

*...У меня обмороженные ноги, руки и уши страшно болели, и не было обуви. Я еле ступал из-за болей в ногах, они стали синевато-фиолетового цвета и очень распухли. Мать каждый день растирала их снегом, несмотря на нечеловеческую боль...*

*В конце февраля 42 г... Бильонов приспособил к работе и меня. Я должен был заниматься ловлей сусликов, носить воду и заливать в норки, чтобы выманить зверька. Я ходил босиком и был очень слаб, а он заставлял набирать полное ведро и бегом нести его к норке по острым промёрзшим кочкам или стерне. Трудно передать эти муки. Тем же промыслом занимались сельские ребята... Бильонов постоянно указывал им на меня: “Вот видите, как жида работают. Они умеют только обманывать и пить кровь с православных”. Если я разливал по дороге воду, он бил меня и заставлял набирать заново.*

*Но я хочу рассказать о людях, благодаря которым мы всё-таки выжили. Пётр Молдаваненко, его сестра и родители всячески старались нам помочь, подкармливали... Мою мать, опухшую от голода, они поили молоком, и благодаря этому она смогла выжить... У неё загноилась нога, в ране появились белые черви... И простые люди, фамилии я, к сожалению, не помню, приносили ей марганцовку для промывания, травы, чтобы прикладывать к ране. А еврей Перчук выгонял её в таком виде в поле и смеялся над ней, когда она вынуждена была стоять на одной ноге, поджав другую от боли.*

*В середине марта к матери подошёл староста села Дивомид Иванович Москальчук и очень вежливо спросил, не согласится ли она,*

*чтобы я пошёл пасти свиней... Я стал пастухом. Меня кормили три раза в день... Я стал поправляться...*

*Доброй памятью хочу вспомнить и жену Москальчука Параску, и полицая села, и семью Кузьменко, Кудрю и других, помогавших нам в годы войны”.*

В Доманёвке и окрестных сёлах, по данным С. Борового, уничтожено 116 тысяч евреев - одесских, а также бессарабских, буковинских, румынских. Одесситов выжило всего 600 - из 120 тысяч, захваченных оккупацией. Полпроцента...

### 23. ДОМАНЁВКА

**П.** **Великанова-Никифорова:** *“Доктор Гродский очень тяжело переживал действия против евреев. Он стал организовывать множественные передачи в гетто, которые разносили разные русские женщины, то своим друзьям, то детям, которых они растили, то соседям, знакомым...*

*Врачебный престиж д-ра Гродского непрерывно возрастал, об этом можно было судить по количеству больных, преимущественно офицеров, румын и немцев, в приёмной перед его кабинетом. Все деньги, которые он зарабатывал лечебной практикой, он тратил на передачи. Один раз я стала невольным свидетелем факта полного опустошения его заграничного портмоне при выдаче денег носителям завтрашних передач.*

*Я жила в двух кварталах от его квартиры. Когда перед вечером он снимал белый халат, я с удивлением убеждалась в том, что он носит одни и те же брюки, старые туфли, одну из трёх рубашек и постоянно очень тёмный галстук. Кухарка, готовящая в его квартире еду, мне поведала, что доктор и его супруга не только чрезвычайно экономят деньги на еду, но и не покупают никаких вещей.*

*Во время второго значительно более страшного похода против евреев после создания гетто на Слободке спасительные дела доктора усилились и стали более тайными. Остались три-четыре женщины, ежедневно получающие какую-то сумму денег для передач в гетто”.*

**А. Подлегаева:** “Однажды, когда нас не было дома, по доносу соседей пришли румыны с обыском и забрали свекруху. Я с Теряевой стали её искать, но её уже отправили в концлагерь в Мостовое.

... Мы поехали в Мостовое. Но там её уже не было. Её сожгли со многими, как там сжигали. Сгоняли в сараи евреев, обливали сарай бензином и сжигали...

Когда мы вернулись домой, к моему дому подъехали дрожки и там сидел красивый мужчина, похожий на Ленина. Это был Гродский Константин Михайлович. Он представился и объяснил цель своего приезда. Он не сказал нам, откуда он узнал, что мы были в Мостовом, но просил поехать ещё туда и в Доманёвку, где тоже был концлагерь. Гродский сказал, что в Доманёвку попали много видных врачей Одессы.

Он очень просил нас отвезти туда помощь узникам.

Я с Теряевой согласилась. Поехали мы туда как спекулянты. Наша первая поездка обошлась нам очень дорого. Мы отдали много вещей, которые не можем преобрести и теперь взамен.

Увидев все ужасы, которые происходили в Доманёвке, мы думали больше не ехать туда. Но выслушав нас, Гродский убедил нас, что если не помочь этим людям, они все погибнут. Он сказал: “Все расходы беру на себя”.

Гродский всё своё состояние отдал на спасение евреев. А его жена Надежда Абрамовна носила в поясе юбки зашитый сильно действующий яд. В случае её арестуют - отравиться”.

Гродский обеспечил себя свидетельством о крещении, повесил в квартире икону. Еврейство жены маскировалось караимским паспортом; для надёжности разрушили памятник её отцу на Еврейском кладбище.

**А. Подлегаева:** “В концлагере был профессор Адесман. Он передал с нами Гродскому письмо, где просил помочь, и дал записку к своей медсестре, у которой хранились его вещи и фамильные ценности, мешочек с бриллиантами. Встал вопрос, как доставить ему эти ценности.

На наше счастье комиссар сигуранции Кодря и вся его семья была больна сифелисом.

*На нашей улице жила молодая женщина [видимо, еврейка], которая сожительствовала с Кодрей и он наградил её сифелисом. Я её познакомила с Гродским, который лечил её. Спасая её и двоих её детей она попросила нас обратиться от её имени к комиссару сигуранции, чтобы он помог нам спасти её. Таким образом мы стали с Кодрей знакомы. Я этой женщине отдала свои документы церковные и он помог ей уехать в Бендеры. Вспомнив это я пошла к нему на приём с просьбой помочь мне поехать опять в Доманёвку и найти своих друзей. Я сказала, что мы можем познакомить его с известным профессором Гродским, который его вылечит. Кодря познакомился с Гродским и тот лечил всю семью: жену и двое душ детей. Так у нас стало тесное знакомство с нужным человеком. Гродский попросил его сделать для нас двоих пропуск для поездки в Доманёвку за продуктами. Кодря, узнав, что я сидела в тюрьме в 1937 году как дочь врага народа, а отец мой расстрелян, пообещал помочь. Он дал мне и Теряевой справки, что мы работаем в сигуранции секретными агентами.*

*Гродский забрал у медсестры Адесмана мешочек с бриллиантами, вручил ценности Теряевой, а она отдала их Адесману. Адесман отдал генералу, как его фамилия не знаю. Этот генерал приказал прекратить сжигание людей...*

*У нас на Слободке, к сожалению, были и плохие люди. Видя состоятельных евреев, они якобы рискуя жизнью, брали на жительство к себе в дом. А через неделю выдавали их полиции, оставляя у себя их ценные вещи. Узнав об этом, я давала этому комиссару адрес, он шёл и забирал там ценные вещи, отобранные у евреев. Я Гродскому об этом сказала. Кодря хотел делиться со мной, но я решительно отказалась, таким образом он делал всё, что я просила. Мы ездили в Доманёвку 2 года, каждые два месяца. Комиссар был не глупый человек. Он понимал, что мы ездим спасать людей. Он сказал мне: “Шура, никогда не везите при себе никаких записок, чтобы я мог спасти вас в случае поимки”.*

*Когда румынов эвакуировали с Одессы, я пошла к нему домой попрощаться, он мне сказал “Шура, вы очень хороший человек, будьте осторожны, в Одессе теперь будут немцы”. Я ему была благодарна, что он меня не предал и не посадил. Он сам был против уничтожения евреев и вообще людей”.*

В Доманёвку добирались поездом до Вознесенска.

**П. Домберг** (из свидетельства в Яд ва Шем): *“[Подлегаева и Теряева] ездили на открытых платформах. Порой под брезентом, где немцы возили танки на фронт. Как-то раз их засёк молодой немец, который сопровождал эшелон, но, к счастью, среди них были и добродушные люди. Он их не выдал, не доезжая станции, высадил”.*

От Вознесенска отшагивали километры степью.

**Ю. Олеша** (из книги “Ни дня без строчки): *“Я шёл... в Доманёвку. Дорога пересекала степь от моих стоп до горизонта. Вблизи дороги стояли полевые цветы самых разнообразных размеров, формы, окраски... Всё это жгуче благоухало почти ничем - воздухом? далью? Небом?”*

*В воздухе стояли и даже как бы летали задним ходом стрекозы. Трепет синих стеклянных крыльев, собственно, и был воздухом степи. Иногда большая, невероятная стрекоза оказывалась на мне. Её хвост трещал на моём плече, скрипел - скрюченный, похожий на растительный стручок, хвост. Я успевал увидеть... глаза-капли, возможно, видевшие и меня. Стрекоза улетала и летала рядом со мной - казалось, стоя в воздухе, как бы упираясь лапками, чтобы не лететь.*

*Я шёл в Доманёвку купить карамели”.*

Степь, тьма.

Летом: треск цикад, мешки на натруженной спине, ломит плечи, пот. Зимой: позёмка, стужа под ватником, под платком шерстяным... Осенью дождь, ноги тянет, чавкая, липучий чернозём присасывает сапог, каждый шаг рвёт нутро. И что те огни вдали? Там смерть? разбой? насилие?.. Две молодые бабы, хлеб в котомке, одежда нужная - всё добыча для лихого человека, а мирного вряд ли встретишь. Тиха украинская ночь, не к добру тиха. Но в гетто ждут.

Идут две женщины сквозь степь, раз идут, и другой, и десятый, двадцатый... С февраля 1942 г. по март сорок четвёртого ходили, больше двух лет.

**П. Домберг:** *“Так они, рискуя жизнью, приходили на базар. Одна продавала вещи, умышленно завышая цены, чтобы не купили, другая*

*проникала в концлагерь и передавала деньги и вещи людям, чтобы их поддержать. Хитростью и изворотливостью ума они достигали нужной цели, спасали многие жизни”.*

**А. Подлегаева:** *“Многих жизней я спасла, просто не возможно всё описать. Я это делала по зову сердца.*

*Есть у нас такие людишки, которые написали на меня в КГБ, что я работала с румынами и даже жила с комиссаром сигуранци. На допросе меня пытались уговорить, чтобы облегчить свою участь. “Скажите, что вы жили с комиссаром. Не бойтесь, мы за это не судим”. А я ответила: “Я вас не боюсь. О моих делах с комиссаром спросите у профессора Гродского. А о сожигательстве возьмите мою кровь на анализ. У комиссара вся семья болела сифилисом 4 креста”. Это был первый работник КГБ, который покраснел. А я от политики ушла навсегда”.*

**М. Фельдштейн:** *“Мы прибыли в Доманёвку... Нам удалось сообщить Подлегаевой и Теряевой наш адрес, и они обе начали к нам приезжать раз в два месяца и чаще под предлогом того, что они что-то покупали и продавали в Доманёвке на рынке. Они сами жили впроголодь, но всегда привозили нам продукты...*

*Разрешение на проезд в Доманёвку им давали в Одессе. Приехав в первый раз к нам, они познакомились с одесситами и наладили связь между ними и их бывшими соседями, которым оставили свои вещи. [Подлегаева и Теряева] собирали там зимние вещи евреев, проносили каким-то чудом через патруль и передавали людям в лагере, спасая от холода. Они покупали за свои деньги самое ценное - хлеб, запекали в хлеб записки и проносили его в гетто, чем подвергали свою жизнь смертельной опасности. Большей помощи, чем в тёплой одежде и еде, трудно себе представить, но они кормили нас и “духовной пищей”. Они привозили новости с фронта... Такая информация поддерживала наш дух.*

*Мы также оставили у них свои вещи, и они всё нам возвратили, сохранили врачебный диплом мужа, что было очень важно.*

*Они помогали многим, всех имён я не помню. Это длилось долго-долго, до освобождения Красной Армией.*

*...Я никогда не забуду того, что А. Н. сделала для нашей семьи, её активной доброты и милосердия. Спасибо за то, что есть и такие люди на свете”.*

**Из отчёта жандармерии Транснистрии, январь 1942 г.:**

*“Сосредоточение евреев в Транснистрии вызвало обеспокоенность у местного населения в связи с тем, что этим евреям понадобится много продуктов. Эти волнения небезосновательны, так как в местах размещения евреев цены на продукты значительно поднялись”.*

А Теряева с Подлегаевой отдают последнее...

**А. Подлегаева:** *“Справка сталинская мне очень помогла, все румыны и даже немцы считали меня своим человеком. Когда я приехала в Доманёвку с документами немки, притворялась как фашистка, была грубая, резкая. Но детей трудно обмануть, лагерные дети любили меня, бежали ко мне и кричали: Шура, Шура, здравствуй! А я на них кричала грубо: “век, век, шинель!” (Это всё что я знала по-немецки). Тогда дети бежали радостно домой и говорили: “Шурочка приехала”.*

*А на площади стояла голая девушка и кричала: “Да здоровует товарищ Сталин!” Румыны её не трогали, считали её божим человеком. Но увидив меня, она улыбалась, делала воздушный поцелуй и говорила: Привет, Шурочка! Имея вещи для лагерных, я хотела дать ей платье, но она говорила: не надо, Шурочка, так мне лучше. Была ли она на самом деле сумасшедшая, не знаю”.*

**А. Тетеревятникова,** дочь А. Подлегаевой: *“Мама Жени Хозе, Татьяна, она зубной врач, имела в Доманёвском гетто кабинет. В один из приездов моя мама зашла в тот кабинет. А за ней идёт полицией, он заподозрил что-то. Татьяна говорит маме моей: “Шурочка, в кресло! Быстренько!” И стала ей как будто рот смотреть. А полицией вошёл и не уходит, проверяет. Татьяна как будто нашла больной зуб. А тот следит, будут лечить или нет. И моя мама сказала: “Рвите!”. Татьяна и вырвала ей здоровый зуб. Мама приехала, показывает мне дырку: “Вот зуб потеряла”. И смеётся. Это ж моя мама, Господи!..”*

## 24. ИЗ ПРОШЛОГО

В 1821 г. в Стамбуле турки убили греческого патриарха. Тело привезли хоронить в Одессу. Греки - местные соперники евреев и прибывшие матросы - пустили слух, будто стамбульские евреи подстрекали тамошних турок против христиан. В ответ похороны патриарха завершились погромом одесских евреев. Начали греки, к ним присоединились русские казаки и солдаты. Грабили еврейские дома и лавки, громили синагогу. Зачинщиков не обнаружили, наказанных не было. Погром, согласно последовавшей легенде, прекратился благодаря заступничеству перед властями местной еврейки Бейли - одесский вариант библейской Эстер.

Тот погром 1821 года - исторический для России: первый. А. С. Пушкин, тогда свидетель местной жизни, зорко отметил в дневнике пристойное поведение евреев при похоронах патриарха, но о погроме ни слова не уронил. То ли внимание гения отвлекали светские похождения, то ли евреи были ещё недостаточно заметны. Но с годами их роль в городе росла, греки рвались в драку почти на каждую Пасху, а евреи щетинились всё жёстче, уже и в театре споры о спектакле перелёстывали в рукопашный скандал - любой повод годится, когда сердце печёт... В 1859 году греки повторили опыт еврейского погрома. Позднее греческий запев подхватил славянский хор.

В середине 70-х годов благополучие Одессы нарушили недород зерна, соперничество других портовых городов, а особенно американцы, сбившие мировые цены на хлеб. Стихал порт, в городе закрывались банки. На смену хиреющей торговле одесситы, кто порасторопней, разворачивали промышленность - прибавлялось в городе рабочей массы, обездоленной и взрывчатой. До борьбы с эксплуататорами-хозяевами эти люди ещё не дозрели, зато евреи, извечные злодеи христианского мира, всегда под рукой.

В 1871 г. разразилось. Накануне православной пасхи, с утра обнаружилось исчезновение креста с ограды греческой церкви. Крест снял для ремонта служитель церкви, но то выяснится позднее, а пока: "Кому украсть, кроме евреев?" И на следующий день толпа погромщиков ринулась праведной местью отмечать Светлое Воскресение Христово. За 4 дня было убито шестеро евреев, 21 ранен, разгромлено больше ты-



сячи домов и магазинов. Из газетного отчёта: *“В первый день Пасхи после обеда избили многих евреев на улице и разбили стёкла во многих домах... На другой день с утра нападение возобновилось ...*

*На двух главных базарах - Старом и Новом... разбиты все еврейские лавки, уничтожены или растащены. Половина Ришельевской улицы покрыта подстилкой из пуха от подушек и перин... Были и убийства...*

*...Дома русских тоже не все пощажены, особенно где живут евреи... Тысячи семейств проводили ночь в смертельном страхе, на голых полу, в домах без стёкол и ставней, иногда и без дверей, не имея чем укрыться, слыша свист и шум несущейся по улице толпы, звон стёкол, разбиваемых в окнах соседей”*

Бушевали без оглядки - власти укротили толпу только на четвёртый день, до того их в городе словно не было. Евреев, помнивших защитную руку губернатора Строганова при погроме 1859 года, это поразило. А появление среди громил “чистой публики” - сытых, благополучных сограждан? А отклики в прессе? Либералы, свободолюбцы - в их числе, как водится, евреи-самобичеватели - нашли оправдание погромщикам в еврейском притеснении христиан, в завидном успехе еврейских богачей. Революционеры, пробудившиеся в семидесятых годах, ещё зорче мягкотелых журналистов высмотрели в погромах справедливую борьбу с эксплуататорами трудящихся. Куда ни кинь - всюду клин. Евреям всегда грезилась спасительная роль всеобщего просвещения и слияния евреев с русской культурой, но евреи сливались, общество просвещалось, а погромы шли своим чередом. И когда революционеры в 1881 г. убили царя Александра Второго, потрясённый народ в Одессе отозвался очередным еврейским погромом 3-5 мая того же года.

Страсти подогрела антисемитская пресса, загодя убедив: сверху позволяют “бить евреев”. Правда, власти на этот раз оперативно подавили беспорядки. 600 погромщиков загнали на баржу и отбуксировали в море. Заодно прихватили в кутузку полторы сотни членов еврейской самообороны (между ними студента В. Хавкина, будущего спасителя мира от чумы и холеры). Самооборона, несмотря на полицейские преследования, спасла от разбоя часть городских кварталов. А начали вооружённое сопротивление погромам одесситы ещё в 1871 году, в России опять же первыми.

За погромом 1881 года последовал погром в 1886-м, затем в 1905-м.

Тогда, после проигранной японцам войны и расстрела царской властью рабочей демонстрации в Петербурге, по стране полыхнул огонь революции. Опалило и Одессу.

Одессу кормил порт. Не видный сверху от театральной площади, где храмом и знаменем города возвышался оперный театр, порт весело сверкал огнями из-под Николаевского бульвара и там, внизу, таил тёмные страсти неимущих трудяг.

*“Город соединялся с портом узкими, крутыми, коленчатыми улицами, по которым порядочные люди избегали ходить ночью. На каждом шагу здесь попадались ночлежные дома с грязными забранными решёткой окнами, с мрачным светом одинокой лампы внутри... Было много пивных, таверн, кухмистерских и трактиров с выразительными вывесками на всех языках и немало тайных и явных публичных домов, с порогов которых по ночам грубо размалёванные женищины зазывали сильными голосами матросов... Где-то на чердаках и в подвалах... ютились игорные притоны, в которых штокс и баккара часто кончались распоротым животом или проломленным черепом...*

*Здесь буйные обитатели редко подымались вверх в нарядный, всегда праздничный город с его зеркальными стёклами, гордыми памятниками, сиянием электричества, асфальтовыми тротуарами, аллеями белой акации, величественными полицейскими, со всей его показной чистотой и благоустройством” (А. Куприн. “Гамбринус”).*

В Одессе 1905-го года бастовали рабочие, громоздили баррикады, на Пересыпи казаки стреляли в бунтовщиков. В июне к городу подошёл восставший броненосец Черноморского флота “Князь Потёмкин-Таврический”, в порту бурно митинговали, социал-демократы и евреи из партии “Бунд” звали команду сойти на берег и примкнуть к рабочим, моряки не решились, но дважды бабахнули из пушки по Оперному театру, к счастью, мимо.

*“Вечером... решили пойти в парк и оттуда с обрыва глядеть, что будет твориться в порту...*

*Толпы... зрителей сидели всюду вдоль обрыва... Ночь была горячая и тёмная...*

*... Вдруг толпа кругом загудела, сотни рук протянулись куда-то вниз: там понемногу расплывалось огневое пятно, и оттуда же, спустя мгновение, поднялся... ликующий рёв.*

*- Это они склады у элеватора подожгли, - резко проговорил Алексей Дмитриевич, - а радуются... Я вам ещё днём сказал... что вся шпана перепьётся и станет безобразничать. Освободители...*

*... подошёл Серёжа, только что снизу... Он подтвердил, что в порту ещё с захода солнца шибко текёт монополька [водка]; уже давно, махнув рукою, подались обратно в город обманувшиеся агитаторы, “а то уж ихних барышень хотели попробовать вприкуску”; нет уж и матросов ни с “Потёмкина”, ни с торговых судов и дубков - все поховались на палубы. Склады подожгли при нём и радостно, с кликами “вира помалу”; и ещё поджигают. Уверены, что скоро начнётся пальба... но что ж - нехай, за то хочь побаловались.*

*Силуэт позади вдруг меня тронул за плечо и поманил пальцем: Мотя Банабак... Помня меня ещё с самообороны [её одесские евреи организовывали после Кишинёвского погрома в 1903 г.], он, очевидно, решил именно со мной поделиться самым, что его, человека бывалого, горше всего задело:*

*- Скажите вашим: зекс [тревога!]. Чтоб опять раздавали трещотки [оружие]; бу оны там, вы знаете, что галдят? За жидов галдят, холера на ихние кишки” (З. Жаботинский. “Пятеро”)*

Гася революционный пыл, царь издал манифест о новых правах народа. Прокатились торжествующие демонстрации. И в Одессе - городе портовом и торговом - взбаламученная толпа приветствовала дарованные свободы. Среди них свобода разбоя. Галдёж “за жидов” крепчал.

*“На весь город опустился мрак. Ходили тёмные, тревожные, омерзительные слухи... Город в первый раз с ужасом подумал о той клоаке, которая глухо ворочалась под его ногами, там, внизу, у моря, и в которую он так много лет выбрасывал свои ядовитые испражне-*

*ния... А на окраинах в зловонных каморках и на дырявых чердаках трепетал, молился и плакал от ужаса избранный народ божий, давно покинутый гневным библейским богом, но до сих пор верящий, что мера его тяжёлых испытаний ещё не исполнена.*

*Внизу около моря, в улицах, похожих на тёмные липкие кишки, совершалась тайная работа. Настежь были открыты всю ночь двери кабаков, чайных и ночлежек.*

*Утром начался погром” (А. Куприн. “Гамбринус”).*

Новые свободы объявили 17 октября 1905 года, толпа ответила завтра же, 18-го. Погром покатился с Дальницкой ул., затем из порта в город поднялись организованной колонной рабочие и служащие, растеклись по улицам, вступили в дело. Евреев били изуверски, как никогда прежде. Дома и квартиры, лавки и магазины потрошились дочиستا. По улицам стелился пух перин, липла кровь, слепило битое стекло. Ревели громилы, вопили жертвы. Беглецов из города настигали на дорогах, в поездах, топили в море. Власти не слишком мешали. Слабая самооборона, еврейская молодёжь да считанные русские студенты из идеалистов, наспех и тайно от властей организовавшиеся заранее, ввязывалась в безнадежные стычки с толпами патриотов, воодушевлённых водкой и безнаказанностью. Пятьдесят членов самообороны погибло. Погром в городе и окрестности бушевал пять дней. Итоги подвела полиция: всего убитых 500, из них 400 евреи; раненных тоже сотни. 50 тысяч человек стали бездомными.

(Но евреям надо было жить, и они окорачивали память, унимали её даже и до анекдота: “Рабинович - громилам: “Возьмите всё, только не трогайте дочь!”. Дочка: “Папа, не вмешивайся!.. Погром есть погром”<sup>4</sup>. Одесский юмор знаменитый...)

Попустив прокрутиться погрому, взялось начальство наводить порядок, но и то по-своему: ввели в Одессе военное положение, сохранив его до 1909 года. Городское управление оказалось в руках антисемитов-черносотенцев из “Союза русского народа” и градоначальника генерала Толмачёва. Евреев стали теснить официально, бесконечными штрафами, и самодеятельно, хулиганскими нападениями на улице, разбоем и грабежом.

## 25. БЕЗ ЕВРЕЕВ

М учились неумехи царские, изводя евреев, маялись черносотенцы - нацистская же власть, бодрая, боевая и деловая, мигом-махом решила проблему. После истребительной кампании в Одессе официально находилось лишь 54 еврея, в основном, буковинские - специалисты, обслуживавшие оккупантов. Их заперли в здании гетто на проспекте Гитлера - так теперь, после имени К. Маркса, звалась Екатерининская улица с нацистско-столичным шиком.

До чего замечательной стала Одесса! “Одесская газета”, без устали объяснявшая горожанам зловредность евреев, 13 декабря 1942 года восторгалась: *“Вошли в город румынские войска... И еврейский гвалт умолк. Одесса стала залечивать свои раны и счищать многолетнюю советско-жидовскую грязь. Терпкий, противный запах еврейских загаженных дворов стал выветриваться. Одесса стала пробуждаться [так!] к новой жизни, полной светлых надежд. Это была просыпающаяся красавица, которая находилась в страшной летаргии среди нечистот и кровавых оргий еретиков.*

*...Вы идёте по улице и слышите перезвон колоколов, напоминающий вам о том, что есть ещё горный мир, чуждый всяких пакостных дел человеческих отбросов”.*

Сколько лет о том мечталось, и вот она, наконец, жизнь без человеческих отбросов, горный мир, перезвон колоколов...

Освободившиеся от евреев квартиры многим одесситам облегчили жилищную проблему. Да не только с жильём стало лучше: награбленное еврейское добро очень оживило торговлю - сотни новых магазинов и лавок предлагали что угодно душе от стоптанных туфель до антиквариата.

Развернулись дельцы, спекулянты перерядились в коммерсантов, выиграл звон монет, на мёд легковсходящих богатств слетались жульё и бандиты. Традиции оживали.

Воровалось весело, и мелко, и крупно. Налётчики, “бомбя” магазины, не заминались при убийстве хозяев и сторожей. Грабители, квартиру известного адвоката чистя от денег и драгоценностей, попутно распили все запасы спиртного. Смешочки, хохмочки... На улице “трусили фраеров”: пацан приставал: “Дядь-тётъ, подай сироте!” - и

как не дать, ведь запросто сзади пальто ножичком чикнет или сумку срежет. На Садовой в коммунальной квартире, при чутких соседях одна из жиличек исхитрилась: привела к себе родственника и ночью его зарубила, расчленила, приволокла со двора бочку, в неё затолкала родственные куски. Дело вскрылось, попало в газеты, горожане восхищённо ужасались, а миг спустя смаковали новость про воровство колёс с автомобилями прямо посреди бела дня, посреди улицы, для прохожих вроде бы ремонт - подводят домкрат, ключом гаечным раз-раз и ваших нет!.. Кругом подмётки на ходу рвут. На рынке мужик, потаённо придыхая, предлагал купить на дрова краденый телеграфный столб...

Отсутствие советских запретов раскрепостило быт. Повеселела улица, улыбались прохожие, острили кондукторы в трамваях: - Мадам, почему с передней площадки? Там только инвалидам ход. Шо? Беременная? Вы гляньте на ту беременную! Ну и шо, если живот? Я следую вас ещё с до войны, у вас пятнадцать месяцев живот.

Трамвай хмыкал, хохотал, лихо визжал на поворотах, осыпал себя гроздьями фиолетовых искр из-под проводов, на спусках забивал нос гарью, пища и скрежеса на песке, его на ходу вагоновожатый, нажав на педаль, через трубку подсыпал под колёса для торможения. Снаружи на железном боку трамвая висела гирлянда безбилетников; стоя на планках, ограждающих низ вагона, ухватясь (лихачи даже одной рукой) за выбитые рамы окон, они нагло пучили бесстрашные глаза на грозный оскал кондуктора и нежно прижимались к вагону, минуя близко стоящий столб. Самые бойкие прыгивали перед столбом и, обежав его, снова прилипали на своё место.

А внутри вагона, в проходе среди пассажиров, ухватившихся от качки за треугольные, сверху, петли, мог объявиться некто молодой, несуразно высокий, с узким лицом между длинными, почти до плеч, сальными космами, и глядя поверх голов, похоронным голосом воззвать: - Граждане, встаньте!

До того убедительно, что, повременив в оторопи, вставали все, до стариков, вот и одноногий у переднего окна, страшась оккупационных строгостей, вытянулся, цепляясь за спинку кресла, костылём подпёршись. Звякнул смятенно кондукторский звонок, водитель, глянув через зеркальце в затихший салон, сбавил на всякий случай ход. А тот, в проходе, обвёл пассажиров тусклым голубым глазом, взглядом мёрт-

вым, без надежды, и торжественно, гулками паузами разделяя слова, возвестил, как отбил колоколом: - Мы проезжаем мимо дома, где живёт мой друг Константин Разбегайло!..

И - подумать только! - успел пройти между ошарашенных пассажиров к свободной передней площадке и соскочить на медленно утекающие камни мостовой. Никто не опомнился врезать паршивцу. Взъярились было: “Какая нахальства! Сдохнуть от наглости! Хохмач дешёвый!” - но тут же колыхнулись ухмылки. Надо же, разыграл! А шо, не будьте фраерами...

Одесса, прежняя лёгкая Одесса. На Привозе опять набивалась толпа - как прежде говорили, “негде в обморок упасть”. Базарные торговки, надев белые халаты, встречали покупателей давно забытой вежливостью.

- Та шо ж вы стесняетесь, голубонько, берить пробуйте сметану, крепкая, дывыться, нож у середке стоит, как у того бычка, шоб вашему дитю здоровье такое було...

- Визьмить кавун, серденько, сахарный, аж у роти липко...

- Кому туфли, чистая кожа, только в интеллигентные руки отдаю...

- Дыня сладкая, как мёд, и вареня с ней текёт!..

Евреи были и исчезли, остались от них вещички да ужимающиеся воспоминания, да старые анекдоты, осовремененные: “Сталин послал Кагановича в разведку. Тот вернулся и докладывает: “Впереди село. Танки пройдут, а пехота - нет”. - “Почему?” - “Там такие самошечие злые собаки”. В прежней хохме про Сарочку, мечтающую об изнасиловании при погроме, русских погромщиков заменили румыны - “или румын не человек?”

Уличный музыкант с гармошкой ублажал прохожих украинской “Розпрягайте, хлопци, коней”, русской, от довоенного хора Пятницкого, “И кто его знает, на что намекает” или вненациональной “Осмотрел он её со сноровкою вора, Осмотрел как козырную масть, И прекрасная Нина, эта дочь прокурора, Отдалась в его полную власть”. Еврейское ничего не пелось - отзвучали одесские евреи.

...Город был весел, и небо сверкало, солнце плавилось в море, выпрыгивающем белопенно, море качало дальние корабли и ближние лодки и оглаживало пляжи, кипевшие телами и лёгкими страстями.

Добрые старые возвращались времена. Одесса - “копия Парижа” обогнала оригинал по проституции: здесь ложились под клиентов каж-

дая восьмая женщина, а в хвалёной французской столице разврата - только четырнадцатая. В царской России Одессу с её двадцатью тремя тысячами проституток по их числу один только Санкт-Петербург опережал. Советская власть, давая вольности, к 1935 году практически извела проституцию: одних девочек накормила, других перевоспитала, третьих выслала. Румыны же - для себя и местных весельчаков - открыли десять борделей, сверх того выдали сотни разрешений отдельным труженицам секса, а всего стало их в городе чуть не четыре тысячи. (Евреи когда-то, в 1881 году, держали 28 из 38-ми городских публичных домов; и вот, пожалуйста, в этой игривой коммерции тоже без евреев отлично обходились).

Засверкали ночные рестораны, закрутились в кино экзотические японские фильмы, наполнились восемь городских театров. Выступали бывшие русские эмигранты: в театре замечательный комик Вронский, в кабаре певец П. Лещенко. “Не забывайте меня, цыгане, прощай мой табор...” и “Вьётся, вьётся чубчик золотой” - пели лещенковские одесситы на улицах, а кто посерьёзнее мог насладиться концертом любимого тенора В. Селявина. Он руководил Оперным театром, ему даже дозволили сохранять жену-еврейку. Зато запретили оперу “Демон” крещёного еврея А. Рубинштейна, пластинки с её отрывками изъяли.

Среди прежде запретных плодов объявились в новой Одессе лекции по русской религиозной философии, сборник стихов Н. Гумилёва, доклады по истории в “Союзе офицеров русской императорской армии” (и такой возник). В оперной лепоте гремели патриотические песни хора казаков, которые воевали вместе с немецкой армией. На сцене наибольшим успехом пользовались комедии вроде “Тётки Чарлея” или антисемитской “Пять франкфуртцев” и развлечения с пением и танцами.

Пять газет и шесть журналов тешили и просвещали одесситов. 800 студентов обучались в Академии изящных искусств и консерватории, да в университете, который поспешили открыть уже в январе 1942 года - 1605 слушателей.

Властям Транснистрии хотелось видеть свою столицу в светском глянце; европейский облик города тому способствовал, жидовское зловоние замещалось чистым духом румынской культуры, добавить ещё развлечений и, глядишь, выйдет почти как Бухарест. Поэтому в Академии искусств запретили говорить о художниках-евреях, но



зато организовали выставку современной румынской живописи, показали исчезнувшие при советской власти конструктивизм и супрематизм... В университете преподавателей обязали разъяснять величие румынской науки и культуры. В марте университет присудил губернатору Александру почётное докторство, вероятно, “за заслуги в удовлетворении духовных нужд населения” - именно так обосновывалась ещё одна награда Александру, от римского папы Пия XII, вручённая ему приехавшим в Одессу из Бухареста папским нунцием.

**А. Лебединский** (свидетельство в ЧГК, май 1944 г.): *“Во всех школах был введен румынский язык, для пропаганды румынского языка и культуры был открыт Румынский народный Университет, в “Одесской газете” помещались материалы об истории Румынии под заголовком “Наша Родина”... ставились многочисленные доклады румынских экономистов и историков, печатались статьи и брошюры, имевшие целью доказать, что Одесса - в сущности, румынский город (чуть ли не по недоразумению попавший к русским!!), что русская литература сложилась под румынским влиянием и т.п. вздор. Местных молдаван переименовали в “локальных румын” и создали для них “Культурное общество румын в Одессе”.*

*...во главе всех газет и журналов стояли румыны...*

*Ни в одно учреждение нельзя было обратиться на русском языке... Многие чиновники-румыны (бессарабцы), прекрасно владевшие русским языком, принципиально не желали говорить по-русски с посетителями, буквально издеваясь над ними... Каждое прошение или заявление нужно было перевести на румынский язык (не у всех были деньги для оплаты этого”).*

**Н. Соколов** (доцент Одесского университета, показания ЧГК 30 апреля 1944 г.): *“В конце ноября 1941 г. из Бессарабии и Румынии нахлынула в Одессу толпа... бывших одесских коммерсантов, успевших за 20 с лишним лет румынизироваться. Эти лица приехали для розыска своего имущества... Ими-то и стали замещаться русские чиновники... Однако и эти лица к концу декабря стали заменяться уже румынами, как говорили тогда, из “регата”. Началась усиленная румынизация... русские надписи на табличках с названиями улиц были заменены румынскими; при этом ул. 10-летия Красной Армии преврати-*

лась в ул. “Короля Михаила I”, Софиевская - в “Митрополичью”, ул. Бебеля в ул. “Муссолини”...

...с июня во всех учреждениях появились на штатных должностях переводчики, которые одновременно... служили в сигуранце. Так была установлена слежка за русскими начальниками учреждений. С июля 1942 г. русские чиновники уже составляли меньшинство...

[Румынский Директор Культуры проф. Т. Херсени] грубо и резко заявил декану [историко-филологического факультета], что он протаскивает “советские дисциплины” (это история России, русская литература, история Украины и проч.).

...В самом разгаре сезона помещение Украинского театра было отнято у него... Автору, читавшему историю изобразительного искусства... было запрещено упоминать даже о художнике Левитане, скульпторе Антокольском и особо указано - не касаться Тараса Шевченко... В керамической мастерской Академии искусств было запрещено выработывать и окрашивать кувшины, вазы и проч. в украинском стиле”.

Когда потом, после войны, Шимек вернётся из узбекской эвакуации, безукоризненно круглый отличник, ему учительница украинского языка влепит двойку в табеле за первую четверть года. Позор Шимек переживал до бессонницы, до икоты нервной. Маялся, зубрил, дотянулся за год до четвёрки. На всю жизнь врубилось в мозг из Евгэна Грэбинки “пустуюче дурнэ ягня само прыбылося до рички напытыся водычки... аж суне вовк такый страшэный та здоровэный”, а та же русская басня знаменитого Ивана Крылова - забылась начисто. Вот какую любовь к украинской “мове” привила Шимеку та учительница!

Её звали Сарра Соломоновна Фрадкина.

А маленького довоенного Шимека его друг душевный дворник Петро обнимал, вздыхал с ласкою: “Ото ж инде ле яке гарнесенько, шоб мне с того места не сойти” - по-одесски валил в одну фразу еврейские, украинские и русские слова.

Город считался интернациональным. (Погромы словно не в счёт.)

“Десять племён рядом... одно курьёзнее другого: начали с того, что смеялись друг над другом, а потом научились смеяться и над собою, и надо всем на свете, даже над тем, что болит, и даже над

*тем, что любимо. Постепенно стёрли друг о дружку свои обычаи, отучились принимать чересчур всерьёз свои собственные алтари, постепенно вникли в одну важную тайну мира сего: что твоя святыня у соседа чепуха, а ведь сосед тоже не вор и не бродяга; может быть, он прав, а может быть, и нет, убиваться не стоит*” - такова у **Жаботинского** (“Пятеро”) Одесса начала двадцатого века.

Однако в том же романе описывает он погром 1905 года, который, как и прошлые, 19-го века погромы, несколько темнит лазурную картину межнационального братства. Но кому хочется вспоминать дурное? На одесском небе взаимотерпимости отсверкивали русские и еврейские звёзды: Пушкин, Менделеев, Чайковский, Мечников, Бялик, Дубнов, Шолом-Алейхем - сколько великих побывало в одесситах! А сколько помельче?..

Германия, Франция, Россия, Тора, идиш - натекали струи, сливаясь в чаше Одессы. И вот: сперва еврейское, под корень, а вслед славянское, с оглядкой, но неуклонно - всё под один жернов. Примитив недочеловеков с их Бяликом, Пушкиным и Шевченкой должна была заменить великая румынская культура, культура всех культурней, ибо вдруг выяснилось прямое родство румын с древними римлянами. Не случайно губернатор Александру обожал именно Вергилия.

Румыны разбирались в культуре. Точнее: разбирались с культурой. Когда одесские воры в погоне за редкой коллекцией штурмовали Музей западного и восточного искусства и по водосточным трубам на крышу, оттуда через чердак внутрь, вниз, в залы, вскипающие лепкой и позолотой, влетели - то: ах, мать твою! пусто! голо! смитьё на полу, обскакали румыны, обчистили всё, суки, к себе упёрли!..

Начальник областной полиции Велческу, отправивший всех евреев в гетто, заодно не забыл вывезти из Одессы *“громадное количество дорогой мебели, ценнейшие библиотеки, антикварные вещи, меха, картины Рембрандта, Репина, Васнецова”* (из справки ЧГК). Полковник Велческу - не Сарра Соломоновна, ревнительница “мовы”.

Румынские хозяева прибирали к рукам что только можно. В феврале 1944 г. на камнерезательные предприятия Бухареста поступил 831 кубический метр мраморных плит с еврейского кладбища Одессы (среди них надгробие С. Фруга). Руководители сигуранцы настолько увлеклись грабежом, что сами румыны их посадили в тюрьму.

После освобождения Одессы, в январе 1945 года городская комиссия итожила оккупацию города. Уничтожены около 50 школ, в том числе знаменитая музыкальная школа Столярского с концертным залом и богатой библиотекой. Вывезены в Румынию полмиллиона экспонатов Историко-археологического музея стоимостью 7 миллионов золотых рублей, весь Музей Революции, на три миллиона рублей золотом ограблен Краеведческий музей. Из школ, библиотек, клубов, квартир текли в Румынию картины, скульптуры, мебель, книги, музыкальные инструменты... Областная библиотека потеряла почти 150 тысяч томов. Из Оперного театра оккупанты утащили реквизит, костюмы и ноты, а здание театра - из лучших в мире - заминировали, только паника бегства помешала взорвать.

Где, спрашивается, римляне и где румыны?

Рим: цезари, котурны, центурионы меднолобые, патрицианки нежнобелые, Колизей - великолепие империи. А в Одессе весёлый трамвай, казачий хор в оперном театре, мамалыга, свобода торговать и сигуранца.

**А. Воловцева** (медсестра, заявление в ЧГК, май 1944 г.): *“Во время вражеской оккупации мы [с матерью Сандун Марией Антоновной] были арестованы за укрывательство у себя в квартире еврея Заксмана Александра...”*

*Заксман был обнаружен за платяным шкафом во время обыска агентом полиции Червинским... Несмотря на наши мольбы пощадить нас Червинский был неумолим, приставив к нам охрану из двух агентов, бывших с ним, пошёл в полицию заявить о своём открытии... Двое агентов, приставленных к нам, очевидно боясь оставаться в квартире, вышли во двор. Я этим воспользовалась и запрятала Заксмана в отверстие, сделанное высоко в наружной стене нашей квартире, эта стена выходила в тёмный коридор.*

*Через три четверти часа к дому подъехала грузовая машина с отрядом полиции, обыскали нашу квартиру и весь дом. Ничего не нашли. Меня и маму повезли в полицию. Отвели в подвал... Вызвали нас на допрос. Набросились на меня с кулаками и площадной бранью: “Куда жиды девала? Мы тебе покажем, как жидов прятать! Будешь там, где все жиды”. [Мать освободили, указав адрес, куда ей нужно немедленно идти, а] меня под конвоем отправили в тюрьму...*

*Когда мама явилась по указанному ей адресу... её приняла женщина, которая назвала себя адвокатом военно-полевого суда Фёдоровой. Фёдорова учинила маме допрос: прятали ли еврея и куда он девался. Записав мамины показания, она сказала, что это дело обойдётся в 2 тысячи марок - "я вам помогу в этом деле".*

*Первую тысячу марок она велела принести назавтра... Вторую тысячу марок Фёдорова разрешила внести через неделю частями по 500 марок, так как мама жаловалась, что ей очень тяжело давать такие деньги и в такой короткий срок... надо продавать вещи. Фёдорова велела маме приходиться к ней через день на допрос и всякий раз выматывала душу, запугивала, если у вас кого-либо обнаружат, вы будете осуждены.*

*Через месяц, т.е. 1 сентября 1942 г. меня выпустили из тюрьмы, но Фёдорова меня в покое не оставляла, велела так же, как и маме, через день или два к ней являться на допросы. Она мне заявила, ваше дело должен ещё разбирать генерал, вас могут ещё судить, тогда мы вам также поможем... Вообще это дело нам стоило ещё тысячу марок.*

*Не прошло и 2-х недель, как нас снова арестовывают и отправляют в жандармерию. Здесь с нами расправились по-зверски, били ногами, о стену головой, железным прутом по голове... Через 2 дня нас измученных освободили. Через месяц снова пришли за нами из полиции, но допросив освободили.*

*Несмотря на все эти пытки и переживания, нам удалось спасти Заксмана, дожидаться наших дорогих освободителей..."*

*Ублажая горожан, румынские власти пойманного на взятке чиновника водили напоказ по городу в кандалах и с надписью на груди "Взяточник". Чиновник был украинец, о румынах вслух не полагалось.*

**А. Лебединский:** *"Никакое, даже самое законное обращение в какую-либо инстанцию не давало результата, если не подкреплялось взяткой... Были "таксы" - за проступок можно было откупиться в полиции у агента марок за 300-500, у комиссара за 1-1,5 тысяч, если дело уже пошло в суд - то у прокурора за 5-6 тыс. марок; грабитель... отпускался за 10-15 тыс. марок, убийца - за 20-50 тыс. марок в зависимости от тяжести улик. Комиссары и прокуроры брали взятки... за*

то, чтобы арестовать и держать в тюрьме кого-либо. В частности, за мой арест украинские национал-шовинисты дали 15 тыс. марок прокурору военно-полевого суда... который должен был из этой суммы отдать часть своему начальнику-генеральному военному прокурору... за то, чтобы посмотреть текст моих показаний те же националисты заплатили переводчику 500 марок... “Передаточной инстанцией” для взяток служили переводчики при прокурорах. Роль адвокатов сводилась также к тому, чтобы передавать взятки прокурорам, в зависимости от чего “дело решалось” (процесс суда... был чистой формальностью)”.

**А. Дьяконов** (адвокат, заявление в ЧГК, май 1944 г.): “Как метод работы по всем судебнo-следственным учреждениям румын царилa взятка... Когда летом 1942 года Центральная Сигуранца возбудила против меня дело за укрывательство евреев, ведший дело комиссар Ионеску взял взятку за более мягкие выводы в заключении по делу. После этого дело перешло в Военный Суд и попало к следователю (прокурору) Атанаску, который арестовал меня и взял взятку у моей жены за благополучный исход по делу, что в действительности и произошло. Во время моего ареста как подозрительного в марте 1942 года была уплачена взятка комиссару Сигуранцы Грекулу за проведение в комиссии моего освобождения.

Секретарь Суда Зембрияну взял с меня взятку за ликвидацию дела по доносу на меня инженера Панкратова о том, что я советский прокурор и в своё время обвинял его.

...По рассказу Брейтбарта [сидевшего вместе с Дьяконовым] и его жены они уплачивали крупные взятки полицейским за то, что они не трогали их как евреев и за деньги даже учинили им в паспортах надписи, что... в действительности они караим и русская.

Прокурор Буду брал деньги за освобождение от высылки в гетто евреев (признавая их не евреями) и за продление времени пребывания на Слободке до выезда в Берёзовку”.

**Е. Хозе:** “Александр Васильевич Дьяконов - один из талантливейших адвокатов, высоко эрудированный человек лет 50, до войны увлекался музыкой, выступал на любительских сценах с сольными концертами (Шопен, Лист и др.).

*Когда Одессу заняли фашисты, они объявили конкурс на руководство городскими адвокатами - "баро" из трёх человек. Городские адвокаты выбрали из своей среды лучших специалистов, в том числе А. Дьяконова. Никаких антигуманных преступных действий они не совершали, отказаться от должности не могли. Эта их работа помогала облегчать положение преследуемых. Всё делалось конспиративно и в глазах несведущих имело вид сотрудничества с нем. властями.*

*Во время войны он и учительница Недина Зинаида Ивановна посылали деньги и вещи из Одессы в Доманёвский лагерь раздетым голодающим евреям... Они сберегали данные им [евреями] на хранение вещи и передавали их по первому требованию владельцам в гетто через связных А. Подлегаеву и Н. Теряеву. А. В. Дьяконов и З. И. Недина сопровождали материальную помощь письмами, полными заботы, сочувствия к узникам, ненависти к оккупантам и веры в скорое освобождение. Этим они поддерживали морально. Если бы записки были обнаружены, авторов могли бы расстрелять.*

*А. В. Дьяконов в обычном советском паспорте химическим веществом вытравлял слово "еврей" и, подделывая почерк, подбирая тушь, вписывал "караим". Глубокой экспертизе документы не подвергались, и участь этих людей была спасена.*

*Вы понимаете, чем всё это грозило А. В. Дьяконову. А между тем наши "органы" его посадили и выслали на 10 лет, несмотря на хлопоты и многочисленные показания его подопечных. А. В. Дьяконов был в ссылке почти все 10 лет и только после возвращения был реабилитирован. Вскоре, в 1954 году он умер".*

Нетрудно предположить, что караимский паспорт жене Гродского сделал Дьяконов. Он вполне мог оказаться за столом Гродских, ибо есть сведения, что был с ними знаком, да и жил на улице Подбельского, поблизости и от Гродских, и от Хозе, матери которой Т. Хозе-Другач именно такой спасительный паспорт и выправил.

И определил себе Александр Васильевич тюремную судьбу посреди цветастого балагана румынской Одессы.

**"Одесская газета", 1942 год:**

20 января. Статья “Большевизм и иудаизм”: “Иудаизм должен быть искоренён и человечество обезвредит этого коварного, действующего подкупом и ядом, врага”.

29 мая. “20 мая в зале Одесской консерватории состоялся концерт, посвящённый 102 годовщине со дня рождения Петра Ильича Чайковского... Программа заключала в себе жемчужины из богатого наследия Чайковского. Камерная инструментальная музыка была показана двумя частями изумительного квартета № 1, анданте которого заставило зарыдать Льва Толстого... В центре же внимания... был, конечно, профессор В. А. Селявин... Прекрасная школа, благородная манера пения, проникновенная интерпретация и безукоризненная дикция большого и опытнейшего мастера - всё это восхитило слушателей, устроивших ему овацию”.

5 июня. “Вышла из печати брошюра С. Урбану “Еврейская опасность”. ... Правильно подчеркнул автор, что Талмуд является не религиозным учением... а специально-политическими установками, направленными на разложение всех других народов”.

20 июня. “Военное командование обращается к населению г. Одессы с просьбой сообщить о местонахождении нижеперечисленных разыскиваемых евреев: Ферайх Бурих, 22 лет, сапожник, Нежинская 32, Литвак Владимир, 51 г., сапожник, Ришельевская 76, Голдин Изер... Гуднер Хаим... Голгейм Григорий... Кремжецкий Айзик... Лица, знающие что-либо об этих евреях, должны сообщить о них письменно, опустив заявления в ящики, установленные Военным командованием в местах, указанных выше в нашей газете”.

#### **Из Листов:**

“Рейзеров Юрий, 1913 г. р., выдан немцам сокурсником по институту, расстрелян в августе 1943 г.”

“Гринфельд Лёва, 1928 г. р., школьник, пришёл попросить хлеб домой, где жил, расстреляли у ворот”.

“Медведовская Маня, 1923 г. р., пряталась в русской семье, но за несколько дней до освобождения города была выдана дворником дома и убита”.

Дворники - профессионалы предательства. Но и в несметной их рати - Гудкова.



*“В районную Комиссию... по расследованию злодеяний...  
дворника д. 73 по ул. Воровского Гудковой*

*Заявление*

*...Жильцы дома № 73 по ул. Воровского Краснянская Ольга и Полина и с ними ребёнок были сперва взяты в тюрьму, а потом с приходом наших их измученные трупы были опознаны среди гор трупов на Стрельбищенском поле... Ребёнок был очень сильно ко мне привязан, и я прошу, чтобы всех тех, которые виноваты в гибели невинных людей понесли ответственность, которую заслужили.*

*Гудкова”*

*“Одесская газета”, 22 августа 1942 г: “Сообщение военно-полевого суда... Слушались два дела о сокрытии семей евреев Еленой Капитенко и Екатериной Евицкой... Подсудимые были настолько заинтересованы в сокрытии еврейских семей, что, даже не располагая материальными средствами, делились с ними последними крохами, содержа их в течение многих месяцев. Суд приговорил Евицкую и Капитенко к 3 годам тюремного заключения каждую”.*

*Разная, выходит, текла в Одессе жизнь. ///*

## **26. ПРОТИВОТОК**

**В** 1944 г., войдя в Одессу, советские дознаватели составили злую **Справку о состоянии проверки и изучения работы подпольных организаций и партизанских отрядов в гор. Одессе:**

*“В период с июля по сентябрь 1941 г. Одесским Обкомом КП(б)У было подобрано и оставлено для подпольной работы в тылу врага 190 человек коммунистов...*

*Для руководства подпольной работой... были оставлены: ПЕТРОВСКИЙ - бывш. секретарь Воднотранспортного РК КП(б)У и СУХАРЕВ - бывш. секретарь Ильичевского РК КП(б)У...*

*На третий день после вступления румыно-немецких оккупантов в г. Одессу секретарь подпольного Обкома КП(б)У ПЕТРОВСКИЙ был арестован румынской контрразведкой... через некоторое время освобождён... Фронтальной разведкой и органами НКГБ установлено, что Петровский оказался предателем, который дал все сведения в сигу-*

*ранцу о подпольных организациях... в результате большинство коммунистов было арестовано и многие уничтожены...*

Парторганизация Ильичевского района г. Одессы (секретарь ПЛАТОВ)

*С первых дней вступления румын в Одессу второй секретарь РК КП(б)У МУХА сбежал...*

*Большинство коммунистов... явились на регистрацию в полицию, в результате многие были арестованы, в том числе и Платов. Как сейчас установлено, Платов оказался провокатором. ...Платов арестован органами НКГБ.*

Парторганизация Кагановичского района г. Одессы

*Секретарь РК КП(б)У ШЕЛУХА за день до вступления румын в г. Одессу - сбежал, забрал с собой ценности, оставленные для парторганизации. Коммунисты оставшись без руководства, почти никакой работы не проводили. Часть из них пошла на регистрацию в полицию, а часть была арестована...*

Парторганизация Ворошиловского района г. Одессы

*Секретарь райкома партии КЛОЧЕК... никакой партийной работы не проводил... В октябре 1942 г. оставил организацию на произвол судьбы, а сам со своей связной Шмидт уехал из Одессы в Савранский район и там жил в колхозе до освобождения..." (Партийный Архив Одесского Обкома компартии, фонд 91, опись 1, дело 6).*

*В неразберихе послефронтной, в гебешном пылу разоблачительства поди разбери теперь, где тут правда, где напраслина... Одно ясно: подполье советскими властями создавалось загодя бездарно, суматошно, к примеру: оставленные партизанить евреи уже из-за внешности своей зачастую были обречены.*

*В том же архивном фонде 92, опись 1 хранится "Справка о Сойфере Роберте Михайловиче", подписанная Б. Сорочинским, который сидел с Сойфером в румынской тюрьме:*

*"С Сойфером Р. М. я встретился в 1943 г. во время пребывания под следствием..."*

*Сойфер Р.М., еврей... До войны работал в Одесском университете заместителем декана историко-филологического факультета.*

*После начала войны областная партийная организация дала ему поручение создать в районах области материальную базу для парти-*

занского движения... не то склады продовольствия, не то склады оружия.

Когда он это поручение выполнил и явился в первых числах октября 1941 года в Обком партии, он спросил, где и как он должен устроиться на время оккупации в Одессе, поскольку он должен был остаться для подпольной работы в городе. Он рассчитывал, что пока он готовил работу на одном участке, кто-то другой подготовил для него соответствующие условия для работы. Но... ему предложили устраиваться самостоятельно.

Всё его имущество... заключалось в демисезонном пальто и поломанном браунинге без патронов. Квартиры у него не было.

Когда румынские войска вступили в город, он выбросил оружие в уборную и стал искать убежища. Случайно он знал адрес работницы буфета в Обкоме партии... и устроился у неё. Выходить на улицу он опасался, так как по внешнему виду легко можно было определить его национальность. Но какую-то работу он делал, об этом я могу судить по тому, что при аресте у него было найдено оружие (кажется, наган), кроме того он имел связи с другими участниками борьбы...

Арестовали и его, и его квартирохозяйку... Ему при допросе сломали левую руку... Его приговорили к расстрелу.

В тюрьме его здоровье значительно ухудшилось (у него, кажется, был туберкулёз). После приговора его поместили в одиночке, где он лежал на койке, не вставая...

Так как Сойфер Р.М. не мог ходить, он был очень слаб, солдаты понесли его на сетке кровати на кладбище, где и расстреляли.

Он вёл себя стойко и мужественно, как подобает коммунисту”.

Лежат в архиве и десять страниц густой машинописи:

### **“ОТЧЁТ**

работы на оккупированной территории гор. Одессы

от буфетчицы О[бластного] П[артийного]  
К[омитета] ЕЛИСЕЕВОЙ Н[ины] О[сиповны],  
проживающей по ул Серго № 90

...Я оставаясь на оккупированной территории, изъявила по личному своему согласию, чтобы у меня находилась конспиративная квар-

тира, где встречались тов. ПЕТРОВСКИЙ с СОЙФЕРОМ и кроме того тов. СОЙФЕР проживал у меня на квартире с 16 октября 1941 г. по 14 апреля 1943 года. Пришёл ко мне тов. СОЙФЕР 15 октября 1941 г. вечером... он просил разрешения находиться у меня, так как ему больше нигде находиться, а потом его устроят.

16 октября 1941 г. вступила немецко-румынская армия. Появились румыны и на наших улицах. Мы увидели, что они по дворам ходят и забирают мужчин... Тогда я говорю [Сойферу] - ползайте в погреб и там в углу есть большой ящик, прячьтесь в него.... Румыны заглянули в погреб, постояли, что-то говорили... ушли. Так прошла первая встреча благополучно.

...Обыски были очень часто, прятался он в квартире... и никто не знал о его местопребывании кроме тов. ПЕТРОВСКОГО и его связной тов. КАГАЛЬСКОЙ... у меня даже родной брат не знал, что у меня скрывается человек... Был один раз такой случай, румыны вошли искать оружие... но я успела проскочить в тот угол, где он был спрятан там стоял умывальник и они должны были его открыть, я сама успела выбросить оттуда учебники детские и тряпки и этим самым я прикрыла его руки и ноги в пяти сантиметрах от ноги румына и спасла и себя и его... я не знаю, что у меня внутри происходило, но я чувствовала, что в каждой части моего тела билось сердце...

[Для случаев, когда в квартире оказывался посторонний, а Сойфер сидел в укрытии в соседней комнате] была приобретена кошка, я поднимала шум с котёнком, я разговаривала с кошкой, конечно, обращаясь к нему... эта кошка была такая дикая, она никого и знать не хотела, только меня и его...

...КАГАЛЬСКАЯ долго не приходила, а когда пришла, начала жаловаться, что она была больна и никто даже не пришёл её проведать, что ей сейчас очень тяжело материально и что ПЕТРОВСКИЙ дурака валяет имея деньги и никому не даёт лишь бы ему было хорошо. СОЙФЕР сказал, что наверно он не может их взять так как... там получилось предательство... вы хотя бы продукты имеете, а я вот остался без ничего в чём стою, это всё, если бы не Нина Осиповна, то меня бы наверно уже и в живых не было, так как я больной, да ещё и без пищи, хорошо, что она даёт поесть и переодеться и тоже нужно подумать что-нибудь продать, да и продавать-то нечего... СОЙФЕР сказал ей что надо подчиняться ПЕТРОВСКОМУ, его слово есть за-

кон, и если ему, т.е. СОЙФЕРУ ПЕТРОВСКИЙИИ сказал, что нельзя выходить из дому, так он подчиняется и как ты думаешь, что мне не хочется подышать свежим воздухом, а я сижу.

... ПЕТРОВСКОГО я видела в марте 1942 г., потом связь прекратилась, он сказал, что я не могу ходить больше, за мной следят, а ты Нина Осиповна не стесняйся, закрывай Роберта на ключ и уходи себе куда нужно. Я говорю, Вы же обещали, что Вы его переведёте на другую квартиру. Нет, он должен находиться здесь... на вот у меня есть 25 марок возьми, а я ещё пришло... но это только было на словах, денег я больше не получала от ПЕТРОВСКОГО, а жить нужно было. ПЕТРОВСКИЙИИ ровно год не приходил, КАГАЛЬСКАЯ тоже не приходила.

...в сентябре месяце [1942 г.] появилась другая связная МОЙСЕЙЧИК... она пришла от ПЕТРОВСКОГО, сказать, что он жив здоров... она сказала, что с КАГАЛЬСКОЙ всё порвано: она оказалась предательницей.

... ПЕТРОВСКИЙИИ пришёл ко мне в марте 1943 года... СОЙФЕРУ он разрешил выходить и просил, чтобы СОЙФЕР достал денег у своих друзей на канцелярские нужды. СОЙФЕР достал... три тысячи марок...

[В марте 1943 года] ночью... пришла КАГАЛЬСКАЯ с тремя комиссарами и двумя агентами Сигуранцы, постучались в двери, мы ещё не спали... СОЙФЕР по обыкновению спрятался... Открываю двери... [Спрашивают], Роберт есть, а я говорю, нет, нету, тогда она обращается к комиссарам, войдите прямо в эту дверь. Осветили комнату, где он спрятался... Его забрали в кухню, а меня оставили в комнате и начали спрашивать, где находится СОЙФЕРА оружие, я отказывалась, что у него нет оружия... а КАГАЛЬСКАЯ настаивала, что оружие есть и чтобы я сказала. Я всё равно отказывалась, а в это время его в кухне обыскивали и тоже спрашивали за оружие. Он тоже говорил, что никакого оружия нет. Комиссар меня спросил, зачем мне его покрывать, всё равно они знают, что он еврей, что у его паспорт переделанный, что он оставлен для подпольной работы, всё мы знаем, зачем вам скрывать. Я возражала и говорила, что я ничего не знаю. И КАГАЛЬСКАЯ стояла и говорила, чтобы я ничего не скрывала.

...СОЙФЕРА увезли... а я осталась в домашнем аресте с одним комиссаром-агентом и КАГАЛЬСКОЙ. ...у меня мысли были как бы уничтожить письмо написанное ПЕТРОВСКИИИ по заданию в район и

вот воспользовавшись когда агент прилѣг на кушетку и стал его одолевать сон, я вошла в комнату где он спал взяла на комодѣ письмо... вошла в кухню... Я лежала и обдумывала, как бы уничтожить шифр, карточку от паспорта и разные подделанные печати... это удалось выкрасть, а теперь надо уничтожить. На другой день я попросила разрешения сварить чай, мне же нужно было спалить письмо, оно было очень громоздкое. Растопив плиту, я незаметно положила его... Оно было такое толстое, что не хотело гореть. Шифр я съела, карточку и печати бросила в дворовую уборную... Днѣм мне задавали всё те же вопросы об оружии о ПЕТРОВСКОМ, и вообще о всех работников обкома, не вижу ли я кого, я говорю, что в городе не бываю и что вообще все работники были забраны на фронт...

Ночью приехали комиссары и ещё спросили, не знаю ли я где находится оружие, я сказала, что не знаю, взяла с меня честное слово и тогда сказали шофѣру, чтобы он поднял доску в пороге и достал оттуда револьвер, а мне [комиссар] говорит, как вам не стыдно, Вы старая женщина и не хотели сознаться. Вы моя мать, мне тяжело поднять на вас руку, одевайтесь и пойдѣте с нами, часа в два ночи мы уехали на Слободку. По приезде меня обыскали и повели на допрос, который был задан в отношении письма, я не успела ответить, только сдвинула плечами, как меня ударили в зубы, сломался один зуб, пошла кровь и следующий удар. Я разозлилась и говорю, что я не знаю, что вы от меня хотите, где письмо, которое лежит на комодѣ под сахарницей, я переспросила: письмо? а он меня опять ударил, разбил губу, я отвечаю: письма я не видела... Они начали ругаться и по-русски и по-румынски, избili меня до потери сознания и нагайкой, ногами футболили как мяч, облили с ведра водой и опять начали меня спрашивать, а где дневник СОЙФЕРА, я сказала не знаю, тогда позвали СОЙФЕРА и начали спрашивать, что это было за письмо и что там было написано и... стали бить меня, тогда СОЙФЕР сказал, она не виновата и не знает содержания, а дневник, он говорит, там не было ничего, чтобы кого интересовало, я его от скуки писал, а потом взял и спалил. Ты врѣшь и давай его бить, меня вывели за дверь, а когда ему поломали руки в трёх местах железной палкой, меня ввели... со злости, что им не попало письмо начали меня таскать за волосы и опять резиной бить по рукам, ногам и по голове. СОЙФЕР говорит, не бейте её, она не виновата, я вам уже всё рассказал.

...Ночью меня снова взяли на допрос. [Следователь] привѣл жандарма с резиной и [моего арестованного] племянника, скажи, Сеня, твоя тѣтка была членом партии, он говорит, я не знаю... так ты нам

*врётся в глаза и озверевший как дикий зверь набросился и начал избивать рукояткой револьвера в грудь, в спину здоровыми башмаками на ногах, бил меня по ногам, сколько я ему не говорила, что он мальчик и не знает ничего, он всё равно рычал как зверь и избивал, а потом когда я ему сказала, ну всё равно, бейте сколько влезет, вы свою мать тоже бьёте, тогда он заставил жандарма бить меня резиной по рукам, я тогда перестала совсем говорить. [Потом] повёл меня в подвал, где находились трое мужчин и я одна, со словами: “Ты лучше не заслуживаешь, завтра посчитаемся, я вытяну у тебя” и через несколько минут я потеряла сознание, что было дальше со мной, я не знаю, мужчины рассказывали, что они боялись за мою жизнь... Прошло две недели, шеф ходил по камерам и сказал, что меня переведёт в женскую камеру, так как мужчины говорили, что каждый день мне становится плохо, здесь нет воздуха... он на третий день после разговора перевёл меня...*

*В августе нас перевели в тюрьму, там уж никого не били...*

*Потом был суд 10 ноября 1943 г. и мне дали срок в полтора года, СОЙФЕРУ расстрел... С наступлением нашей доблестной Красной Армии меня освободили из тюрьмы... СОЙФЕРА расстреляли 29 февраля 1944 года на еврейском кладбище.*

*(подпись ”)*

Цитированная выше “Справка о состоянии проверки и изучения работы подпольных организаций...” от 1944 года отметила, что после скорого исчезновения первых подпольщиков мало-мальски действенное сопротивление начало возникать лишь в 1943 г., и то, как правило, ограничивалось пропагандистской работой, а некоторые объявившиеся после освобождения группы - “это лжепартизаны и лжеподпольщики, [которые] хотят свою бездеятельность в тылу врага и активное служение им прикриты ”подпольной деятельностью”“. Никаких серьёзных деяний подпольщиков и партизан до приближения освободительных войск в 1944 г. “Справка” не отметила, что соответствовало послевоенным воспоминаниям жителей оккупированного города: тихо было, чего, спрашивается, с румынами воевать, если живётся лучше прежнего; о партизанах, правда, разок-другой кто-то слышал, когда вдруг на церкви красный флаг появился. Об этом в “Справке”: “Винницкая Мария Филипповна, комсомолка, студентка Пединститута, в

*начале 1942 г. организовала подпольную группу из молодёжи в количестве 11 человек... Распространяли листовки... вывешивали лозунги... В исторические дни 7 ноября и 5 декабря 1943 года Винницкая вывешивала Красное знамя на самой большой высоте города - на Успенской церкви..."*

Одесса - один из пяти советских городов, за оборону от наступающих немцев удостоенных официального звания "город-герой". Послевоенные одесские власти не могли не уязвиться: на фронте, выходит, воевали одесситы героически, а при оккупации что? пригнулись овцами, без ропота? Коммунисты - всему голова, получается: они не доглядели. Или ещё хуже: румыны горожанам показались слаще большевиков? Такого не может быть, потому что не может быть.

И в 1970-м появляется книга "Одесская область в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Документы и материалы". Четверть века прошла, авторы обогатились сведениями, а с другой стороны отдалённость событий позволила раскручивать историю раскованней, удобно для партийно-пузатых князей из обкома, ищущих для Одессы партизанской славы. В книге коммунисты Одесской области организуют больше четырёх тысяч партизан и подпольщиков, они распространяют листовки, в боях убивают оккупантов сотнями, портят станки на производстве, сыплют песок в буксы железнодорожных вагонов, засылают на фронт немцам тухлую рыбу... "Почти всё население Одесщины оказывало сопротивление оккупантам" - сказано на 344-й странице; не стыдно людям в глаза поглядеть. И Петровский здесь вот какой: "Первый секретарь обкома А.П. Петровский, обманув румынских контрразведчиков и выйдя 25 октября 1941 года на свободу, стал устанавливать связи с другими подпольными райкомами партии..." (стр. 212); при аресте 21 апреля 1943 года отбивался на лестничной площадке от жандармов, пока не был ранен в руку и ногу, но и тогда пытался не даваться живым, "бритвой вскрыл он на обеих руках вены и покуснул себя по горлу. Жандармы взяли его в бессознательном состоянии и отвезли в госпиталь... До июля 1943 года, более трёх месяцев отказывался давать показания первый секретарь обкома А.П. Петровский. Это спасло жизнь многим подпольщикам" (стр. 216-7).

О Петровском здесь правда, её подтверждают румынские документы. Но последующее расширение героического сюжета - "подпольный обком партии осуществлял подбор кадров, направлял деятельность под-



*польных организаций на вооружённую борьбу и осуществлял антифашистскую пропаганду*” (стр. 218) - звучит много патетичнее истины. На странице 224 в докладе румынских расследователей дела о подпольном Одесском обкоме за ним числятся лишь пропаганда и саботажные действия, в том числе один успешный поджог заводского цеха. Книге особенно не доверишься: составители её даже широко известный взрыв комендатуры на Маразлиевской датируют 23-м октября вместо 22-го и число погибших там возросло у них с 60 до 300 (стр. 384).

Так и творилась история одесского Сопrotивления. Сойфер в книге упомянут мельком - и на том спасибо, еврейские фамилии советским историкам произносить не приличествовало. Да и откуда их взять, если согласно странице 345 той же книги из 677 партизан города Одессы евреями были только 23. Может, верно? Ведь с января 1942-го Одессу от евреев очистили под корень.

Но кто-то ведь и притаился, перелицевался: *“Военно-полевой суд, рассмотрев дело Меерзон Ривы Моисеевны, обвинявшейся в том, что она, проживая под чужим именем... вела шпионскую работу по партийным заданиям, приговорил её к расстрелу”* (Сообщение оккупационных властей, Одесский архивный сборник “Одеса у Великій Вітчизняній війні”, том 2, вёрстка).

И в “Одесской газете” от 10 сентября 1942 г. рядом с объявлением портнихи “Принимаю заказы на дамские наряды по французским журналам за 1943 год”, рекламой оперетты “Цыгане” и дивертисмента “Человек-невидимка” в Мюзик-холле: *“Одесская жандармерия, ведшая преследование террористов, скрывавшихся в одесских катакомбах, арестовала группу политических преступников этой категории в числе 25 человек.*

*Вчера закончилось слушанием их дело...*

*Суд... приговорил: Екатерину Васину, Василия Иванова, Фриду Хайт, Женю Фурман, Ивана Гринченко, Давида Красноштейна, Элика Зосовского, Дмитрия Варигу, Ивана Петренко, Харитона Лейбас, Шаю Фельдман, Ивана Неизвестного и Дионисия Семберг к смертной казни... Леонида Иванова к 25 годам каторжных работ... Марию Иванову и Евдокию Иванову - к 20 годам... Абрама Бухгалтера, Антона Бобровского - к 5 годам каторжных работ каждого [здесь некоторые имена искажены то ли газетой, то ли жертвами на допросах]”*

В списке казнённых поражает пропорция евреев, тем более, в обезвреенном городе. А это - люди из знаменитого отряда В.А. Молод-

цова-Бадаева, который после войны будет посмертно награждён званием Героя Советского Союза. В отряде было 73 человека, они воевали в городе и в катакомбах с первого дня оккупации. Весной и летом 1942 г. румыны выловили 43 бадаевца с помощью предателя, двое погибли в боях, кто-то ушёл в окрестные леса, кто-то больной после катакомб затаился в городе. Согласно той же книге про одесское подполье бойцы Бадаева *“уничтожили свыше 300 солдат и офицеров противника, пустили под откос 2 воинских эшелона, подорвали полотно железной дороги и собрали важные сведения”* (стр. 229). Верить? Кто и как считал?..

Но вот несомненно достоверное, из обкомовского Архива:

Л. Бобровский: *“Я, Бобровский Леонид Давидович, 1937 года рождения... родился в Одессе...”*

*...после взрыва здания УНКВД на Маразлиевской тысячи евреев (в том числе нашу семью и семью папиной сестры Бухгалтер Т. Л. с сыном Абрашей)... погнали в тюрьму и в ГЕТТО на Слободке. Папе удалось сбежать и скрыться в Куяльницких катакомбах, где по рекомендации ИВАНОВА В. И., которого папа знал перед войной, вступил в партизанский отряд МОЛОДЦОВА (БАДАЕВА) В.А., в связи с чем нас: маму, брата Абрашу, меня и тётю Таню с сыном Абрашей вывели из ГЕТТО в катакомбы на Куяльнике дядя Павло (Худьга Павел Корнеевич) и Яшка (Татаровский Георгий Александрович), партизанские связные...*

*Два моих брата - “ДВА АБРАШИ” стали связными между катакомбами и городом. В катакомбах было темно и сыро, освещение свечами и керосиновыми лампами, питания нехватало, я там заболел “свинкой”, не мог повернуть головой... Были ещё несколько мальчиков, которые дразнили меня “Лёнчик-пончик” и “хрюшкой”, потом с какими-то вещами посадили в тачку и мальчишки меня куда-то повезли, мой брат Абраша, который называл себя Мусиком, потому что это имя ему больше нравилось [...Николай Петрович, Николай Петрович!..], шёл за этой тачкой и как дворник махал-подметал веником. Я... от этого смеялся. Очутился опять в катакомбах.*

*После ареста семьи ИВАНОВЫХ карателями, румыны начали травить катакомбы газом, была дана команда, чтобы женщины и дети небольшими группками выходили на поверхность. Когда моя мама со мной и моим братом Мусиком ночью вышла из катакомб, нас арестовали жандармы с овчарками и на машине отвезли на Бе-*

беля 12 в жандармерию-сигуранцу. Маму мою как партизанку пытали и мучали, а потом расстреляли. Меня с Мусиком, тётёй Таней с сыном и другими евреями отправили в тюрьму на ул. Водопроводной.

Папу по партизанской кличке “АНТОН” - за его силу - и Абрашу Бухгалтер оккупанты приговорили к 5 годам каторжных работ. Мусик с Абрашей Бухгалтер пытались несколько раз бежать из тюрьмы, Абрашу тюремщики убили, а Мусик перерезал себе вены и кровью растисался МУСИК БОБРОВСКИЙ и там умер.

Папу из тюрьмы выкупил дядя Павло с каким-то высоким румыном в коричневой форме, а меня и тётю Таню Бухгалтер освободили из концентрационного лагеря - с. Амбарово Доманёвского района - тоже длинный худой румын в коричневой форме и мы с отцом до освобождения Одессы скрывались...

...Незадолго перед кончиной [в 1980 г.] папа вспоминал с особой горечью, что “ЯШКА”, самоотверженно помогавший многим в период оккупации, был [после войны] незаконно осуждён к 10 годам лишения свободы якобы за измену Родине...

В мае 1989 года кто-то из соседей передал, что к нам приходил седой мужчина, представился, что был с папой в одном партизанском отряде, и ему сказали, что папа умер...

Вечером 10 апреля 1997 года ко мне позвонил Татаровский Г.А...

17 апреля 1997 года в 11 утра... я встретил спасителей нашей и многих еврейских семей ИВАНОВУ Марию Васильевну, ИВАНОВА Александра Васильевича и ТАТАРОВСКОГО Георгия Александровича - партизанского “ЯШКУ”, встреча была радостной и незабываемой..”.

А. Иванов:

“Наша семья состояла из отца ИВАНОВА Василия Ивановича, матери ИВАНОВОЙ Евдокии Фёдоровны, брата ИВАНОВА Ивана Васильевича, брата ИВАНОВА Леонида Васильевича, сестры ИВАНОВОЙ Марии Васильевны и меня [ИВАНОВА Александра Васильевича, тогда 13-летнего], проживала в г. Одессе на пос. Куяльник-Усатово и по заданию, порученному отцу и старшим братьям, входящим в состав группы подпольного партизанского отряда... осталась на оккупированной территории... Отец ИВАНОВ В.И. (подпольная кличка “Коза”) был руководителем группы. Квартира наша была вырублена в скале известковой горной породы и имела выход в катакомбы... являлась конспиративной явкой между отрядом, руководи-

мым Молодцовым (Бадаевым) В.А., подпольной группой Одесского морского порта, руководимой гр. ВЕККЕР А.Т. и НУДЬГА П.К. (подпольная кличка “Адвокат”), а связным был парень-морячок по кличке “Яшка”...

...в конце ноября 1941 года в катакомбы через нашу квартиру стали переправлять еврейские семьи. Боеспособных направляли на базу, а стариков, женщин и детей оставляли в ближних катакомбах от нашего жилья, так как им требовалась помощь.

...мне запомнилась семья евреев БОБРОВСКИХ - дядя Давид, тётя Поля, их сыновья Абраша и Лёнчик, который вскоре заболел “свинкой” и моя мама, Иванова Евдокия Фёдоровна, забрала этого больного мальчика в нашу семью... Я и мой брат Леонид, а так же Бобровский Абраша, которого кликали “Мусик” и даже связной отряда “Яшка” дразнили больного ребёнка “хрю-хрю”. Они жили у нас долго.

В марте 1942 года “Яшка” сообщил НУДЬГЕ информацию, что на нашу семью гестапо и румыны готовят облаву, кто-то “сдал”, что Ивановы прячут евреев с Одессы... Нудьга пришёл в квартиру, а отец выслал меня во двор на “шухер”, где я увидел “Яшку”, связного. Вышел затем отец и сказал мне и Яшке, что надо взять тачку, погрузить вещи евреев, забрать детей и Иван, мой старший брат, пусть отведёт людей вглубь катакомб, Иван знает куда.

НУДЬГА, для меня он был “дядя Павло”, брат Иван и “Яшка” и я сам погрузили вещи на двухколёсную самодельную тачку, а сверху посадили несколько детей... Среди детей был и Лёнчик Бобровский, страдающий “свинкой”, заматанный платками... Евреев много было, не знаю сколько, 30-40... Вдруг Лёнчик засмеялся: его брат Абраша идёт за тачкой и подметает пыль, замечает... Подметать след от тяжёлого гружённой тачки велел отец.

Мы завели людей, завезли тачку на одну из площадок катакомб и я, как мне наказал отец, вывел из катакомб другим ходом Нудьгу и связного Яшку в сторону города. А когда вернулся через катакомбы прямо в квартиру, то во дворе увидел, что там и фрицы, и румыны, возле ворот машина крытая большая, а отец связанный и брат Иван связанный, бьют их, я увидел раненную собаку и спрятался в будке. Из будки я уже видел всё, как отца и брата Ивана повели в катакомбы, из криков понял, что надо показать, где евреи. Мать, обняв сестру, лежала на земле.

*Потом вернулись группа фрицев и румын с отцом, его били, Ивана не было. Из криков я понял, что Иван сбежал. Отца поставили под стенку, а мать и сестру, лежащих на земле, румын облил водой. Мать кинулась к отцу, за ней сестра и брат Лёня. Тогда мать и детей отшвырнули двое в гражданском, отца поставили под стену и какие-то и в форме румын и гражданские стали стрелять по отцу, а отец всё не падал. Потом подтянули к дереву, ореху во дворе и закинули верёвку, петлю одели отцу на шею, подвесили и снова опустили, дважды так делали, отец извивался, мама кричала и дети. Потом отца снова поставили под стену и потащили туда мать, она не могла стоять, швырнули к ней детей, стали стрелять по ним, но упал отец, а мать бросилась к нему, я плакал, слёзы были, заслоняли люди всё, и потом видел, как мать и детей потащили к машине, они не шли, потом отца потащили в сторону машины. Там фрицы и румыны ходили по двору, заходили в квартиру, бегали, заслоняли всё, и я плакал. Я боялся выйти, машины уехали, все ушли и сразу меня подбросило от взрыва, я ничего не понял.*

*Очнулся я в палате какой-то клиники, позже узнал, частная клиника профессора Часовникова. Меня оттуда забрал связной “Яшка” и какой-то румын, потом из яшкиной квартиры, где-то на Бебеля... меня забрал уже осенью 1943 года мой брат Иван... Я плохо всё понимал, плохо говорил, плохо слышал, с трудом вспомнил, что произошло.*

*Иван рассказал мне, что когда его и отца повели румыны в катакомбы, то он в темноте рванул в сторону и затаился, его не нашли, а отца вытолкали и вылезли все и тогда Иван побежал на базу за помощью. Когда шли к нашей хате, раздался взрыв, он завалил дорогу, пришлось как-то выбираться и они опоздали. Меня нашли скрюченного и без сознания в собачьей будке, под грудой камней и досок. И что пока я был у “Яшки” на Бебеля, Иван меня боялся часто навещать, что мне помогли Часовников, “Яшка” и какой-то румын, чуть ли не сам начальник полиции. Иван же мне и дал прочитать газету про [осуждённых] отца, мать и сестру и брата, уже когда я смог читать, что-то понимал, стал говорить. Сам себя я понимал, что стал почти психом и тщательно старался не вспоминать, не думать и не рассказывать никому, что было”.*

Среди семи десятков бадаевцев евреев было почти половина, свыше 30. Больше двадцати еврейских беглецов из тюрьмы в самые первые дни оккупации под руководством Г. Фурмана организовались в

партизанский отряд, базировавшийся в одесских катакомбах и там влившийся в отряд Бадаева.

Фамилии бадаевских евреев после войны в посмертных представлениях к наградам бывший заместитель Бадаева Я. Васин помечал “Задания выполнял безукоризненно”, “Страх не знал”, “Смелый в бою”. По его заключениям, в Одесском обкоме партии были написаны наградные характеристики. Не состоялись награды, не прозвучали громко имена, затёрлись, затерялись, пылью архивной покрылись непроглядно. А стряхнуть пыль - и вот в деле 23 архивного фонда 92, опись 1:

*“БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА*

*на бойца партизанского отряда т. МОЛОДЦОВА В.А. (Бодаева)  
ЗАСОВСКОГО Илью Григорьевича*

*Тов. ЗАСОВСКИЙ И.Г., 1920 г. рождения, еврей, беспартийный. Участвовал во всех боевых операциях отряда. Расстрелян оккупантами 24/Х-42 г. Проявил себя как подлинный патриот Родины. Представлен посмертно”.*

*“БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА*

*на бойца партизанского отряда т. МОЛОДЦОВА В.А. (Бодаева)  
ЛЕВЕНСОНА Харитона Аркадьевича*

*Тов. ЛЕВЕНСОН 1915 г. рождения, еврей, беспартийный. До Отечественной войны работал в НКГБ. Оставлен по спецзаданию.*

*Принимал участие во всех боевых операциях, проводимых отрядом, а также доставал для отряда продукты питания и доставлял в катакомбы. Расстрелян оккупантами 24/Х-42 г. Представлен посмертно”.*

*“БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА*

*на бойца партизанского отряда т. МОЛОДЦОВА В.А. (Бодаева)  
ШЕМБЕРГА Дионисия Александровича*

*Тов. ШЕМБЕРГ Д.А. 1915 г. рождения, еврей, беспартийный. До Отечественной войны работал в НКГБ. Оставлен по спецзаданию. Участник всех боевых действий отряда. После пыток в фашистских застенках сошёл с ума. Расстрелян оккупантами 24/Х-42 г. Представлен посмертно”.*

*“БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА*

на бойца партизанского отряда т. МОЛОДЦОВА В.А. (Бодаева)  
КРАШНОШТЕЙНА ВЛАДИМИРА ИСАКОВИЧА

Тов. КРАШНОШТЕЙН В.И... еврей, беспартийный... Участвовал во всех боевых операциях партизанского отряда. Безоговорочно выполнял все задания... Во время боя с оккупантами (весной 1942 г.) был ранен. Арестован румынской жандармерией в июне 1942 года и 24/X-42 года расстрелян”.

Из Листов:

“Красноштейн Владимир, 1920 г. р., призван в армию; из Бреста добрался до Одессы и сражался в партизанском отряде Молодцова-Бадаева, погиб”.

“Красноштейн Исаак, 1912 г. р., токарь, погиб в партизанском отряде Молодцова-Бадаева2.

“Фейген Миша, 14 лет, отправил мать и сестёр в Ташкент, остался в Одессе защищать город. Пионер-подпольщик, повешен немцами в центре Одессы, ул. Ленина на пионерском галстуке”.

“Бык Лейб, 25 лет, инженер-химик, партизан в катакомбах, убит в Одессе в 1943 г”. На фото красавец, галстук, белоснежная рубашка, пиджак - щёголь; бабелевский Лёвка Бык.

## 27. МАСКАРАД

С подпольщиками оккупанты управились: задавили, замучали, утопили в крови. Но что было поделывать с неприметными спасителями евреев, затаившимися вместе с подопечными в своих квартирах и дворах?

Свидетельства в Яд ва-Шем:

Рафаил Кантор: “В декабре 1941 г. колонну евреев, в которой была и вся наша семья (отец, мать, два брата и я) гнали на выход из города. Каким-то образом я оказался вне колонны и ушёл оттуда. Несколько дней я прятался по незнакомым дворам... Я заболел, сильно кашлял и весь горел от высокой температуры. Наконец я зашёл в какой-то сарай и потерял там сознание. Очнулся я уже в небольшой комнате, где увидел незнакомую мне женщину, которая расспросила

меня, кто я и откуда... Оказывается, я попал в сарай, принадлежащий ей. Звали её Лидия Владимировна Антонова...

Она стала заботиться обо мне, вылечила, делилась со мной пищей, оставила жить в своей квартире... Муж её был на фронте, она жила одна в квартире из одной комнаты и кухни. В кухне была маленькая кладовка, в которой я и провёл большую часть времени за годы оккупации до дня освобождения Одессы.

По ночам я имел возможность выйти во двор на короткое время, соблюдая максимум осторожности. Днём я оставался в квартире, Лидия Владимировна уходила на весь день, вешала на входную дверь висячий замок и всегда напоминала мне, чтобы я вёл себя тихо и осторожно... В городе появилось множество маленьких кафе... где она мыла полы, посуду и выполняла другую работу, чем и зарабатывала нам на пропитание. Она считала меня своим братом... Соседи по дому ничего не знали о моём существовании, что возможно спасло и меня и Лидию Владимировну..."

З. Бакман: "Я, Бакман Зоя, была студенткой, в 1940 году заболела бронхиальной астмой... Я, моя мама... и сестричка 6 лет остались в оккупированной Одессе. Мне было 19 лет.

С 16 октября по январь были забраны все евреи... Нас прятала старая женщина-дворник. Но настало время, когда она больше не хотела рисковать своей жизнью. У нас был один выход - отдать себя в руки румынам. Но это было очень страшно для нас и для того, кто прятал нас.

И вот мы решили покончить со своей несчастной жизнью другим путём. Мама вышла с сестричкой 6 лет из дома, бросилась с ней под трамвай. Обе погибли! Разве можно забыть слова ребёнка, которая спросила: "Мама, куда мы идём??"

Я должна была выйти позже, чтобы не всем вместе выходить со двора.

Всё это произошло недалеко от дома, узнали некоторые соседи, и меня уже не выпустили, стали думать, как же спасти меня.

Пришла на помощь семья Калининых... Калинина Елизавета Игнатьевна была маленькая женщина, муж работал в порту. Я стала членом их семьи. Совершенно бескорыстно, т.к. у меня ничего не было - одна, "гол, как сокол". Они взяли меня в семью, сознавая, что каж-



дую минуту рискуют своей жизнью и жизнью своих деток. Лиля, как её называли, надеялась только на Бога, что он пожалеет её детей.

Время было очень трудным. Калинины работали с утра до вечера. Я ухаживала за детками. Отношение ко мне было прекрасное. А ведь это были не дни, не месяцы, а годы! 2,5 лет мы все жили под страхом, прислушиваясь к каждому стуку в дверь. 2,5 года я не могла подойти к окну, чтобы никто не увидел меня”.

Е. Калинина: “15 июля 1942 года в три часа ночи к нам в квартиру с чёрного хода зашла смотрительница дома т. Вера. Она вела с собой девушку, красивую с чёрными волосами. Девушка назвалась Зоей Бакман.

Зоя просила, чтобы я оставила её в квартире на три дня, т.к. ей обещали достать болгарский паспорт.

Я молчала, а сама думала, что теперь мы обязательно все погибнем, а у меня в то время было четверо детей один другого меньше - 1937, 1938, 1940 и декабря 1941 года рождения.

Но может быть за спасение Зои Бог поможет нам выжить. И я сказала - оставайтесь.

И Бог нам помог, но только не на 3 дня, а почти на 3 года, т.к. болгарский паспорт Зое не достали.

...У нас были ежедневные переживания и слёзы, т.к. каждый звонок и стук в дверь заставлял нас дрожать за свою жизнь и жизнь наших детей.

В квартире была свободная комната, и Зоя оттуда выходила лишь в самых крайних случаях...

Зоя очень болела, у неё тяжёлая астма, она ходила с трубочкой, и я ей оказывала помощь, когда она задыхалась.

...Мы были на грани провала, когда пришёл сотрудник мужа и сказал, что для дела нужно устроить крестины детей и пригласить на застолье начальство мужа. Мы так и сделали, но оказалось в первый момент, что с нами за столом сидела Зоя, и мы дрожали, что в ней заподозрят еврейку. Но она немедленно ушла, и всё обошлось.

Таких случаев у нас было немало”.

Я. Колтун (Слободка): “Когда кончалось гетто, зимой 1942 года, мы искали место, чтобы спрятаться от выселения. И случайно пришли в ма-

ленький дом: комната, кухня и веранда. И ещё сарайчик. Хозяин был полицаем. После освобождения Одессы оказалось, что он был агентом партизан...

Видно, Бог велел нам попасть к этой украинской семье. Хозяин, хозяйка, сын 17 лет и дочь маленькая Наташа. Мама стала хозяйке помогать. С поросёнком, ещё по хозяйству... Ночами сидит, какие-то тряпки порет на нитки, вяжет... Помню, не получалась “резинка”, знаете, такой узор в вязании? Она переделывала, наверно, миллион раз. И получилось... Главное, хозяйка была заинтересована в нас. Потому что из полиции приказали, чтобы каждый дом связал пару перчаток на три пальца. Для армии. Три, потому что для стрельбы нужен указательный... Мама связала, так что хозяйка могла сдать за свой дом. Затем мама сделала ещё несколько пар, хозяйка отдала другим людям... Мама вывязала хозяйкиному сыну свитер.

Когда евреев из других домов гетто выгоняли и вывозили, к нашим хозяевам не заходили: дом-то полицаю. Потом, после изгнания всех приходили румыны выискивать, кто остался. Тогда девочка Наташа открывала форточку и кричала “Нуй жидан! Нуй жидан! [Нет евреев]” Зима была, пар у неё изо рта и голос-колокольчик - румыны даже улыбались. Наташа маленькая, она не понимала “еврей”, её мама научила так кричать.

Соседи не знали, что мы там живём. Был момент: мы сидим, кушаем, вдруг позвонила соседка. Мы где прятались? Забегали за одеяло, оно висело на спинке кровати. А соседка зашла и увидела на столе много тарелок, больше, чем людей. Она спросила хозяйку: “У тебя что? Кто-то есть?”. Хозяйка что-то придумала ответить, а нам потом сказала: “Это опасно, надо за собой следить”.

И вот: все евреи уничтожены. А мы прячемся. И вот мы не можем больше сидеть по чисто психологическим причинам: мама не может жить у чужих. Тут и сыграли эти печати золотые. Их нам хозяин сделал в феврале 1942 года, чтобы мама могла ходить открыто по улице и искать себе квартиру.

Он долго ходил в полицию с поллитрой в кармане брюк так, чтобы головка бутылки торчала, и он задирали пиджак, показывал её в полиции и просил сделать документы - тем не менее, ничего не получалось. Помог кто? Гречанка Маргарита Сенкевич, жена греческого политэмигранта. Он когда-то бежал в Советский Союз и в 1937 году его здесь расстреляли. Маргариту тогда не брали на работу, мама ей помогла с устройством.

Теперь Маргарита познакомила маму со священником греческой церкви в Одессе. Мама с ним говорила по-гречески. Её семья эмигрировала в 1907 году из Киева в Грецию, они вернулись только через восемнадцать лет. Священнику и в голову не приходило, что мама - еврейка. Он пришёл с мамой в полицию и сказал, что он её знает, что она гречанка, их дом разбомбило и все документы погибли. Румыны очень на-

божные, в полиции перед этим священником становились смиренно. И после его слов нам поставили прописку, то есть зарегистрировали как законных жителей и мы стали греки по фамилии Каис (мама раньше была Феня Кац).

В июне сорок второго мать в городе встретила русскую Ольгу Гавриловну Старикову, до замужества Лаврик, они раньше вместе учились в школе медлаборантов. Она маме говорит: “Знаешь, Феня, на Пересыпи у нас дом есть собственный. Когда Красная Армия уходила, они дамбу взорвали на лимане - там всё залило. Но можно жить. Езжай, там глушайшее место”. К дому надо было идти полкилометра по дощатому мостику. Я боялся страшно, держался за маму... Мы там прожили до освобождения 10 апреля 1944 года.

Я там от голода чуть концы не отдал. Мы с мамой ходили вдоль железной дороги, увидели травку вроде щавеля по вкусу. Сварили, ели, у меня рвота началась. Мама боялась и позвать кого-то: а вдруг узнают, кто мы?..

Вообще-то нам там смерть не грозила. Там мало людей жило. Несколько домиков. Сами Лаврики жили в центре города.

Единственный опасный момент был в 1943 году, когда всех жильцов вызвали на какую-то проверку в домоуправление. Мама попросила соседку Нину (она не знала, что мы евреи) передать, что она не могла придти, пусть скажут, что надо... Нина вернулась и маме говорит: “Начальник спросил твою фамилию, а потом сказал “А-а, это жидовка, что у Лаврика живёт?” Мама потом рассказывала: “У меня руки-ноги похолодели”. Но была уже осень сорок третьего года, никому дела до евреев не было. И этой его мысли не было хода.

Почему он так сказал? Знать он никак не мог. Я подумал тогда: у антисемитов есть чутьё на евреев. Мне тогда уже было 10 лет”.

А. Грункина, Б. Шер (совместное свидетельство в Яд ва-Шем):  
*“Николай Гаврилович Прохоров... предложил нашей семье под покровом ночи придти к ним в дом... В доме Прохоровых на окраине города был прямой ход в катакомбы... И мы ночью пешком пошли к ним... Это было 9 января 1942 г. Поместили нас примерно на расстоянии 500 метров от входа.*

*До 10 апреля 1944 г. (дня освобождения Одессы) мы находились в катакомбах, где было постоянно темно и сыро. Весь этот период мы лежали на постели, устроенной прямо на земле”.*

А. Стойкова (урождённая Прохорова): *“Перед войной мы жили в пригородном районе Одессы...*

*У нас была своя корова... Еврейская семья Шер покупала у нас молоко... Отец сдружился с этой семьёй, т.к. старшая в семье Перля Иосифовна очень хорошо знала Библию и они с отцом находили много общего в своих вероисповеданиях - особенно, что касалось отношения к добру и злу.*

*Когда... началось уничтожение евреев, отец предложил этой семье убежище в нашем доме. Наше жильё было вырублено прямо в скале и внутри жилья был ход в катакомбы... Вся семья Шер Перли Иосифовны пришла в наш дом: две её дочери, две внучки (1931 и 1936 г. рожд.), а также невестка Ладыженская Эстер...*

*Семья эта была бедная, да и мы не были богатыми... поэтому в первые месяцы пребывания у нас взрослые несколько раз выходили в город, чтобы обменять свои вещи на продукты, но когда после очередного выхода Ладыженская не вернулась, уже никто из них больше не выходил из катакомб”.*

А. Грункина, Б. Шер: *“[Дочь Прохорова] Аня приносила нам еду через день. Приходила она с маленькой свечой, при которой мы ели. Это был единственный свет, который мы видели.*

*В 1943 г. немцы очень боялись партизанского движения, штабы которого прятались в катакомбах. И немцы решили заминировать все входы и выходы катакомб. Для этого они отселяли жителей из их домов. Почти месяц нам никто не приносил еду. Но прежде, чем уйти из дома, Прохоровы поставили нас в известность о сложившейся ситуации и сколько могли принесли еды.*

*И только вернувшись в дом (по разрешению немцев) они поняли, что в наших катакомбах мин нет. И снова регулярно стали носить нам еду и чистое бельё”.*

Р. Коркучанская (из писем мне): *“В ноябре 1941 г. со Слободки нас стали угонять в село Берёзовка. Зима была холодная. На ком была хорошая одежда солдаты тут же снимали и многие оказались раздетыми... Нас били прикладами, заставляя двигаться быстрее. Группа слободских мальчишек лет 13-15 кричали вслед “Вот вам курочки, яички” и длинными палками ударяли людей по головам. Выйдя за пределы города, первые ряды колонны вдруг остановились и стали пятиться назад с кри-*

ком, что впереди обливают людей из мощных шлангов. В панике, обезумевшие, все пытались разбежаться. Маленьких детей стали разбрасывать в разные стороны в надежде, что кто-нибудь их подберёт. Началась стрельба. Меня оттеснили от родителей, и в страхе, не помня себя, я убежала, упала и потеряла сознание. Когда пришла в себя, колонна людей была угнана. Площадь была усеяна трупами. Многие были ещё живы и просили помощи... Родителей и сестру я больше никогда не видела.

В темноте я сумела добраться обратно в город в мой дом на ул. Чичерина. Нашу квартиру я застала разграбленной... Я постучалась к нашим соседям, которые жили во дворе в одноэтажном флигеле. Семья из 3-х человек: Смирнов Леонид, его жена Женя и 10-летний сын Вова, с рождения очень больной мальчик. Они меня впустили в дом. Я рассказала о происшедшем. Когда я сняла платок с головы, Лёня и Женя ужаснулись. Я была седая. В 16 лет. Как я потом поняла, мои поседевшие волосы спасли мне жизнь. Меня начали спасать...

За ночь Лёня и Женя под полом выкопали яму, из досок пола сделали крышку и утром меня спустили в эту яму, она была в ширину моих плеч, и я могла только сидеть... Сидячая могила, но я была неизмеримо счастлива... Вход в яму был в самом углу кухни, возле плиты, и поэтому было удобно маскировать крышку от ямы, накрыв ковриком, чтобы не видно было щели, поверх коврика ставили ведро с углём, лопатку и веник. Я в яме сидела круглосуточно и только утром и вечером подымалась наверх. Тогда и пользовалась туалетом в квартире. Остальное время надо было терпеть до потери сознания.

За тот час, что я находилась наверху, мои глаза не успевали привыкнуть к свету и мне приходилось всё делать с закрытыми глазами, как слепой.

Ела два раза в день, в основном, мамалыгу и кипяток... Чувство голода никогда не покидало меня.

Первое время в яме меня донимали земляные жуки, они ползали по моему лицу. Очень долго мне ещё представлялись увиденные и пережитые ужасы, и я начинала кричать. Это было очень опасно и чревато последствиями, и я стала обматывать рот полотенцем. Дышать носом в сырой земле и сидеть без движений стало невыносимо тяжело и я начала болеть.

Так прошёл год. Евреев изгнали из города, и как нам казалось, их уже перестали искать, и тогда решено было показать меня врачу. Я не была типичной еврейской девочкой, но большие карие глаза и чёрные волосы выдавали меня.

Мы с Лёней выбрались и оказалось, что охота за евреями всё ещё продолжалась, так как мы попали в облаву. С двух концов улицы румынские солдаты, шеренгой идя друг другу навстречу, проверяли паспорта у прохожих. Кто не предъявлял паспорт, с тем на месте расправлялись.

У меня паспорта, конечно, не было. Лёня сразу ушёл вперёд, шепнув: “Будут бить - кричи погромче, тогда они ослабляют удары”. Я как могла замедлила шаг, чтобы оттянуть время встречи с извергами, чтобы лишнюю минуту пожить.

В эту минуту из дома рядом вышел немецкий офицер. Я тут же направилась к нему, зная, что румынские солдаты боятся немецких офицеров и избегают к ним подходить. Я, как можно бодрее, чтобы голос не выдал моего страха, спросила его по-немецки, который час. На моё счастье у немца были карманные часы, и покуда он их доставал и разговаривал со мной, румынские солдаты прошли мимо и не потребовали документа. Я долго благодарила офицера и стала медленно уходить, боясь ускорить шаг или оглянуться, чтобы не вызвать подозрение. Когда я догнала Лёню, он не мог поверить своим глазам, что я жива, шептал: “Это чудо! Это чудо!” После этого Смирновы решили меня из ямы выпускать на всю ночь. Изменился мой образ жизни, и я стала немного оживать.

Я пришла к Смирновым в тёплой одежде, в зимнем пальто. Поверх туфель боты. Во всём этом я сидела в яме. Но я росла даже в темноте, и постепенно одежда становилась мала... Я вручную сшила себе валенки и мастерила разную одежду.

Смирновы, когда стали меня прятать, рассчитывали, что война скоро закончится и враг будет разбит, но Красная Армия постоянно отступала... и возник вопрос, что со мной делать. Я сама понимала, что так жить всё время нельзя. Разговор был один и тот же: как от меня избавиться. Выпустить меня из дому было опасно, так как меня сразу бы поймали и при пытках я могла выдать своё местонахождение и пострадали бы все живущие в доме. Я решила, чем попасть в руки к фашистам, лучше отравиться.

*И было решено, что самое безопасное это отравиться, уйдя из дому. Лёня долго искал подходящую отраву, он был человеком осторожным. Моя жизнь, и без того сплошные пытки, стала адом. Я завидовала тем, кто уже погиб. Гетто для меня было недостижимым раем. Я не могла жить и не могла умереть. Чем больше я чувствовала смерть, тем больше я хотела жить. Я стала подозрительной. Мне казалось, что меня уже хотят отравить, что в каждой порции еды лежит отравка. Я боялась есть, ослабела настолько, что не могла вылезать из ямы.*

*Но время шло в мою пользу. Фашисты под Сталинградом потерпели поражение. Появилась надежда на выигрыш войны, на спасение. Перестали говорить о моей смерти, этот вопрос отпал. Я начала есть и выздоравливать.*

*Таким образом мои спасители спасли меня два с половиной года...*

*...Сын Смирновых, Вова, умер в 1950 г.*

*Лёня Смирнов умер от рака в 1960 г.*

*Женя Смирнова умерла в 1979 г.*

*Вечная им память”.*

Три последние строчки - реквием Р. Коркучанской своим спасителям. Свирепы судьбы и большого сына, умершего без времени, и отца, чей рак наверняка спровоцирован обречённостью сына и страхами спасательства, и несчастной матери, в сиротстве тянувшей ещё 19 лет. Не хотел Леонид Смирнов героической доли спасителя, да открыл дверь на случайный стук, и втянуло в смерч, и завертело, и не вывернуться, если не в силах сбежать в палачи.

А Елисеева Нина Осиповна, буфетчица обкомовская, что ей было укрывать Сойфера? Обещали сперва, что день-два, страшно, да Бог даст, проскочим, а вышло - надолго, вышло - пытка и смертельная жуть, вышел подвиг, пропади он пропадом... И Елизавета Калинина, заслонившая обречённую еврейку четырьмя своими крохотными детьми, и Лидия Антонова, нашедшая в сарае нечаянный дар небес, полумёртвого мальчика - сколько таких, влетевших в подвижники, как кур в ошип!

А. Розина (1923 г. р.; свидетельство в Яд ва-Шем): *“После ухода моего отца на фронт мы с мамой поселились... по соседству с семьёй Авдеенко, т.к. наш дом... был разрушен бомбой... Сосед, прекрасный русский человек Сергей Иванович Авдеенко... дал моей матери метри-*

ку своей умершей сестры и она стала Авдеенко Неонила Ивановна - русская... Нас случайно увидел сын бывшего нашего дворника Иван и сдал в сигуранцу как еврейскую семью... Мы попали в тюрьму. Сергеем Ивановичем с сыном Валентином в течение трёх месяцев носили нам передачи.

Мы попросили принести наши носильные вещи, и когда жена С.И. выходила из дома с вещами, её перехватил всё тот же сын дворника и отвёл в сигуранцу... Сергей Иванович, отдав румынам половину своего золотого портсигара, выкупил жену и часть наших вещей, которые затем передал нам в тюрьму. Из тюрьмы нас отправили в гетто в с. Сливино, где мы пробыли до марта 1943 г. Всё это время Сергей Иванович и его сыновья, рискуя жизнью, добивались к нам в гетто и передавали пищу и носильные вещи...

Во время наступления наших войск нас этапом погнали обратно в Одессу, где уже были немцы, и поселили на территории чаеразвесочной фабрики.

Сергей Иванович и здесь нас нашёл и спрятал в своём доме, где мы и прожили до освобождения..”.

Е. Хозе (свидетельство в Яд ва-Шем): “В марте 1944 года Дмитрий Лукьяныч Видмичук, работник претуры в Доманёвке, инженер-агроном, пришёл к нам и сказал, что румыны уходят, остаются гитлеровцы, которые планируют очистить территорию от евреев. Нужно уходить... Куда?.. Видмичук принёс документ, что мы - эвакуированные, направленные из Одессы в Ново-Кантакузинку. Мы должны были перейти распаханное поле, чтобы попасть к нему на хутор. Там немцев нет, и мы переждём.

Вышли мы на рассвете. Идёт дождь с мокрым снегом. Поле кишит жандармами - они уничтожают всех, кого видят. У нас в руках спасительная справка, но надо прятаться. А что впереди?..

В поле нас ждал Дмитрий Лукьянович. У него в хате немцы, но он проведёт нас с той же версией: мы - эвакуированные родственники. Только надо, чтобы соседи не увидели. Он сделал нам в скирде углубление - защиту от дождя. Ночью он за нами придёт.

... Нас выследили местные жители, и мы вышли, переходили от скирды к скирде... а дождь не прекращался.



*Наступила ночь. Жандармы стали поджигать скирды. Видмичука всё нет. Наконец он подъехал на лошади, мокрый, взволнованный: “Куда вы девались? По всей степи ищу...” С массой предосторожностей он довёл нас до избы. Навстречу выбежал брат жены, обнял нас с радостными восклицаниями, провёл через сени, набитые немцами... В избе жили жена Видмичука, его свекровь и дочь-грудной ребёнок.*

*Дмитрий Лукьяныч приготовил для нас погреб, спустил туда и забросал его дровами. На следующий день немцы... устроили обыск с грабежом того, что им приглянулось. Нас не обнаружили. Всё равно опасность сохранялась. По ночам Видмичук разбрасывал дрова и выпускал нас, сам же при любом шорохе бежал к дверям, защищая нас от вторжения соседей.*

*Он был партизаном, и пришло время прятаться ему. Как только он ушёл, его жена вежливо попросила нас с мамой уйти. Она боялась соседей. И мы ушли в заснеженную степ”.*

Они мыкались, пока счастливо не набрали на другое место, где тоже были немцы и где тоже нашлась спасительная изба.

**Н. Красносельская:** “Мы с бабушкой в конце оккупации весной сорок четвёртого бежали из Доманёвки в Малиновку... Нас приютила тётя Ганя, высокая, красивая украинской красотой, лет тридцати.

Я работала, нянчила детей у тёти Гани... Бабушка зарегистрировалась как медработник и стала лечить людей. Пришёл, например, человек, у него дикое мясо; она нож на огне раскалит и вырезает. Люди за это носили ей что-либо. Помню первый гонорар её: блюдце творога. Потом пошла весенняя трава, появилось молоко, и я начала отходить.

Тут отступление, румыны ушли и проходили отступающие немцы и казачьи части. Они, особенно казаки, всех евреев добивали. Тётя Ганя и её подруга тётя Катя вывели нас в степь, и мы там четыре дня отсиживались. Казаки тогда грабили, уносили всё, особенно еду. Собак перестреляли, у тёти Гани Полкана застрелили”.

Одиннадцатилетняя Лида Станченко была схвачена румынами вместе со всей семьёй. Из камеры румынской сигуранцы удалось вырваться отцу Лиды, украинцу, партизану отряда Бадаева, и Лиде, единственной из восьми членов семьи. Бабушка Рива сказала дочери Эсфи-

ри при горьком её прощании с дочкой: “Пусть Лида идёт, живёт и всем расскажет о нас”. И **Лидия Станченко** рассказала:

*“Мой отец, Станченко Константин Владимирович, очень любил мою мать Гарбульскую Эсю Фишелевну и женился против воли его и её родителей. Они прожили 10 лет очень дружно.*

*Отец был мобилизован... Когда отец из письма мамы узнал, что мы остались в окружённой Одессе, он на призыв командира желающих пойти в катакомбы в партизаны дал своё согласие, чтоб остаться в Одессе и спасти семью.*

*Он пришёл в дом, когда румыны уже заняли город. [До того] моя бабушка по отцу Елена Корнеевна Турмилова... увела нас всех к себе в Дальник, но через несколько дней что-то её встревожило и она ночью увела нас к своей сестре Анне Корнеевне Смалько, которая, рискуя жизнью своей, дочери и маленькой внучки, прятала нас на чердаке и в погребе до прихода отца.*

*Отец решил, что в Дальнике... люди могут выдать. В Одессе он случайно встретил своего знакомого по прежней работе на заводе им. Ворошилова Полищука Якова, инженера, который строил дом для завода и не окончил, жильцов там не было, только он с женой, внизу подвал, окна осыпаны мусором и нет подозрения, что там подвал.*

*Отец доверился дяде Яше... дядя Яша сказал папе, что тоже скрывает евреев и готов принять его семью. Отец привёл нас всех к нему в подвал.*

*В подвале было темно, сыро, мы очень мало общались. Моя семья: мама, её папа Фишель, бабушка Рива, тётя Дина и её муж Изя и сестрички милые Наташенька десять лет и Поличка, ей было только пять, у них выкачали кровь для раненных врагов - они все погибли.*

*В этом подвале помню друзей наших, Гутвах Фаину и двух её девочек. И была семья прокурора Молдавии - отец, мать и сын 17-18 лет Изя. Была ещё одна молодая женщина, фамилию не помню.*

*В комнате в полу был вырезан люк, на нём стоял диван, а в диване всякий хлам. Через люк папа опускал нам пищу, и очень редко ночью мы выходили помыться.*

*...Отец очень хорошо рисовал, он сделал печать и у него был свой человек в сигуранце, он сделал документы нашим родным и многим другим... Отец приготовил матери документы под новым именем Татьяна*

Горбульская и начал выводить людей на новые, заранее им приготовленные места укрытия.

*Первыми ушла семья Гутвах, они успешно укрылись ...*

*Потом пошёл мальчик Изя. Отец сопровождал его по другой стороне улицы и потерял из виду. Вернулся в надежде, что и мальчик вернулся. В это время прибежала женщина из полиции и сказала, что мальчика арестовали, начали избивать, он не выдержал пытки и сказал, откуда он. Женщина была в полиции свой человек и она сообщила, что сейчас будет нападение полиции, но уже было поздно уйти. В считанные минуты дом окружили румыны с собаками, всех вместе с отцом и дядей Яшей Полищуком арестовали и повезли на закрытых машинах в сопровождении мотоциклов*

*Когда везли в сигуранцию, отец отдал мне сделанную им печать в надежде, что меня не будут обыскивать, но потом забрал, боясь, что меня будут пытаться... поэтому отец давился и съел при мне печать, чтобы не выдать людей.*

*В сигуранце отца и дядю Яшу били током на электрическом стуле, а меня швырнули туда, чтобы они видели меня и чтобы я смотрела. Я теряла сознание, и меня отливали водой и заставляли смотреть дальше.*

*Что спрашивали, я не знаю, но отец мне потом сказал, ни я, доченька, ни дядя Яша не выдали... У мамы уже был украинский паспорт... Но к несчастью её узнал местный полицей и выдал, что она еврейка. Маму увели, а меня вскорости отпустили, как я потом узнала, за большую взятку.*

*Бабушка Елена Корнеевна по предчувствию, как она сказала, пришла 18 мая 1942 г. и нашла меня одинокую в разграбленной квартире. Бабушка боялась меня сразу вести в Дальник и увела к своей подруге в Одессе Домне Васильевне, она меня лечила и прятала в подвале несколько недель. Хорошо помню её добрые руки...*

*Потом ночью бабушка Лена увела меня в Дальник к своему родному брату дяде Коле Клименко, где меня прятали в погребе, на чердаке. Чтобы местный полицей не трогал, бабушка отдала свою единственную ценность - золотой крестик.*

*За два года оккупации... меня передавали из одной семьи в другую, семья Клименко, семья Смалько, о которых я писала, и семья Голубенко Ефросиньи Корнеевны, а дядя Володя у бабушки Лены вырыл в полу*

*яму, где меня и прятали на ночь... Я вышла из укрытия на свет 10 апреля 1944 года, когда пришла Красная Армия.*

*...Мать и всех, кого захватили, расстреляли...*

*Отцу дали 5 лет за укрывательство евреев, а дяде Яше 8 лет”.*

## 28. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

**К**огда в Израиле рассматривали просьбы о признании Праведниками спасителей одесских евреев, нашлись несогласные: Транснистрия, мол, и Одесса, в частности, - владение румын, они за помощь евреям убивали только в начале оккупации, потом помягчело, лишь тюрьмой карали, значит, риск не так уж и велик, чтобы отмечать его столь высоким знаком - Праведник.

Помолчим о двойном стандарте, позволяющем, когда политика и конъюнктура диктуют, одаривать тем же званием дипломатов, которые, выдавая евреям на оккупированной территории спасительные визы, рисковали разве что карьерой, и то не всегда. Однако они вправду помогли многим - и грех их не отметить.

Что же касается мягкости румынского правления, то в **Актах послевоенных одесских комиссий**:

*“Во двор № 68 по ул. Ленина к 2-ну Махиборода пришли румыны и, приставляя кинжал к груди его жены, требовали, чтоб она выдала им евреев и коммунистов, после чего последняя стала страдать припадками и сделалась совершенно больной... (Акт 64 от 24 ноября 1944 г.);*

*22/X-41 г. в г. Одессе по 2-му Водяному пер. № 4 был повешан румынами тов. Лысенко за укрывательство евреев. Подтверждают свидетели: Гниденко С., ул. Виноградная № 19 (Акт 47 от 19 ноября 1944г.)”.*

Живёт в Израиле Любовь Фёдоровна Бараева, до замужества Слесаренко, украинка. Но урождённая она - удостоверено судом - еврейка Ринберг Эмма Сухаревна. Знакомая её мамы Люба Слесаренко когда-то в оккупированной Одессе отдала свою метрику, чтобы спасти девочку от угона в гетто.

**Л. Бараева** (из интервью): “У меня две метрики, две фамилии, я очень богатый человек... После войны я зашла в тот двор, где жили Слесаренко, нужно было отдать эту метрику. Мне говорят, их никого нет, их

всех расстреляли... Приказ висел на каждом доме, что за передачу евреям документов - метрики или паспорта - расстрел на месте”.

Да и тюрьма была недалеко от смертной казни. Вот история, где спасители, пройдя тюрьму, выжили. Но как заплатили?!

Меня (Мария) Суворовская с мужем Леонардом Францевичем шесть лет грезили о ребёнке. Наконец судьба снизошла: Меня забеременела. Дело происходит на Молдаванке и на дворе 1941 год, а во дворе соседи, которые говорят поляку Леонарду Суворовскому: “Слухай сюда, твою жену, еврейку, мы знаем, но смотри, будет плохо, если еще кога ховаешь [прячешь]”.

В сегодняшнем письме ко мне сын Леонарда Суворовского Александр приводит послевоенные воспоминания своего отца и его замечание: *“На Ближних Мельницах (это один из районов Одессы) говорили не “еврей”, а “жид”, однако никого там не выдали, а вот на “культурной” Молдаванке выдавали”*

Соседи ведали, что говорили. Леонард Францевич, умелый рисовальщик, подделал документы 14 евреям: жене, её родне и просто своим знакомым, переправив им национальность. Восьмерых из этих евреев Суворовский укрыл у себя в квартире, где соорудил, благо потолок в старых домах высок, антресоль с тайным ходом через кладовку. И стали жить-поживать...

**А. Суворовский** (здесь и далее из письма 2004 года): *“Отец варил мыло, мама продавала его на базаре, деньги уходили на питание...”*

Струкова (Пискун) Миндель Ицковна, переименованная Суворовским в Марию Ивановну, спасалась у него с сыном Шуриком. Она вспоминала: *“Квартира не отапливалась, света не было, вместо стен фанера... Людей, которых он скрывал, он также и кормил... Не имея ни капли воды для своей семьи, он приносил её за несколько километров”*.

Требовалось скрыть от бдительных соседей снабжение едой и питьём спрятанных евреев.

**А. Суворовский**: *“Особых проблем с едой в то время не было... её было очень мало: то, что приносилось на 8-10 человек, в нор-*

*мальное время приходилось на маленькую семью... Такое количество не вызывало подозрения. Намного сложнее было с водой. Водопровод не работал, и отец приносил 10-15 ведер воды из какого-то колодца, расположенного в нескольких километрах от дома. Что только он не придумывал в объяснение!"*

Струкова свидетельствует, что Менья Суворовская "умоляла, стоя на коленях" прекратить укрывать евреев, поскольку "я, наконец, беременна и если дело раскроется, она погибнет вместе с ребёнком". "На что, - пишет Струкова, - он отвечал: "Я не могу выгнать людей... не могу не помогать... они тоже хотят жить".

Менья как в воду глядела. Одна из евреек, которой Суворовский подправил паспорт, свела его со своей знакомой А. Гурой, управляющей домами в дальнем одесском районе. Подделанные паспорта надо было легализовать - прописывать по какому-то адресу, и А. Гура это делала. Тоже приобщила к спасению евреев. Правда, Суворовский благодетельствовал безвозмездно, практичная же Гура брала у евреев деньги и ценности.

В 1942 году Гуру арестовали. Она немедленно выдала, кого могла, и первым - Леонарда Суворовского. Его и тех, кто тогда у него скрывался, схватили, судили. Евреи получили по пять лет тюрьмы плюс десять лет каторги (за уклонение от гетто), Суворовский семь лет каторги и штраф 5000 лей - вроде бы слава Богу: никакая не смерть, всего лишь срок.

10 марта сорок второго года Менья в тюрьме родила мальчика. Его назвали, видимо, в честь отца тоже Леонардом. Леонард Леонардович Суворовский был убит в тюрьме через два месяца. Леонард Суворовский-старший мог бы примерить на себя историю Авраама и Ицхака.

Сама Менья в тюрьме несколько раз пережила пытку фиктивного расстрела: её ставили к стене, но не стреляли. А позднее от всамделишного массового расстрела спаслась тем, что провалялась тогда в сыпнотифозной горячке. В феврале 1944-го, в преддверии освобождения Одессы Меню по амнистии выпустили вместе с сестрой.

Квартира их давно была занята. Леонард Суворовский, выпущенный раньше, тоже оказался бездомным и жил теперь у сестры Елены. Туда, к Елене и её мужу Александру Вольфу Суворовский привёл Меню, её сестру и их сокамерницу Риву Шейнер - жить, а вернее, пря-

таться от заполнивших Одессу отступающих немцев, которые добывали евреев.

Вольфы (она - полька, он, отметим, - немец) прятали евреев ещё в начале оккупации, продолжали это дело и теперь. Леонарду Суворовскому спасение евреев стоило потери сына, Вольфы рисковали двумя детьми. А кроме риска творилась будничная жизнь с недоеданием, лишениями, страхами... Ольга Харитон, сестра Мени, скрывавшаяся прежде у Леонарда Суворовского, а теперь, как и он, обитавшая у Вольфов, пишет: *“Взаимоотношения между моими тремя спасителями были неровными. Часто Суворовский Л. Ф. был раздражён, нервничал... То же самое было с семьёй Суворовская-Вольф... После тюрьмы мы находились на полном их изживении. Никогда не задумывалась над вопросом, какие мотивы толкали моих спасителей на такой подвиг. Сейчас задумалась и решила: благородство, порядочность, любовь к людям и желание помочь... даже ценой собственной жизни”*.

Александр Суворовский об отце: *Он знал несколько европейских языков, по словарям изучал китайский и вьетнамский, играл на рояле и кларнете (в молодости “ходил за покойником” - играл на похоронах), был блестящим конструктором, инженером “от Бога”, мог по памяти прочитать “Евгения Онегина” или “Луку Мудищева”, любил по-шуутить, рассказать анекдот, работал с металлом и деревом, увлекался фотографией, сконструировал полуавтомат для печатанья снимков и т.п.*

В “т.п.” входят и переоборудование Л. Суворовским жилища для сокрытия евреев, и его работа в тюрьме истопником, что позволяло приходить в камеру к беременной жене, и изготовление для неё с сокамерницами (проститутками, воровками, партизанками) “козла” - трубы со спиралью электроподогрева, включавшейся тайно от надзирателей... Но над всем ренессансным разнообразием талантов Леонарда Суворовского возвышаются слова его сына: *“О том, что отец спасал евреев и как это происходило, мне известно от друзей моих родителей. Родители свои действия не считали подвигом, чем-то особенным. На суде отца спросили: “Как вы могли рисковать беременной женой?” Отец отвечал что-то вроде: “Обязан был как порядочный человек...”*. Хочется, чтобы за сухой строкой моих фрагментарных воспоминаний увиделся образ абсолютно честного, порядочного человека, не делавшего из себя героя, вы-

*нужденного и при советской власти выживать, не идя на сделки с совестью...”*

Со страниц 208-214 от трагедии Бобровских и Ивановых протягивается сюда ещё один след, кровью и горечью, выручателя евреев партизанского связного “Яшки” - Татаровского Г.А., напомним, десять лет отмотавшего в ГУЛАГе.

Из архивов:

*“Я, ТАТАРОВСКИЙ Георгий Александрович, 1926 года рождения, сегодня 29 апреля 1997 года СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ [повторяется описание трагедии во дворе Ивановых, которую изложил Александр Иванов, тогда забившийся в собачью будку; затем Татаровский пишет про вызволение уцелевших Бобровских, о своей роли почти не говоря]: Через время из тюрьмы был выкуплен Бобровский Д. Л... сын Лёнчик отправлен в ГЕТТО. После проверки списков вывезенных в ГЕТТО еврейских детей и установки места вывоза я с комиссаром полиции Статным Матэем, квартировавшим у нас на квартире № 1 по ул. Дуче Муссолини (Бебеля), 21, выехали в село Амбарово...*

*Бобровский Лёнчик был передан отцу Бобровскому Давиду Лазаревичу... так же из ГЕТТО были освобождены Бобровская Р. Г. и Бухгалтер Т. Л.*

*В 1988 году после моей реабилитации я поехал к Бобровскому Д. Л. попросить его свидетельства о моём участии в партизанском движении, но мне сообщили печальную весть о его безвременной кончине в ноябре 1980 года.*

*В 1992 году мне вернули... квартиру взамен отнятой в 1944 году в связи с незаконным арестом. В 1994 году признан партизаном и инвалидом Отечественной войны”.*

Вот и ладушки, всего-то полсотни годков пролетело, круглым счётом. Осталось медаль Праведника получить от Израиля за спасение евреев.

Но тут - заминка. Оказывается, бытует невнятное мнение, что партизан не может признаваться спасителем: то ли поскольку это долг партизана (как у спасителя-еврея), то ли его корысть, потому что спасённый, как правило, присоединяется к партизанской борьбе; в обоих случаях награждать не за что. Вызволенный пятилетний Лёнчик выгоды в виде увеличения партизанской боеспособности не



представлял, тем не менее Татаровский в Праведники не прошёл. Как и семья Ивановых, как и Павел Корнеевич Нудьга, *“вместе с которым несколько раз освобождали из ГЕТТО узников еврейской национальности”* - пишет Татаровский.

Наградой Татаровскому (как и А.В. Дьяконову) достались сталинская тюрьма, позорящая молва, бесправие...

В Яд ва-Шеме стараниями его энтузиастов справедливость не раз одолевала препоны: Суворовские признаны Праведниками Народов Мира, и Е. Калинина, К. Станченко, Н. Прохоров, и даже партизан Д. Видмичук, и, наконец, Подлегаева.

Через пять лет после первого сообщения Е. Хозе в Израиль о её подвиге, после письменных свидетельств, бомбардировавших Яд ва-Шем.

**Т. Бурштейн:** *“В Доманёвке Александра Николаевна дала мне свой одесский адрес и предложила приют. Когда пришло время ухода немецких войск... я и мой муж покинули лагерь. Пошли пешком в Одессу, где и нашли убежище у Александры Николаевны до освобождения города.*

*Александра Николаевна вывезла из лагеря Цию Абрамовну Бершацкую...*

*Александра Николаевна Подлегаева - чудесный бескорыстный человек... Подлегаева и Теряева заслуживают преклонения и колоссального уважения. Это подвижницы, рисквавшие не только своей жизнью, но и благополучием своих семейств”.*

**Ц. Торчинская** (в девичестве Бершацкая): *“За три недели до освобождения я попросила Шуру Подлегаеву взять меня из Доманёвки к себе. Она назначила мне свидание на железнодорожной станции в пригороде Вознесенска. Я сбежала из гетто, пришла пешком на станцию... Поехали в теплушке, документов ведь не было. В Одессе я находилась тайком у Александры и её подруги Натальи Теряевой”.*

**М. Фельдштейн:** *“Подлегаева Александра и Теряева Анастасия, рискуя своей жизнью, совершенно бескорыстно, только благодаря своей доброте, душевной щедрости и человеколюбию, сделали так много для нас, совершенно чужих для них людей.*

*А. Н. помогала многим, но я всех имён не помню... Надо добиться того, чтобы Александра Николаевна была признана Праведницей Мира. Она давно вполне этого заслужила. Спасибо за то, что есть и такие люди на свете”.*

**П. Великанова:** *“Александра Николаевна по характеру - откровенная, чрезвычайно инициативная, храбрая, добрая, сочувствующая людям в такой степени, что неизменно оказывала им нужную помощь”.*

Хочется верить, что А. Н. читала эти признания в любви. Они тоже ждали в Яд ва-Шеме отклика несколько лет.

Московский историк Я. Я. Этингер в 1992 г. опубликовал в 25-м номере журнала “Новое время” письмо мне от Е. Хозе про Подлегаеву, написал, как трудно ей живётся, послал ей деньги. Многие читатели расчувствовались, выяснили адрес А. Н., писали ей сердечные слова. Я. Этингер сообщил мне: *“В 39-м номере “Нового времени” опубликована заметка: “Вы напечатали письмо обо мне, о том, как помогала спасти евреев. И многие люди откликнулись, предложили мне свою помощь. Прошу выразить мою искреннюю благодарность (перечисляются семь фамилий, из которых две явно русские - прим. Я. Этингера). Я знаю, как тяжело сейчас жить, и меня очень тронула доброта этих людей. А. Подлегаева”.*

**П. Домберг:** *“Анастасия Фёдоровна Теряева умерла. Александра Николаевна Подлегаева жива... Это человек с большой буквы. Она подвергала риску не только себя, но и всю семью. Она оставляла свою девочку 11 лет одну на присмотр чужих людей, а сама спасала человеческие души.*

*Этот человек заслуживает низкий поклон за её большое сердце, которое вмещало и волновало судьбы многих людей.*

*Пишет Вам её друг, который познался с ней в беде, когда у меня было горе, она не прошла мимо, подала руку помощи и выручила из большой беды. За что я ей от души благодарна”.*

В начале 1950-х с Греческой (тогда Мартыновского) площади уходили междугородние автобусы. Жилось после войны трудно, и Полина Домберг, кондуктор маршрута Одесса-Николаев, участвовала в нехитром дорожном промысле: часть пассажиров, платя, билетов не брала; неуч-

тённые деньги автобусники делили. В одном из рейсов Полину накрыл контроль: наживы кот заплакал, но получила Домберг десять лет тюрьмы, наравне с матерью-сыноубийцей, которая с нею потом вместе сидела; советская власть свою экономику от Полины заслоняла без жалости.

Жалость по части Праведницы Подлегаевой. Она продавала газеты в киоске на той же Греческой площади, здесь и познакомилась с Домберг, отсюда и кинулась её спасать, написала в Президиум Верховного Совета слёзное письмо, как Полина в годы войны мыкалась, работая на карагандинской шахте, как бедствует сегодня с сыном, ради которого и похитила разнесчастные копейки... Вышла в те годы амнистия, но, как и сегодня считает Полина Домберг, без письма Шуры вряд ли бы ей скостили срок до года с небольшим - столько она отсидела вместо десяти лет, отмеренных приговором.

**П. Домберг:** *“Она очень больной человек. За её 78 лет жизни её доброе сердце стало страдать ишемией, аритмией. Я сколько будет в моих силах, буду её спасать. Ведь такие люди, как она, должны долго, долго жить”.*

**А. Подлегаева:** *“У меня очень много друзей среди евреев. А одна, Полина Домберг, как дочь родная. Такого друга только Бог может дать! Спасибо ему. Я поломала ногу, лежала в больнице, Полина в 8 ч. утра должна была быть на работе, так ежедневно в 7 ч. утра она была у меня, мыла, приводила в порядок, кормила и бежала на работу. В палате было 20 человек и все были влюблены в неё, не в красоту, а в человеческую доброту, завидовали мне. И теперь она часто у меня. У меня есть дочь, очень хорошая, внуки и правнуки, но Полина это дар божий. Я сейчас болею, неважно мне, жизнь у нас очень тяжёлая. Пенсия небольшая, цены на рынке ужасные, но я не жалуюсь, только был бы мир”.*

Затянувшееся присуждение звания Праведника Подлегаевой, связанное со спорами об особенностях румынской оккупации, выглядело возмутительной волокитой. Особенно в глазах тех, кто по наивности считал, что Яд ва-Шем якобы обязан обеспечивать Праведников материальной помощью.

**Э. Иосфина** (письмо в Яд ва-Шем от имени группы студентов Петербургского Еврейского университета): *“А. Н. Подлегаева умерла,*

*так и не дождавшись от Вашей организации полагавшейся ей пенсии. К сожалению, никто из нас не был знаком лично с Александрой Николаевной, но по полученному нами от неё письму можно представить, каким мужественным, бесконечно скромным и добрым человеком была эта прекрасная женщина. Она не жаловалась ни на старость, ни на болезни и бедность, а только благодарила Б-га, который послал ей друзей-евреев, поддерживавших в трудную минуту. Эти люди действовали по велению сердца, узнав, кем была Александра Николаевна для евреев, но только от Вашей организации, обязанной оказывать помощь “Праведникам мира”, Александра Николаевна этой помощи так и не дождалась”.*

Сама же Подлегаева волновалась не о себе.

**А. Подлегаева** (ответ студентам Петербургского Еврейского университета, предлагавшим ей помощь):

*“Спасибо Вам, дорогие мои Петроградцы, за добрые слова...*

*Очень много сделано для спасения людей в лагере, но это не я одна. Была подпольная группа, которая делала всё возможное и невозможное. Без этих людей мы с Теряевой ничего бы не могли сделать.*

*...было очень опасно и трудно. Но делали мы это не за деньги. Поверьте мне. И сейчас мне ничего не надо. Теряева уже давно умерла, а я пока ещё живу. Мне 79 лет. У меня было 3 инфаркта, остались последствия. Я небогата, у меня ничего нет, но мне ничего и не нужно. Вам самим надо! Чтобы прожить в это трудное время, нужны и деньги, и вещи, и еда. А вы ещё так молоды! Смотрите себя, дорогие мои, берегите своё здоровье! Вы наша гордость и радость! Так будьте счастливы и здоровы! Запомните мою просьбу! Любите добрых людей, без доброты жить нельзя. Никогда не причиняйте людям зла. Не делите людей на нации. Важна не нация, а человеческая доброта.*

*Спасибо вам за добрые слова и большие мне ничего не надо.*

*Досвидания Подлегаева”*

После подписи А. Н. спохватилась, приписала: *“Дорогие друзья! Вы предлагаете мне свою помощь. Спасибо. Поэтому я прошу Вас если сможете, отправьте это письмо, которое я Вам посылаю, по адресу [Яд ва-Шема] и напишите им: я у них помощи не просила... они просят кое-какие сведения. Я всё послала и люди, которых я спасала, тоже послали письма. А они всё пишут пришлите письма. Мне уже*

*это надоело, я нуждаюсь, но я не нищая и больше не хочу беспокоить этих людей [спасённых]. Пошлите эти письма по их адресу и моё объяснение. Извините за беспокойство. С уважением. Ал. Ник.”*

Не надо ей казённого “спасибо”. Она и мне написала о себе лишь после нажима, напора, длившегося год с лишним. И от Израиля, если чего и хотела, то вот, в конце письма мне, наивным намёком: *“В Израиль я поехала бы с удовольствием. Ведь там сейчас много живёт моих друзей”*.

Не суждено однако ей было на исходе дней ни друзей повидать, ни Святой земли, как мечталось, коснуться - в июле 1993 года умерла А. Н. после трёх инфарктов, война своё сделала. А звание Праведницы Народов Мира получила она 28 февраля 1996 года - посмертно.

До чего неспешна наша благодарность...

## 29. РАСПЫЛ

Усилиями Праведников можно дополнить 600 выживших после гетто одесских евреев примерно тысячей спасённых. Это общую картину почти не меняет: 99% еврейского населения румынской Одессы ушли в ничто. К 10 июня 1944 г., когда в Одессу уже вернулся кое-кто из партизан и беженцев, когда объявились те, кто прикрывался фальшивыми паспортами, в городе среди 228862 жителей оказалось 2640 евреев, чуть больше одного процента.

Распылило одесских евреев. Яков Л. из Узбекистана прислал в Яд ва-Шем Листы на погибших в войну членов своей семьи. Среди них: *“Ферт Малка, 1893 г. рождения, в Одессе выдана соседкой и как еврейка казнена (повешена)”*; *“Ландо Рудольф, 1912 г. р., был партизаном в одесских катакомбах, выдан предателем и казнён (расстрел)”*; *“Ландо Вера, 1940 г. р., умерла от болезни в эвакуации в г. Ташкенте”*; *“Прусс Татьяна, 1923 г.р., была вывезена румынским офицером в Румынию и там погибла”*.

Ф. Нелик (приложение к Листу): *“Гершман Лейб, 1916 г. р., призван в армию, в августе 1942 года в бою в городе Пятигорск ранен в живот и при отходе Красной Армии оставлен на попечение местных*

*жителей. Погиб от руки немцев или местных жителей. ... Пока он воевал, немцы в Одессе убили его маму Фейгу и сестру Олю”.*

Изидор Шварц, слесарь из Будапешта, приехал в Одессу, женился на швее Берте, родили они двух девочек, в 1931 году Поленьку, в 1938-м Мару. Хороши, наверно, были девочки... Их вместе с мамой расстреляли у Жеваховой горы в феврале 1942 года. А слесарь был на фронте, убит под Киевом.

На улице Мясоедовской, 14 жили Владимирские, Соня и Борис, с двумя мальчиками, Айзиком, 17 лет, и Ионей, 19 лет. Папу взяли в армию, мальчики, оба студенты, вслед пошли добровольцами, мама осталась в Одессе - кто её, домохозяйку, вывезет?.. Папа и дети на фронте убиты, мама - в одесском гетто. Листы на них в Яд ва-Шем пишет сосед, больше уж некому.

Из архивов:

*“В Комиссию Кагановичского района по расследованию всех злодеяний немецко-румынской банды над мирными жителями г. Одессы*

*От гр. С.И. Шаровкер,  
проживающей в доме № 77/7  
по ул. Б. Арнаутская*

*Заявление*

*Комиссию заверяет очевидица всех ужасов и кошмара, которые были произведены над мирными жителями г. Одессы немцами и румынами. С израненным на всю жизнь сердцем совсем вкратце ибо не хватит бумаги чтоб изложить всё то, что пережито мною. 25 октября 1941 г. был изъят из тюрьмы сын мой 19 лет Изя Шаровкер совместно с большой колонной мужчин всех возрастов под видом на работу, но ни один из них не вернулся обратно...*

*12 января 1942 г. все евреи г. Одессы в том числе я под зверствами со стороны зверей румын и немцев были мы вынуждены выйти со своих квартир и окончательно оставить город в направлении Слободки, откуда в разные сроки угнали... всех без исключения не смотря и не считаясь временем года т.е. в середине зимы в неиз-*

*вестное тогда нам направление где я окончательно потеряла всю свою семью сестёр племянниц и племянников...*

*Я же совместно со многими другими случайно уцелевшими в этапе от всех зверских приёмов, которым были подвержены, как замораживаниям, зжиганию, расстрелам и т.д. очутились в Думанёвке где в разбитых помещениях без окон и дверей нам устроили лагерь, из которого мы не имели права выйти ни куда если же в силах необходимости достать себе пищу кто либо вышел на улицу и встретились с румынами или полицаем, то вы были подвержены 50-ти нагайкам на голое тело.*

*В этом лагере каждый день вырастала целая гора трупов... я лично помогала нагружать подводы покойников.*

*Через короткое время мы оставшиеся были переведены в другой лагерь ещё в худших условиях. Так и назвали этот лагерь смерти. Здесь мы очутились в разбитых конюшнях до колен гною после неубранного от скота ранее проживавшего.*

*Погибшие в лагере просили запомнить их фамилии, но при всём моём упорстве остаться жить надежды было мало и я не старалась поэтому запомнить.*

*Лично всё пережила*

*Шаровкер С.И.”*

“Пережила”. Не распорошило всех до конца... Живучи...

### **30. ДОЖДАЛИСЬ**

**К**ровью заливало фронты, храбрецы бросались под танки, а евреи окопались в Ташкенте. Так считалось. Так поддерживалось властями. Герой-лётчик Плоткин или герой-подводник Фисанович если и устаивались промелька в пропаганде, то без упоминания их национальности. “Жид от пули бежит” - складно думалось в народе.

Из **Листов** на одесситов:

*“Глухов Юра, 17 лет, был эвакуирован с ремесленным училищем из Одессы, учился на слесаря, ушёл добровольцем на фронт после окон-*

чания курсов офицеров (скоростных) погиб младшим лейтенантом при освобождении Харькова в 1944 г.”

“Абрамович Борис, 1900 г. р., рабочий, на фронте в 1941 г. раненый, без ног, остался прикрывать отход с пулемётом под Запорожье”..

“Фриммерман Владимир, 1911 г. р., лётчик, погиб, повторив подвиг Гастелло, врезавшись на самолёте в танковую колонну; Белоруссия, 1943 г”.

“Штейнгарц Эммануил, 1896, экономист, пропал без вести, Севастополь, июль 1942 г.”

“Зильберштейн Яша, 1920 г. р., погиб на фронте, 1942 г.”

“Биллерт Исаак, 1912, лейтенант связи погиб на передовой, фронт, 1944”.

“Долгонос Исаак, 24 лет [сын убитых в Одессе Гитли и Берла - см. выше], техник, погиб в боях, куда он вернулся после второго ранения в глаз”.

“Крейчман Семён, 1910 г. р., инженер, фронт, погиб в Севастополе, 1942 г.”

“Финкель Аниель, работник райкома комсомола, фронт, погиб в Венгрии в 1944 г.”

“Хангер-Унгер Абрам, 17 лет, солдат, пошёл добровольцем воевать, пропал без вести под Новороссийском”.

“Ваксберг Мануэль, 1894 г. р., майор медицинской службы, застрелен нацистами в концлагере”.

К последнему Листу приложены два свидетельства: в первом бывший начальник Ваксберга по службе в Приморской армии, оборонявшей Одессу, а затем Севастополь, удостоверяет “его преданную неутомимую работу... проводил сложнейшие хирургические операции... спасал десятки жизней..”; во втором бывший подчинённый Ваксберга по той же севастопольской медслужбе пишет, что Ваксберг участвовал в боях как рядовой боец, был тяжело ранен и в бессознательном состоянии пленён. Он, свидетель, попав в лагерь военнопленных в Севастополе, обнаружил там своего командира “в тяжёлом состоянии вследствие ранения правого лёгкого, правой руки, обезвоженного и истощённого... Я лично оказывал ему возможную в концлагере помощь”. Назначенный немцами в “команду гробокопателей” свидетель после расстрела Ваксберга немцами закопал его труп в воронке от снаряда. (Фами-



лия этого свидетеля **Владимир Евгеньевич Шевалёв**, будущий профессор, заслуженный деятель науки Украины. Мы ещё вспомним эту фамилию.)

...Шимек стыдился, что отец не на фронте. Что дядя Хилель воевал, что двое двоюродных братьев были тяжело ранены, а дядя Йося сгинул в окопах - то почему-то не вспоминалось. Октябрёнок Шимек мыслил едино со страной.

Мальчики в эвакуации были - безотцовщина. Шимек - больше других. У всех отцы на фронте, у него - неизвестно где, пропал. Ни письма, ни звука - глухо. Мама говорила: на трудовом фронте, в командировке; Шимек понимал: где-то трудится в тылу, но с особым заданием... Фото Абы с ромбами в петлице не уходило из памяти.

Тыловых мужчин все презирали, одним явным инвалидам, на костылях или безруким, было прощение. Шимек друзьям, Борьке с Юркой, внушал: мой батя на фронте, на трудовом, так надо, приказ у него, он же военный, два ромба, выходит командир корпуса или дивизии, генерал, ну пускай не генерал - полковник. (Шимек не знал о хитром несоответствии чекистских и армейских званий; Аба был всего лишь подполковник, а носил ромбы как армейский дивизионный командир, генерал - тем и определялось, кто на деле выше.)

Шимек жил в среднеазиатском посёлке с Женей и двоюродным братом Мишкой, чуть старше Шимека; его мама, жена воевавшего дяди Гилеля умерла здесь вслед за бабушкой. В середине войны в посёлок вдруг из дальневосточной потусторонности выпорхнула открытка от Абы. Какими чудесами узнал Аба их адрес? Женя, ища его, отчаянными своими запросами в центр по розыску родственников в Бугуруслане ничего выяснить не смогла. А вот Аба выудил где-то адрес и, не веря в удачу, черкнул пару строк, и они - добрались.

В посёлке среди эвакуированных, утеснённых в барачное сожительство, ничто в секрете остаться не могло. Текст открытки и обратный адрес выявили пребывание Абы в заключении. И сперва Юрка, а после Борька, сказали Шимеку: отец твой в тюрьме, вор. Мишка, с которым Шимек был всегда в ссоре, подхватил: в тюрьме. "Вор" Мишка не выговорил, мешали то ли благородство, то ли всё-таки братская солидарность, то ли опаска замараться позорящим родством.

Папа, с ромбами, с наградой на гимнастёрке, в шикарном открытом служебном автомобиле, помнившемся Шимеку с его двух лет (позднее он уже отца не видел), папа огромный, могучий (руки его подбрасывающие не забылись, и мама рассказывала: два метра роста, ботинки сорок восьмого размера жали), шумный, весёлый, обожаемый папа - вор!..

Мама с работы на шелкомотальном комбинате, с двенадцатичасовой смены приходила поздно. Дети ждали её страстно: только с её приходом варганился, наконец, ужин и было чем забить голодный живот. И вот после ужина, дотерпев, пока Мишка заснёт, тонущий в позоре Шимек спросил у мамы: “Правда, что папа в тюрьме? Он вор?”. Женя сказала: “Ну, что ж, тебе девять, взрослый, пора всё знать”. И объяснила: “Да, в тюрьме. Вернее в лагере для заключённых. Но совсем не вор. Его посадили по ошибке. Знаешь, везде бывают ошибки. Он не виноват ни в чём. Сейчас война, не до него, вот кончим воевать - разберутся и выпустят”.

На том, в общем, успокоились. Шимек стал ждать конца войны. Душу щемило больше прежнего: отец не на фронте, оказывается, даже не на трудовом; да, не дезертир, не прячется, но ведь и не боец никакой... Стыдно.

Они жили в почти пустой комнате длинного барака - Женя с Шимеком и Мишкой и присосая почти по-родственному к их обрубленной войной семье молодая беженка из Риги. Ели вместе.

Хлеб получали по карточкам, отстояв иногда часами в очереди - собранные вместе пайки, рабочие и ученические, составляли полторы буханки чёрного, внутри тестообразно мокрого хлеба, остро пахнувшего кислотой и смазкой, которой в пекарне покрывали формы; она пятнами впечатывалась в хлебную корку. Женя кропотливо кроила хлеб на равные четыре части, каждая из большого куска и долек поменьше. Весов не было, и Шимек с братом подглядывали, где больше. Прилаживались, хоть и знали, что зря: для справедливости Женя одного из них, каждого в свою очередь, отворачивала к стене и за его спиной, указывая на набор ломтей, вопрошала: “Кому?”. Называлось имя, порция обретала владельца.

Есть хлеб для Шимека было - Ритуал. Сперва рассматривать: ломоть толстый, ломоть потоньше и маленький квадратик сверху; потом

прикидывать, как съесть поподробнее; затем, не торопясь, обнюхать ломоть, потрогать губами, упиться шершавостью корки и нежностью сердцевины и только после всего этого предвкушения приступить к сладострастному потреблению.

На корке толстого ломтя чёрные вкрапины угля. Их придётся выплюнуть. Но прежде облизать, покатав во рту до потери даже запаха хлеба, а тогда уже, вынув и убедившись, что к ним ничего съедобного не пристало, - выкинуть. И приступить к мякоти, откусывать помалу, жевать без суеты, впитывая кислый дух. Затем - корка тонкого ломтя, чистая, коричневато-бурая. Сунуть её за щеку и сгибать зубами, пока не захрустит и не сложится вдвое. Но и тут не спешить, потихоньку сводить челюсти и слушать потрескивание корки. Вот когда верхние зубы коснутся нижних, прокусив корку насквозь, можно языком отваливать от неё кусочки и сосать их, мягко прижимая к нёбу. А там и снова мякиш, а потом ещё и довесок - с ними особо осторожно, не давая расползтись в слюне и скользнуть в горло.

Иногда, с получки или после премии женщины устраивали праздник. Их на комбинате награждали деньгами или отрезом парашютного шёлка, который они вырабатывали. Денежной премии хватало на несколько буханок хлеба, шёлк продавали на толкучке - выручка позволяла ублажать себя кукурузной кашей с урюком или даже несытным, но утончённым ужином: дополнительной порцией хлеба и чаем с сахарином, который пили из мятых алюминиевых кружек. Шимек и здесь умел смаковать: раскалывал, ножом нажав, таблетку сахара, бросал в кипяток пол-таблетки и все крошки и следил, как они светлеют на дне кружки, истаивая... Питьё получалось не очень сладким, потому что если прибавить сахарина, то не хватит на повтор чаепития, да и горечь в жидкости проступит. А когда кладёшь сахарина не много и не скупно, сладость чудесно сочетается с кислотой хлеба и забивает запах от смазки форм, так что вполне можно вообразить чай с довоенным пирожным - только нужно держать ломоть хлеба двумя пальцами по краям, не касаясь верха, как будто там крем и боишься выпачкаться. Или другой фокус: задерживать хлеб во рту маленькими кусочками, смачивая редкими глотками чая и подсасывая языком воздух - ну, точно: чай с конфетой.

Процесс поедания, усвоил Шимек, - высокое искусство, торжество воли и стратегии, это не прежний его жалкий опыт: тремя судорожны-

ми всхлипами втянуть в себя всю дневную норму хлеба и ни тебе вкуса, ни запаха, ни даже мимолётного насыщения. А до следующей делёжки хлеба надеяться не на что. И такая наступает маета! Ни книжка не отвлекает, ни уроки: Шимек писал буквы, считал, учил стихи - а в голове только еда. Точнее - хлеб. Его запах, липкость, чернота, ноздреватость. Иногда Шимек принимался шагать: когда ходишь, есть вроде бы меньше хочется.

Было как-то, что он бросился в отчаянии искать хлеб в их комнате, где, он точно знал, ничего нет, но - вдруг?..

Буфетом служила полка - кусок фанеры, прибитой к четырём ножкам стола пониже столешницы. Полку прикрывала клеёнка, спускавшаяся со стола. Шимек поднял клеёнку: покоробленная жарой фанера, расщепленная, грязно-бурая... Шимек подвигал посуду, погладил поверхность полки. Ладонь оставалась чистой - прилипнуть было нечему. Он обследовал ложбинки, трещины: хоть бы крошка, пускай бы в ноготь или пол-ногтя, каменно-засохшая, месяц или два ожидающая, когда он выколупнет её и положит на язык и прижмёт к нёбу. Рот его увлажнится, а он будет сглатывать слюну, не давая ей растворить хлеб, и придержит крошку языком, но не слишком сильно, чтобы не раздавить, и станет вдыхать намёки хлебного аромата. Голод взбунтуется в животе, но Шимек не уступит и будет медленно-медленно осваивать крошку, её угловатость, жёсткость, ржавый вкус и невнятный запах, который усилится по мере её размочания и - жалеи-не жалеи - исчезновения.

Всё это он переживал в ожидании крошки, которую - он знал! - ему ни за что не найти, потому что и он, и Мишка уже много-много раз обшаривали полку. Но он искал. Переставил кастрюли и тарелки, снова перещупал поверхность, пересмотрел закоулки. Ничего, кроме соли. Она лежала в банке, крупные грязные серые кристаллы. Шимек вынул крупинку соли и положил её на язык взамен хлеба, хотя понимал, что тут же выплюнет её...

Летом благодаря дешёвым узбекским фруктам война с голодом унималась, но зимы доводили беженцев до голодных отёков и дистрофии.

Однажды февральским вечером Женя принесла жмых - прессованный корм для скота, беженцы дробили его в муку, замачивали и, перемесив, пекли оладьями на воде вместо масла. Конечный продукт - котле-

ты? лепёшки? - как ни зови, тяжелил живот, мальчикам подкатило к горлу тошнотворно и оба с ладошкой на груди, в которой непривычно для девятилетних зачастило сердце, улеглись на свои деревянные топчаны - помирать.

Женя сказала: “Будем опухать, но этой гадости я вам больше не дам”. Однако не успела выкинуть оладьи, как Мишка, полежав, поднялся к столу и стал их доедать - Мишка был старше Шимека почти на год, крупнее, сильнее, и голод в нём был яростней.

Тем не менее и он мог сдерживаться, голодную жадность вытесняя жадностью накопительства: он был скуповат, но и азартен, что-то от спорта питало его в собирании марок и косточек. Абрикосовых косточек: Мишка собирал их всё лето, раскалывал камнем и сыпал в мешочек продолговатые морщинистые зёрна. Только целые; расколовшиеся - отход производства - Мишка проглатывал. Шимеку не давал.

Иногда вечерами под светом засиженной мухами лампочки Мишка рассыпал на столе, на облупленной клеёнке сокровища своего мешочка, пересчитывал, сглатывая голодную слюну, семена, складывал их в кучки по сотням и, победно косясь на Шимека, следившего за семенами ревниво и хищно, называл число: “сто сорок”, “триста пять”, а потом “тыща двести сорок семь” и так далее - счёт рос, мешочек напухал.

- Когда ты их есть будешь? - спрашивал брата Шимек. Тот ехидно шурился: - Когда надо. Тебя не спрошу. И не жди - не дам.

Много позже Мишка - пакостник, жулик, шпана - изредка вдруг являл меньшому брату щедрость, благородство и даже покровительство в уличных передрягах: Шимека, самого низкорослого в классе и среди дворовых сверстников, нередко обижали. Но это будет потом, после возвращения в Одессу, а в эвакуационном неустойстве, как, впрочем, и в светлом “до войны”, отношения двоюродных братьев не складывались, они почти не разговаривали, общение - очередная драка. Так что Шимеку с косточками никакая надежда не светила.

*“Ты одессит, Мишка, а это значит, Что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет И не теряет бодрость духа никогда”* - любимая была эта песня у Мишки, дважды любимая, связывавшая имена его и обожаемого города.

И настал Мишкин день, весна была, апрель - день, вернее, вечер, когда на клеёнку под печальную электролампочку Мишка высыпал свои семечки, их уже набралось под пару тысяч - и стал раскладывать поштучно, по два-три зерна на три кучки. Долго развозил пальцем по скатерти, наконец, распределил и, торжественно глядя на Шимека и Женю, пригласил широко:

- Берите, ешьте! Всем поровну.

Шимек остолбенел. Такой самоотверженности скупердяйская натура брата могла не выдержать.

- Что с тобой, Миша? - спросила Женя. - Какой праздник?

- Самый большой, - сказал Мишка. - Сегодня наши взяли Одессу. Я слышал радио.

Шимек тоже любил Одессу и ждал её освобождения, но если честно, в тот момент следствие радовало больше причины. Одессу освободили где-то далеко, а семечки лежали вот прямо перед носом. Пахучие, сладкие...

Они пировали весь вечер.

Наутро выяснилось, что Мишка ошибся: радио сообщило, что войска только вплотную подошли к Одессе.

Мишка только что не ревел; Шимек неблагодарно злорадствовал... Женя осиротевшего и такого неблагополучного Мишку (он и хулиганил, и подворовывал) жалела больше родного Шимека. И сейчас вздыхала в унисон с Мишкой.

Спустя несколько дней Одессу всё-таки взяли. Женя сказала: - Видишь, Миша, надо только потерпеть немного. Кто ждёт - дожждётся.

Дождались, все дождались. Пришёл и невероятный тот день, когда весь посёлок мчался на пыльную каменно-запекшуюся площадь задраить голову к столбу, на верху которого чёрный раструб радио мощным левитановским гласом возвещал: "Наше дело правое! Мы победили!"

Победили! Победили!!!

Поехали из эвакуации домой. На послеоккупационных пепелищах возрождать жизнь.

И настала сладостно-горькая пора возврата с фронтов, а год спустя тем же ветром воскрешения из небытия понесло задержанных войной узников ГУЛАГа.

*“Я знаю, жена, ты не ждёшь, И письмам твоим я не верю.  
Встречать ты меня не придёшь К вокзальным распахнутым дверям”*  
(песня лагерных уголовников).

А Женя ждала, ждала, девять с лишним лет ждала. Мытарствуя до войны, ждала, уворачиваясь от ареста, от доносов дворника Петра - ждала. Ждала в эвакуации, пробиваясь сквозь пол-страны с ребёнком и стариками, хороня близких: отца, сбитого на улице в морозную ночь лошадью и потом добитого инсультом; маму, сгоревшую от малярии; невестку - врач, она подхватила тиф от больного - всех их Женя выхаживала, а потом хоронила и, оставшись одна с Шимеком и племянником Мишей, работала на износ мотальщицей шёлка, голодала и тянула голодных детей, и ждала, ждала, ждала.

Она посылала до войны Абе фотокарточку, где была красива, с надписью “Смотри, дорогой, не заблуждайся” и не посылала из эвакуации, где в сорок лет выглядела на семьдесят, да и куда слать, если после единственной открытки Аба снова исчез, безответно растворился в лагерных даях. Уже и война кончилась, и срок “8 лет исправительно-трудовых лагерей” истёк, а его всё не было, не было, не было, пока, наконец, не прорвалось: сперва весть, что жив, а спустя год телеграмма: еду, встречай.

Встречать!

*“...К вокзальным распахнутым дверям...”*

Шимек ночами не спал. А когда спал, Аба снился. Добрый гигант, рисованный мамой, и картинки детских воспоминаний: высокие сапоги... смех заливистый... чёрная служебная машина с откидным верхом, Шимек сзади, плечо под отцовским боком, впереди кепочка шофёра и встречный ветер... Аба, конечно, в неизменной гимнастёрке с ромбами, боевой, победный... Ещё Аба в форме лётчика - фуражка с крабом, птички на погонах... Аба в чёрной морской ушанке с золотистой якорной эмблемой... Аба в танке, тридцатьчетвёрка, побившая всех фрицевских “тигров” и “фердинандов”, несётся по дороге, Аба командир, высунулся до пояса из башни, огромный пёс - Рекс, друг мохнатый бежит за танком весёлым скоком,

каким мчал за Абиным служебным автомобилем... Шимек на дороге навстречу, и разрыв снаряда, сквозь пыль и дым Аба смеётся из бащенного люка, грудь в блеске орденов...

...И вот оно! Октябрь. Поздний вечер. Тусклый свет на платформе, плеск голосов перронной толпы. Три огня паровоза осторожно накатили издалека, ослепили на минуту, уткнулись в тупик; пролязгали буфера к хвосту состава, проскрипели тормоза - стихло. Встречающих обдал запах дыма. Из вагонных тамбуров попрыгали проводники, стали караулом у дверей. Оттуда повалило густой смесью дорожных испарений: кислой едой, невымытым телом, карболкой отхожих мест - в плотном их духе извергались на перрон пассажиры с чемоданами, узлами, мешками заплечными... Взвизги встреч. Смех. Плач...

Аба появился из вагона в этом облаке вони многодневного пути. Кожух на нём, чёрный с белым курчавым мехом воротника, ничем не походил на мужественные кожанки комиссаров и лётчиков. Серая мягкая ушанка - ни намёка на морскую, навоображённую Шимеком. Ни гордой лётчицкой фуражки с крабом, ни танкистского шлема... И мешок на спине никакой не солдатский, привычный глазу, а землистый, деревенский, куль-кулём. И в руке Абы чемодан, но не щегольской с блестящими замками трофейный чемодан, который проносили демобилизованные фронтовики, а дощатый ящик с обитыми железом уголками, с брезентовой ручкой - деревянная бурая невидаль...

Когда пошли по перрону сквозь толкотню, оказалось, что и обещанного мамой двухметрового роста даже не угадывалось в коренастой, но сгорбленной до уровня всех прохожих фигуре. Мама крепко держала Абу под руку, Шимек чуть отставал, поглядывал искоса то на отца, изучая и огорчаясь, то на окружающих, боясь и стыдясь: Аба выглядел позорно...

А добивал - запах. Не пороховым дымом боя пахло, не танковыми горюче-смазочными материалами (ГСМ, "гээсэм" - название, как песня) - несло козлом. Карболку, угольную гарь паровоза, водочные выдохи толпы, перепревшую начинку дорожной клади - всё забил Абин козлийный чёрный кожушок.



Знал бы Шимек, что запах - сатаны. Того, кто трубку бессонно курил, страну в аду прожаривал.

Через полвека дощатый лагерный чемодан, от времени и многих дорог сменивший черно-бурую окраску на облезло-пёструю, из Москвы за границу отбывал не музейным экспонатом, а простым ящиком для домашнего инструмента: набросали туда молотки и отвёртки для отвода бдящих таможенных глаз - проехало. Теперь он в Иерусалиме вместе с гулаговской ложкой, алюминиевой, литой, увесистой - можно баланду хлебать, можно по лбу врезать. Микромузей, внутрисемейная память...

Здесь ещё - одеяло. Царапистого сукна, за много лет на нарах раскатанное в плёнку заворачиванием половиной под себя, половиной сверху - защита от холода скорее символическая, когда свист пурги за дощатой стеной барака и сквозь щель в стене морозная струя кинжально прорезает свалывшуюся одеяльную ткань, вонзается смертельной стрелой в бок зека, в его лёгкие, уже опалённые холодом лесоповала...

Подробности жизни Абы Шимек сообразит много позже того позднего вечера на перроне сорок шестого года.

Минуют годы жизни с Абой, и по его рассказам - “замечаниям из жизни” - как по вехам, пройдёт взросление Шимека, и высветится ему из дури советского вранья подспудная правда отечественного бытия. Откроются Шимеку глаза и на самого Абу, увидится он достойно и безунывно перенесшим все жизненные взлёты и падения, от начальственных высот до лагерных пропастей и последующего бесконечного унижения властями, загоняющими неудобного в угол, - увидит его Шимек в полный рост; даже и буквально, потому что когда придавленный лагерем Аба умер, гробовщики намерили у вытянувшегося покойника те самые два метра, наговоренные мамой, - она не обманывала никогда.

Наутро после смерти Абы Шимек, который начал отношения с отцом со стыда за него, несуразного, обнаружил себя, с первых школьных лет не плакавшего, в слёзном захлёбе, совершенно неудержимом: глаза в ладонях, сквозь пальцы ручьи, беззвучно... Но до этого

должны были пройти пятнадцать лет, состояться житейские подробности, прозвучать Абины байки...

### 31. АБА

Не уроками-назиданиями питал Аба Шимека, не воспарял раздумиями, просто сыпались от случая к случаю осколки его воспоминаний, и складывалась из них, беспорядочных, мозаика жизни.

Например, после возвращения Абы к нему приходили многие в поисках сведений из глухих дебрей ГУЛАГа. Явилась и женщина с дочкой, лет, как Шимеку, двенадцати: соломенные кудри, щёчки пунцовые с ямочками, голубые глаза изумлённые... Шимек робко поглядывал, не слушал, что Аба повествовал о девочкином папе Юзеке, сослуживце своём и сокамернике в Киеве и потом солагернике дальневосточном. Девочка тоже отвлеклась, Шимека глазками покалывала. Мама же её внимала Абе жадно, курила папиросу от папиросы, теребила шаль на себе, вопросы роняла... Аба старался говорить правду нестрашно. Почему от Юзека никаких вестей, он жене объяснить не мог: лагерная доля их развела давно... Когда гости ушли, Аба стёр виноватую приветливость с лица и сказал Жене: “Юзика отправили с этапом на материк Охотским морем. Зеки в трюме, конвой на палубе. По дороге пароход утонул. Конвой никого из трюма не выпускал. Зеки - ни один не спасся. Я мог это сказать его жене?”.

Ночью Шимеку снились не кудряшки Юзиковой дочки, а Юзек в трюме, колотящий изнутри в задраенный намертво люк.

Аба о многих своих любовях не хотел распространяться, хотя потом взрослый Шимек вылавливал из мимолётных упоминаний и популярную певицу, и стоматологиню, в процессе лечебного визита наградившую Абу какой-то заразой, и жену знаменитого военного, и лётчицу известную - но Аба скромничал, помалкивал.

Впрочем однажды объяснил, смеха ради, как первый раз женился. Двадцатые годы, холодный и голодный Харьков, где Аба и друг его Сеня, мелкие по должности, но чекисты заняли две брошенные пустые квартиры. Одну из них Аба к зависти сослуживцев ухитрился выменять на несколько литров спирта, в другой, многокомнатной, поселились он с Сеней и две сестры, девушки дворянского знатного рода,

очертя голову нырнувшие в революцию спасти угнетённый народ. Всем по комнате, общая гостиная отапливалась печкой-буржуйкой, труба через окно наружу, топили мебелью, Аба у себя спал на рояле.

Сёстры были благородно воспитаны и утончённо красивы, еврейские парни просты и мужественны. Сеня влюбился в младшую Тату, да робел, бравый, попросил Абу за него объяснить, Аба почти нехотя взялся: никого дома не было, рассказывал он, зима, холодно, она сидела в гостиной, открыла дверцу буржуйки, грела у огня руки, я подсел, стал говорить, как её Сеня любит, и какой он хороший, и мы не знаю как стали целоваться, тут Сеня вошёл... Пришлось жениться, перед Сеней неудобно. А он на её сестре потом женился, Лике, умопомрачительная женщина, это она спустя пару лет участвовала в похищении Кутепова...

Аба восхищал подробностями, среди которых было и ночное плавание Лики с сообщником на утлом судёнышке из Одессы в Болгарию, и скитания в Европе, и ввинчивание в окружение бывшего царского генерала Кутепова в качестве знатной беглянки от мордovorотов-большевиков, и охмурение белоэмигрантского волка, и опаивание его сонным питьём...

Шимек глаза серо-синие, в отца, круглил изумлённо: а как же история, которую они учили, он сам читал про разнузданную клевету буржуазной печати, будто ЧК выкрала за границей одного из вождей белогвардейской эмиграции бывшего царского генерала Кутепова - наглая ложь, подлая компания капиталистической жёлтой прессы, она обманывает свои трудящиеся массы, но они обязательно разберутся, правда на нашей стороне и она восторжествует... Шимек учился на отлично, он помнил: речь шла о конце двадцатых годов, тогда в газетах капиталистов развернулась травля нашей самой передовой страны, чего только не нагнали продажные писаки, вплоть до нелепости, будто советская власть бесчеловечно содержит своих врагов в каких-то специальных лагерях далеко на Севере, на Соловецком острове; изоврались, даже название придумали: СЛОН.

**Аба:** СЛОН это “Соловецкий лагерь особого назначения”. Он был первый лагерь в нашей стране. Его учредили в 1922 году.

**Шимек:** Как, не Сталин начал? Ещё при Ленине?

**Аба:** При Ленине, при Ленине. И при Дзержинском, как видишь. Между прочим, и расстрелы без суда и даже проверку частной переписки,

перлюстрацию писем, ЧК проводила с самых первых своих лет. Указание именно Ленина и Дзержинского.

**Шимек.** А как же тайна переписки? Права граждан...

**Женя.** Знаешь ли, всё-таки была гражданская война, тут другие правила, не то, что мирная жизнь...

До революции брат Лейзера Брауншвейгского, Женин дядя, варил мыло. У себя в сарае; он, жена его и напросившийся с улицы помощник. В 1919 году красные сочли дядю заводчиком, эксплуататором трудового народа и “разменяли”-”шлёпнули”-”пустили в расход” (бойкий язык тех лет!) - расстреляли. Женя дядю большевикам не прощала, однако списывала на кровавую суматоху гражданской войны. Революцию она была склонна оправдывать: очень впечатался в неё с трёх её годиков вид погромной толпы с царским портретом и крестом впереди - на всю последующую жизнь Жени тем окрасились и царизм, и христианство.

Когда после революции Брауншвейгские обнищали и детям учиться стало не на что, решено было: дать медицинское образование самому одарённому в семье Хилелю, любимцу бабушки Шимека (она потом в эвакуации перед смертью твердила только его имя).

Женю, пожертвовав её многообещающими успехами в классе фортепиано, отправили зарабатывать на учёбу Хилеля. Она пошла в машинистки при губернском ревкоме, там и насмотрелась на большевиков, честно и страстно горевших в борьбе за народное счастье, восхитилась их бескорыстием и праведностью. Вот и теперь: Сталин был для Жени - бандит, пробы ставить негде, лживо-добрая его улыбка только усугубляла злодейство. Лагеря, убийства, расстрелы - его. Со всем другим дело Ленин или Дзержинский, о котором было известно, что запрещал малейшее издевательство над арестованными врагами. Следователя, который позволил себе ударить допрашиваемого газетой, снял с работы. Рыцарь революции.

Что уж говорить о Ленине!..

Аба не поучал, не растолковывал, одни факты да справки.

**Аба:** ЧК - её сразу после революции учредили, руководил Дзержинский, его за честность и бескорыстие звали “рыцарем революции”.

(“Вот он и умер в двадцать шестом, кому его честность нужна?” - вставляла Женя). ЧК потом переименовывали в ГПУ - Главное Политическое Управление, в НКВД - Наркомат внутренних дел, НКГБ - Наркомат госбезопасности, потом в соответствующие Министерства - МВД, МГБ. Как ни назови, а суть одна - “карающий меч революции”, так говорили с гордостью. ИТЛ - это исправительно-трудовой лагерь. ГУЛАГ - Главное управление лагерей, моя родная его часть Дальлаг - дальневосточные лагеря. Советский язык. Сам лагерь - “зона”, заключённый - “зека” или “зек”, уголовники - “блатари”, их главный - “пахан”, высшая каста - “воры в законе”, они не работают. Работы делятся на “общие” - тяжёлый труд, убийственный, и лёгкие, на “тёплых” местах - это банщики, кладовщики, писаря, повара - по-лагерному “придурки”. Очень выразительный язык: “сука” значит тот, кто выслуживается, “стукач” - кто предаёт, “стучит” лагерному начальству; умирающий, изнурённый зек называется “доходягой” - в школе, Шимек, таких замечательных слов не проходят. Их кровью пишут.

Я на Колыме в лагере встречался с матерью Ягоды, наркома ГПУ. Старушка рассказывала, какой был добрый её сын, заботливый, ласковый... Мы в ЧК знали его доброту: он всеми кровопусканиями руководил, пока самого не шлёпнули. Когда его арестовали, а наркомом стал Ежов, я ляпнул: “Ежи питаются ягодами”. Начальству донесли, мне пригрозили, но тут развернулась знаменитая “ежовщина”, меня, слава Богу, взяли до взыскания, незапятнанным. А старушка-мама Ягоды умерла в бухте Нагаева в 1940-м. А отец его погиб на Воркуте, жену Иду расстреляли сразу после мужа, сестёр тоже растолкали по лагерям. “Член семьи врага народа”, такая вот преступная категория населения. Вы у меня тоже: если бы мама не сбежала из Киева в Одессу, её бы посадили вслед за мной.

**Шимек:** - А меня тоже?

**Аба:** Нет, тебе тогда трёх лет не было, а у нас гуманность. Детей в лагерь не отправляли, а в спецдетдом, записывали под другой фамилией, и всё - нет семьи, расплылась, исчезла.

Их в сорок шестом году стало пятеро: Женя с Абой, Шимек, Мишка и его папа, любимый Женин брат Хилель, вдовец, главный жизнетворитель семьи, благо что был знаменитый кардиолог и среди гонимых попадалась даже преподнесенная спасённым инфарктником роскошь вроде пи-

рожного “ромовая бабка”, её, крохотную, детям, Шимеку с Мишей, располовинивали... Дядя Хилель был единственный добытчик, потому что Женю туго вязали заботы о детях и больном Абе - его, изнурённого лагерем, донимали болезни, воспаление лёгких чуть не свело в могилу.

Перемогши зиму и весну, Аба поднялся, стал улыбаться, шутить, потешать детей: отрывал от своей руки большой палец и вылавливал его из воздуха, заглатывал горящую папиросу и возвращал её изо рта обратно на губу, не погасив, с огнём и пеплом, изображал пальцами, надев на них сапожки из клочков газеты, ножки балерины, как она танцует или - Женя охала: босяк! - парится в бане... В Абе не умещалось уныние, неизбывная вера в завтрашнее светлое “всё устроится” грела Абу всю жизнь, с хулиганского детства до кошмарного онкологического финала, и теперь ему, не одну смерть пересилившему, что ему были житейские неурядицы вроде недоедания?.. “Всё устроится, Женёк!” - улыбался он Жене. - Мне везёт даже с сапожником”. Он имел в виду скидку, которую ему делал в будке напротив старый сапожник за то, что Аба мог объясниться с ним на иврите - наследии Абиного детства в Ровно.

Но шли дни, и улыбка тускнела.

Посуды не было, чай, то есть кипяток, пили из чёрных стопочек для взбивания мыльной пены при бритье, пластмассовых, от горячей воды на их стенках вздувались прыщи. Сладость кипятку придавал сахарин, таблетку на стопку у взрослых, полторы - у детей. Аба пил чистый кипяток, удивлённому Шимеку пояснял: “Не люблю сладкое с детства”. Шимек сперва поражался странностям отцовского вкуса, тем более, что прозвучал уже Абин сюжет прямо противоположного свойства: из неумеренной любви к сладкому он в детстве на спор съел в один присест двадцать порций мороженого... Потом, с подсказки Жени Шимеку прояснилось папино неприятие сахара: коржило Абу от стыда сидеть без работы на шее шурина.

Работы у Абы не было никакой. Не брали его на работу из-за отсутствия прописки - права на жительство. Ему как бывшему заключённому областной центр Одесса запрещался, и он жил, ходил, дышал здесь с большой оглядкой. Их квартира находилась в том же доме, что и стари-

ков Брауншвейгских до войны, и тот же дворник Петро нёс свою государственную службу.

Честный Петро и доложил в милицию о проживании Абы, которому предписано было жить в Берёзовке (так Аба, выходя из лагеря, напросился, чтобы поближе к семье), а вин, трясца ему в ребро, переходуется у жинки, как нема над ним советского нашего закону... И пришла Абе бумага: в три дня убыть.

Спас Абу родственник - главный врач психиатрической больницы. Он не побоялся: госпитализировал Абу на обследование, которое сперва отсрочило его высылку из Одессы, а затем обеспечило справкой, удостоверяющей придуманную душевную болезнь и нахождение Абы под постоянным наблюдением.

Дворник Петро, увидя справку, задумался насчёт жидовской хитрости, но не успел поделиться думой в милиции, потому что Абе вдруг “пошла карта”.

Так говорил Аба, с радостью вспоминая преферансное прошлое, потому что вдруг узналось, что один из давних партнёров, когда-то Абин подчинённый, уцелел в молотилке тридцать седьмого и теперь - главный одесский милиционер. Аба прорвался на приём, генерал выказался не в пример большинству бывлых знакомцев: не струсил и, верный доброму прошлому, на свой собственный риск даровал прописку опальному бывшему сослуживцу.

Тут опять пригодилась справка психлечебного заведения. Она страховала от случайных уличных конфликтов с милицией, когда пришлось бы предъявить паспорт с взаимопроверяющимися запретом на проживание в Одессе и разрешением в виде прописывающего штампа - иди объясни, что к чему. А со справкой любой милиционер отвяжется, с психа что взять?..

## 32. РОДНЯ

Небольшой сад, забитый пряностью цветов - петунии, пеоны, герань, розовое роскошество, между клумбами выются дорожки, выложенные битым кирпичом, носится по ним овчарка Неста, в углу голубятня, там хлопали птичьи крылья, урчали, ворчали голуби, косили недобрым глазом, теряли перья... Цветы эти, собака, птицы - инвентарь хозяйских забав; сад был частью служебного жилья главно-

го врача больницы, Шимек приходился ему сколькотоюродным племянником и изредка являлся гостем к родственникам, которых воспринимал тогда сказочно богатыми. Шимек из своего нищенства выныривал на Слободке в царство Шехерезады, потому что когда, надышась здесь тёткиным садом, напрыгавшись с дядиной собакой и наглядевшись на его голубей, поднимались обедать в квартиру на втором этаже, то домработница подавала бульон с куриной лапкой и золотая медаль жира вздрагивала на жемчужной жидкости, усыпанной пёрышками рубленого укропа, и голодному глазу Шимека блюдо это было непреложным символом счастливой сытости. А предстояла ещё куриная, светложёлтая с пузырьками масла, котлетка, при ней белым пухом картофельное пюре и огурчик, пузырьчатый крокодилчик на краю тарелки, да на третье компот с дольками яблока, перламутровыми, пружинящими нежно под жадным прикусом и рот освежающими пахуче...

После обеда Шимек шёл с сестрой в дядин кабинет оглядывать стены в книгах, выбирать из корешков самые любопытные. Повалясь на ковёр, они вдвоём листали страницы какой-нибудь “Жизни животных” Брема, такого занимательного в те дотелевизионные времена, а случалось, в полной собственной воле (никто из взрослых не покушался вмешаться) они извлекали из книжных рядов медицинские тома и погружались в напряжённое исследование картинок, преимущественно тех, где самые дразнящие части тела манили их, одиннадцатилетних, не знающих сегодняшних откровений “полового воспитания”. Шимек стеснялся сестры, а она, дочь мамы-гинеколога и папы-психиатра, хитро хихикала, глаза её суживались и в их щёлках искрил многообразный интерес - девочки развиваются раньше.

Заходил в кабинет, не глядя или вроде бы не глядя, сам хозяин, немногословный, суровый. Шимек побаивался дяди, хотя видывал его и улыбающимся, и даже хохочущим, когда он затевал с детьми домашние игры в живые шарады или бесился с ними на пляже. Но больше дядиного глаза смущал Шимека пронзительный до безжалостности, прямой, так что никуда от него не деться, взгляд со стены над дядиным письменным столом. Там висел портрет Зигмунда Фрейда.

Откуда было тогда Шимеку знать, что дядя был не только психиатрическая знаменитость, не только умелец больничного дела, лектор мединститута, на чьи выступления сбегались студенты, судебный эксперт, развязывавший самые хитрые узлы уголовщины, но и знаток



Пастернака, и голубевод, собачник, рыболов, острослов, а в Первую мировую войну солдат, а во Вторую мировую начальник военного госпиталя. Но главным, наверно, в дядиной биографии было то, что в Большой Медицинской Энциклопедии 1930 года значилось его имя как одного из виднейших последователей З. Фрейда - он входил в известную одесскую группу фрейдистов. Руководил группой профессор Евгений Александрович Шевалёв.

В ходячем анекдоте говорится, что двигателем истории экономист Маркс считал человеческий желудок, а психоаналитик Фрейд - половые органы. Советской власти, опирающейся на учение Маркса, Фрейд оказался не ко двору. Ещё и спустя десятки лет, в 1968 году, институтский учебник “Психиатрия” клеймил фрейдизм: *“сектантское течение... лишён познавательной ценности”*, выгоден буржуазии *“ибо как на источник тяжёлых условий жизни масс человечества указывает не на уродливость капиталистического общества, а глубинно-психологическую природу человека, на его бессознательные влечения и инстинкты”*. В конце сороковых, когда вождь СССР пришпорил вечно резвого конька юдофобии и развернул русско-патриотическую борьбу с *“преклонением перед иностранщиной”*, с *“безродными космополитами”* и *“буржуазным еврейским национализмом”*, в противовес заграничному еврею Фрейду засверкало чисто русское имя Ивана Павлова. (Иноземство и еврейство Маркса, как и антисоветскость Павлова, естественно, в счёт не шли.)

Дядю Шимека, хоть и ветеран войны и всё такое, но вышвырнуть с работы за Фрейда сам бог (советский) велел. Дядин друг и соратник по фрейдистской молодости в боязни лишиться трудно нажитого профессорства затрепетал на всю оставшуюся жизнь, до самых 80-х не переставал печатно ругать Фрейда: *“туман путаных теорий... биологизация социальных явлений... яростный антиинтеллектуализм”*. И Шимеков дядя-фрейдист тоже нормально для советского человека испугался. Но поступил - ненормально. Ему бы от греха выбросить портрет Фрейда - а он, подобно испанским крещёным евреям-маранам, решил тайно молиться своему богу. И прикрылся, как мараны Иисусом, - Павловым.

Лечившийся в психбольнице художник Николай Оже выпросил разрешение рисовать копии с картин на вкладках журнала “Огонёк”. Среди них был известный портрет Павлова в саду работы М. Нестерова.

Озорной дядя сообразил прикрыть врага власти обласканным ею ликом. Почти как сохранять еврея в здании гестапо. По просьбе дяди больной Оже нарисовал нестеровского Павлова в размере портрета Фрейда, холсты совместили: под стеклом сиял нежно-розовых тонов Павлов вблизи весёлых цветов и листьев, а под ним затаился чёрно-белый Фрейд.

Никаких этих подробностей Шимек тогда не знал, только заметил подмену изображения спустя годы, когда пришёл сюда уже студентом и интересы его сместились далеко от будоражащих подробностей медицинских книжек, и тут дядя вдруг позвал его с собой ехать в соседнюю провинциальную столицу Кишинёв, где ему предстояла судебно-медицинская экспертиза.

Военный трибунал судил дезертира из танковой части, который, бегая по молдавским степям, бахчам и деревням, убил двух человек, потом пробрался обратно в свою часть, заперся в уборной, выстрелил себе в голову, ранил себя легко - то ли случайно, то ли симулировал... Шимека впечатлило неожиданное: затюканные молдавские крестьяне, робкие на пороге судебного зала и не убоившиеся безоружными преследовать убийцу с автоматом; еврей - заместитель командира полка, в одиночку штурмовавший туалет с отстреливающимся беглецом; подсудимый, ради отяжки смертного приговора представлявшийся то шпионом, то психопатом, то неменяемо пьяным в момент убийства... Блестяще, ярче и адвоката, и прокурора, говорил дядя-эксперт, а потом, на обратном пути домой, ещё занимательнее и подробнее вскрывал Шимеку картинку притворного сумасшествия.

После Кишинёва Шимек с дядей подружились. Дядя развлекал Шимека психиатрическими фокусами, демонстрировал на прохожих своё умение распознать характер в чертах лица, выявлял, например, алкоголиков по форме усов, растолковывал психологические тонкости в татуировке уголовников. Расположение дяди простёрлось до показа Шимеку машинописного дядиного перевода фрейдовского "Толкования сновидений", тогда всё ещё крамольного; Шимек увлёкся, ночами для себя конспект составлял.

Из увлекательных поучений дяди Шимеку запомнилось: жизнь хуже, чем человеку желается, мечта и действительность - вечный конфликт; от этого невроты в обыденном поведении или психозы - убега-

ние в вымысел. Спасение в художественном творчестве: сбросить свои комплексы в игре воображения и вернуться к общепринятому “здравомыслию”, к норме. Впрочем, замечал дядя, нормальный человек скучен. Интересны как раз отклонения, художественное творчество ими-то и занимается. Но самые большие отклонения, патологии, сумасшествие невозможно вообразить. Никакому гению не погрузиться в потёмки больного сознания. В мировой литературе, говорил дядя, один Достоевский сумел описать психопатологию, и то лишь потому, что сам был эпилептиком. Поэтому и симулянту трудно войти в неизвестное состояние, но и врачу различить притворство не так уж легко, оно может сочетаться с признаками действительной болезни, особенно после длительного пребывания среди психопатов.

Дядя, к слову, предложил Шимеку поглядеть на его, Шимека, дальнего родственника, из Брауншвейгских. Шимек и не подозревал прежде о его существовании в Одесской области, только удивился фамильному сходству, когда увидел этого провинциального Брауншвейгского на скамейке в тених больничного прогулочного пространства. Стояла осень, одесская октябрьская - тёплая. В тишине слышалось осыпание лип и клёнов. Солнечные пятна плавали на земле аллеи, на чёрно-седой кудлатой голове больного, на его неловко сгорбленной фигуре в сером мышинном халате. Он сидел на скамейке без спинки, нога на ногу, низко горбясь и кривя шею над доской, подложенной на колено под лист бумаги, по которому судорожно дёргался огрызок карандаша в его скрюченных пальцах.

Шимек с дядей прошествовали мимо медлительнейше, чтобы исподволь насытить шимеково любопытство. Шимек боялся спугнуть больного, но дядя уверил, что тот их не замечает, а когда заметит - отдаст своё письмо для передачи лично товарищу Сталину.

Дядя рассказал: Илья (он же по паспорту Израиль) Брауншвейгский, член партии большевиков с 1903 года, делал революцию в тайных кружках и царских тюрьмах, в эмиграции с Лениным, в гражданской войне и в мирных буднях: фронты, продразвёрстка, стройки, коллективизация - годы без продыха... Выученный юридическому делу в двух университетах, Новороссийском и Сорбонне, он с 1925 года преподавал советское право в университете Московском, а потом, профессор, был брошен создавать колхозы, волей партии морил мужиков и как-то ночью ощутил на задубевшей щеке непар-

тийную слезу - скребли душу ужасы пути в коммунистический рай. Он вырвался назад, в правосудную службу, вознёсся в члены Верховного суда и пришлось опять разить врагов трудового народа, ни их, ни себя не щадя, так что в 1938-м году загредел, но удачно: не в расстрельный подвал, а в психушку, стараниями родных подальше от Москвы, в Одессу.

Здесь почти двадцать лет Илья Брауншвейгский склоняется над листом бумаги и старательно, сосредоточенно - слюна незамечаемая ползёт по губе - выводит разоблачительное: "Банда вредителей, диверсантов, шпионов и убийц по заданию капиталистического окружения для состоятельности заговоров значительнее нашей бдительности раскрывают органы внутренних пролетарских законов с целью полного и окончательного ликвидации банды вредителей, диверсантов, шпионов и убийц как класса заклятых врагов и банды вредителей, диверсантов, шпионов и убийц..."

Когда они возвращались по аллее и снова оказались рядом с Брауншвейгским, он не писал, сидел, уперев взгляд в больничный корпус напротив, и слёзы текли в морщинах землистых щёк. Завидя доктора, он протянул ему свою бумагу и огрызок карандаша и стал захлёбываться жалобой: - Доктор, вы из органов... Горячее сердце... чистые руки... белый халат... Прикажете ручку с пером... ручку с пером... Пишу партии, правительству лично товарищу Сталину, карандашом нельзя. Карандаш тупой... Прошу компетентные органы распорядиться поточить... Надо предупредить... Немедленно... карандашом... товарищ Сталин лично доктор вот почитайте срочно враги прошу довести до сведения Органов лично...

И по своей бумажке, дрожащей в пальцах, зачитывает, кривя красивые пухлые губы между короткими усиками и бородкой старорезимной, клинышком, глотая слёзы и слова: - Враги вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, изнемогающие родную партию и пролетарское государство более подробно зафиксировать необходимо для борьбы классов мировой революции особенно... - И снова плачет, не глядя на них, уходящих по аллее, где плавают солнечные пятна.

Доктор рассказал Шимеку, что поначалу, когда Брауншвейгский попал в больницу, жена и сын его то страдали, то подозревали, что он симулирует, спасая себя и семью от положенной им всем кары для врагов народа. Распознать игру непросто, поскольку сдвиги в

психике, несомненно, были. Но лечащему врачу не хотелось стараться с разоблачениями, ясно ведь, что больного ждала на воле пуля, а семью его - лагерь. Так он здесь и задержался, а болезнь прогрессировала. Вот уж ни Сталина, ни лагерей его, а он всё бьётся в революционном долге. Сегодня он точно “наш”, как говорит вахтёр Миша, - усмехнулся дядя. - Впрочем, “наших” вокруг предостаточно, с семнадцатого года - эпидемия сумасшествия.

Помолчав, добавил, снижая тему до анекдота: - В начале советских времён вышел сборник “Улыбки ЧК”, там какой-то чекист-дегенерат разразился стихами, не могу забыть: "Нет больше радости, нет больше музык, Как хруст ломаемых жизней и костей. Вот отчего, когда томятся наши взоры И начинает бурно страсть в груди вскипать, Черкнуть мне хочется на Вашем приговоре Одно бестрепетное: “К стенке! Расстрелять!”". Клиника. Синдром садизма.

### 33. ГУЛАГ

**А**ба, придя домой со справкой психлечебницы, долго дёргался, подмигивал, хихикал с визгом - разыгрывал психопата, до того натурально - Жена даже перепугалась. Аба, так же весело, дурачась, пояснил: “Разве я симулирую? Живу-то идиотом”.

**Аба:** Я в лагере в последние годы был расконвоированный, не хуже вольных. Каптёркой командовал, кладовщик - большой человек. На столе таз с конфетами - дети вольняшек прибежали, хватали. А здесь сыну кусок сахара не купишь. И предлагали же остаться вольнонаёмным, так нет, сколько можно пляиться на вышки с проволокой. Вольного пейзажа дураку захотелось...

И, словно облизывая сладкую тему с разных сторон, припоминал Аба детскую историю с пари на мороженое: “Здорово я тогда поспорил с одним парнем, и он, и никто другой не мог поверить, что я почти четыре кило смогу умять за раз, я сам не верил, но выиграл, выжрал через силу, он таки оплатил моё удовольствие. Он деньгами, а я вот глухотой на всю жизнь - простудился сильно, два месяца болел. Зато большое преимущество: сколько глупостей не слышу!”

Правое ухо закрылось вовсе, в левом непросыхающий гной, к глухоте добавлялись врождённая гемофилия и нажитая стенокардия, но выглядел Аба могуче, а требовалось, кровь из носа, застрять под Магаданом на пересылке для немощных - “инвалидной командировке” в преддверии колымских приисков и лесоповала, там заключённые выживали от силы несколько месяцев. Аба прибавил к болячкам симуляцию, обжулил, а может, охмурил лагерную фельдшерицу, она и оставила его в инвалидах, не отправила на убой трудом и морозом.

Работа на износ, температура за минус пятьдесят, ноздри слипаются, снег не скрипит - визжит... Из лагеря в тайгу под конвоем, “шаг в сторону - побег, стреляем без предупреждения”, а обратно свободно, каждый гонит сам, кто не успеет, пока ворота не закрыли, того тайга ночью приголубит, навеки... Аба, когда начинал косить под болезнь ног как-то при возвращении из лесу отстал от прочих, бросил симулянтские свои костыли, чтобы из последних сил, каждым вдохом грудь когтя, рваться к сволочным, стервяжьим, сучьим, паскудным, к родным, желанным, чтоб им сгинуть, сторожевым вышкам, к воротам, за которыми зона, барак - защита от стужи-убийцы, нары, одеяло...

Аба выжил, даже сделал карьеру. Проскочил в “придурки”, подружился с “блатарями”, развлекая их цирковыми фокусами и пересказами книг - “травил романы”, вождя блатарей-”пахана” ублажил настолько, что когда у благодетельницы-фельдшерицы лагерной кто-то украл термометр, единственный, наверно, на сотни километров вокруг, Аба пожаловался “пахану”, и через два дня принесли Абе от него гранёный стакан, в котором торчали целых три термометра - не иначе, умыкнули у большого медначальства, может, и в самой гулаговской столице - Магадане. Аба мог щедро отблагодарить свою благодетельницу.

Он в ту пору выбился высоко, в старосты барака: больше сотни отбракованных медиками зеков и он над ними “старшой”.

**Аба:** Из политических мало кому так везло. Лучшие должности ведь начальство давало стукачам или блатарям - “классово близким”, как говорили. У нас сидел Гриша, бывший председатель столичного горсовета, старый большевик. Кулаки - гири. И он в драке убил бан-

дюгу одного, получил новый срок, но стал уголовником, своим у начальства. Сразу устроился на хлебное место в конторе, в тепле...

Хороший был парень, многим помогал. Как-то попросил меня: пришёл новый этап, у него там приятель, командир дивизии, нельзя ли у меня в бараке его спрятать. Комдиву, мол, перекантоваться бы день-два, пока остальных не погонят дальше, на прииски. Жалко мужика, он больной после допросов, на “общих” точно загнётся. А здесь, глядишь, зацепится, попробуем комиссовать его как больного, перебьётся как-нибудь.

Я, честно говоря, подрожал-подрожал, храбрый Янкель, а потом чего-то ляпнул: “Давай рискнём. Приводи, только попозже, когда спать”. И в тот же вечер, барак весь сопит через две дырочки, ворочаются, пукают, я сижу у печки возле двери, полешки подкидываю, греюсь - тут дверь распахивается и с мороза, в пару, вваливается тип здоровенный, ушанка, фуфайка, лицо не разберёшь, заиндевело, да и лампочка надо мной слабая, еле светит. Он валенками стучает, как гусары когда-то шпорами, только звона не хватает. И басом, в ночной тишине гулко, страшно, ухаёт звание, фамилию: “По вашему приказанию явился”. Честь бы ещё рукой к ушанке... Я просто ахнул: “Где его спрячешь? С таким ростом под нары запикивать?”

Ну, короче говоря, спрятал я его. И не на день-два, а больше, пока действительно не пересидел он очередное этапирование на север. И потом прижился у нас, на “инвалидной командировке”, наверно, Гриша опять помог. Этого комдива, как очень немногих, о-очень, перед войной вызвали в Москву, освободили, он всю войну прошёл, кончил большим командиром... Можно считать - мой вклад в победу. А то ведь я вместе с другими просился на фронт, говорили нам: “Просите разрешить искупить вину кровью” - какая, к чертям, вина? - но мы просились, зона хуже фронта, авось, выживешь... Почти никому не разрешили, у нас - только блатарям. За мной, значит, только тот генерал...

Комдив, пригретый Абой, из его барака взошёл к чину генерала армии, к званию Героя Советского Союза, к депутатскому креслу в Верховном Совете страны. Фронтовые дороги, от крови склизкие, провели его через Харьков, Сталинград, Курск до самого до Берлина, ко-

торый он брал и которым, уже покорённым, позже командовал. Славно воевал; грозный всем маршал Жуков - и тот привечал генерала.

Шимек видел Жукова. На площади Октябрьской революции, бывшем Куликовом поле.

Здесь проходили праздничные демонстрации, и одесситы восторженно лицезрели на трибуне между неразличимых областных князьков квадрат грузного, от оплывающего подбородка до широченного ярко-жёлтого пояса осиянного наградами человечка с маршальской звездой под широким не улыбочивым лицом - Великого полководца, выигравшего Великую войну и тут же низринутого в унизительное командование малозначащим местным военным округом - угадывался традиционный путь сталинских соратников в позорное небытие через опалу, а то и убийство.

Одесситам льстило видение Маршала на городской трибуне, их радостно ослепляли драгоценности и ленты необозримых его отличий, металло-бриллиантовые сооружения двух орденов Победы, диковинные заморские кресты; предписанные начальством “Да здравствует...” демонстранты кричали персонально ему, сокрушителю фашистского чудовища - колонны яростно ликовали, а он отрешённо подносил руку к фуражке, колот толпу бесцветными жёсткими глазами, над Золотыми звёздами Героя Советского Союза сталь взгляда, безжалостного и мрачного.

Маячило ему памятное: неисчислимые военачальнические судьбы, порубанные Сталиным. Григорий Штерн, командир Жукова на Халхин-голе в тридцать девятом, один из первых Героев, его смертно мордовали на допросах и расстреляли - награда за победу над японцами... А другие жуковские начальники, потом его же и подчинённые? Рокоссовский, интеллигентная жопа, но вояка же, мать его, какого не сыскать - а сколько баланды тюремной выхлебал!.. Мерецков, начгенштаба бывший, ему сосунок-следователь на лысину ссал... Спасибо в расход не отправили, отпустили обоих повоевать, теперь маршалы, тоже Герои...

Херня какая - Герои! У него этих Звёзд три, да Победы две, да иностранный иконостас - полное пузо, а пытке не помеха. “За прошлое спасибо, а за нынешнее ответь” - поговорочка следовательская.



К здешнему месту ближе мог Жуков припомнить одессита Гамарника, в гражданскую войну председателя одесского большевистского губкома, потом взлетевшего в начальники Политуправления Красной Армии и в 1937-ом застрелившегося в преддверии сталинских пыточных камер.

А вернее всего оглянуться бы Маршалу на Троцкого. В своё время, как и он, Жуков, первейший солдат страны. И тоже с Одессой повязан, даже и с этим именно местом, полем Куликовым, где в двадцатые годы уже вождём русской революции, выступал на параде на Куликовом поле перед войсками... В Одессе Троцкий триумфаторствовал, отсюда отплыл в небытие...

### 34. ПОВЕЗЛО

**П**ослевоенная Одесса. “Ура!” победы и забота выжить. Не так уж и разорён город. Нет, правда, евреев, но Привоз на месте, и Опера на месте - не тушуйтесь, чудаки, выгребем, не бери нас на испуг...

А тени прошлого застилали небо Одессы, клубились на улицах, пробивались трагедийной молвой. Какой-то одессит, рассказывали, еврей, офицер, в день освобождения города примчался на свою квартиру, а там живут бывшие соседи, они его семью, жену и двух детей, выдали румынам; офицер семью соседей тех перестрелял, всю как есть, и обратно на фронт; “Мстить!” - добавляли романтики.

Другая история, совсем достоверная, трогала Гродских особенно, потому что случилась на их улице, совсем рядом, в доме 97, где в годы оккупации у Надежды Краковской-Ткачук прятались её муж Арон Краковский и его двоюродный брат Яков Заз. Заз потом оказался в другом месте и выжил, а на Арона, наверно, донесли, потому что его арестовали. Всего за 10 дней до свободы после двух с половиной лет терзаний и страхов. А расстреляли его в самый день ухода оккупантов.

- Не было, видно, в тот день у немцев других забот, - вздыхал доктор Гродский, прихлёбывая чай, далекий от прежнего запаха, прежних крепости и сладости, за своим столом, где многих гостей недоставало - война перемолола.

Какое-то утешение, однако, просверкивало. Вот только-только открылось: совсем под боком, в этом же доме Гродского, на втором эта-

же, в квартире номер два, коммунальной, тихий служащий Борис Михайлович Коростовцев всю оккупацию скрывал в своей комнате двадцатипятилетнюю еврейку Иду Гасинскую. В квартире было ещё три семьи, евреев они не любили. Почти два с половиной года Ида пряталась от них, дышать прокрадывалась на балкон, при крайней необходимости выскальзывала незаметно на улицу с фальшивым паспортом на украинку Лиду Кайдалюк. Паспорт выправил Борис Михайлович, он же на расстоянии охранял её в уличном риске. Охрана была сомнительной, а риска хватало, стоило только ступить вон из дома: прямо напротив, на Новосельской, 84 размещалась румынская полиция, а за углом на улице Толстого полиция немецкая. И внутри жилища страх таился: случилось ведь, что немцы, проверяя надёжность соседних домов, наведались с овчаркой к Коростовцеву с обыском, чудо, что собака не учуяла еврейки в шкафу.

- Да, - замечала Надежда Абрамовна, - немцам и за нами недалеко было идти.

Сколько, - думал Гродский, проходя домой своей улицей Новосельской, после освобождения опять Островидова, - сколько крови, грязи и чистоты душевной перемешалось здесь, на этом клочке одесской земли. А снаружи благостно: акации, колыхание зефира, примусы на тротуарах, ребячий гомон... Мирная жизнь проклёвывается то ванильным запахом печенья из жилого полуподвала, то из балкона на втором этаже вспорят летний вязкий вечер пианинные раскаты, сбивчиво, неуверенно, явно ученически, что и подтверждалось обрывом аккордов, детским вскриком: “Надоело-надоело-надоело!” и ответным строгим голосом, видимо, материнским: “Людочка, без капризов! Золотко, ради папы, он так мечтал...” И снова взъеривается пианино, и радоваться бы прохожему доктору, да забила ему голову другая музыка, только что услышанная неподалёку, от уличного одноногого аккордеониста - инвалид неумело шевелил трофейный, сверкающий инкрустацией инструмент и в бархатное его многозвучие вплетал пропитым голосом надрывные слова: “Дорогие братишки, сестрёнки, До вас с просьбой сраженьев герой, Вас копейка иль рупь не устроят, Для меня же доход трудовой”. Хрипела в душу Гродского искалеченная войной жизнь.

*“В Чрезвычайную комиссию Сталинского района  
От Шапиро Александры Семёновны  
проживающей...”*

*Хочу вкратце изложить наши переживания по румынах... Нам кто-то посылал румын проверить документы и обвиняли нас благодаря фамилии что мы евреи. Три раза мы с мужем [Андреем Семёновичем Шапиро] были арестованы и подвергались избиению румынским комиссаром Романым (его я никогда не забуду). Мне он выбил все верхние зубы, а муж мой на сегодняшний день совсем инвалид. Он почти лишился рассудка и у него парализована речь... Они, когда приходили проверять документы, рылись в шкафах... забирали всё, что хотели. Мой муж бывший моряк проработал в Совторге. Мы имели много хороших вещей, которые берегли для единой нашей дочери. Они забрали у меня с пальца обручальное кольцо в 3 золотника, два хороших отреза на костюм или пальто, прекрасный мужа костюм... две машинки швейные... Безумно жаль, но всё это не то, они лишили меня и дочь кормильца друга мужа и прекрасного отца.*

*Жалко смотреть на бедного человека. Он сидит часами безмолвно и смотрит на тебя жалким взглядом. Просит, чтобы его лечили, но теперь врачам не до него. Девочка моя это тоже комок нервов, бедная и её арестовывали, тащили как комсомолку, тоже по доносу скажи что ты еврейка. Во дворе знали, что девочку мы крестили в квартире, но всё же напали на нас. Между прочим в квартире этой же жила еврейка, которую мы сберегли разными путями, и племянник моего мужа коммунист. Эти два человека были на сладкое после всего горького.*

*Старуха Зайчик еврейка пряталась мною при обысках румын и под кровать... и на чердаке и за зеркалом..."*

Александра Семёновна Шапиро сообщает бытовые подробности, не более того - кто тогда, в 1944-м мог представить будущую награду за спасение евреев? И Гродскому такое в голову не могло прийти. Он, когда до него доходили подобные жалобы, мог не задуматься даже о странности совпадения еврейской фамилии Шапиро и их православия, а может и чистого славянства - не то было сейчас существенно, а как этот еврейский мотив определил несчастную судьбу семьи.

Спасшиеся в Катастрофе... Спасшиеся?

Н. Красносельская: "Бабушка после войны в Одессе не могла жить психологически. Ей в 1944-м рассказали, что видели дедушку повешенным за ноги. Тогда она и сказала: "Буду скитаться по углам, но в Одессу не вернусь".

А я... После войны я боялась. Боялась всего. Я никому никогда не могла перечить. Если мне говорили “нет”, я тут же уходила. Не умела ничего отвоевать, защитить себя. В жизни ничего не добивалась, всегда уступала, я и сейчас всегда в сторонке. Только через тридцать лет, мне уже было 49 и случился инсульт, и у меня, видимо, с психикой что-то сделалось: я хоть чуть-чуть распрямилась, стала понимать, что я человек. Я теперь уже умею за себя немного постоять. Но в общем жизнь моя отравлена полностью”.

Аба в пятидесятые годы после изгнания из Одессы жил с семьёй в сибирском городке. Местных мужиков он удивлял прежде всего трезвостью - но её объясняли, мол, явреи, известно, не пьют, закон, слышь, у их запретный, - а во-вторых, безматерностью: “Ты, Абрам Йосич, никогда, что ль, не лаялся? Ну, чисто девка с-под юбки мамкиной...”. Трезвый, не матерится, не дерётся - куда ни кинь, не свой - мало его уважали, разве что за работу грамотную, да это народу по херу, пускай начальство радуется - но зато любили. Любили за то, что мог и по делу выручить, и толково написать хоть письмо родне, хоть заявление по службе, а главное - перед получкой, когда в кармане свистит, у него, непьющего, только и можно было рубликом разжиться, и он сроду не отказывал. А ещё любили, что никогда на работе голос не повышал. “Тихий он у тебя, неспокойный”, - говорили его жене мужики, а бабы завидовали. Сдержанный Аба, однако, дома рассупонивался, раздражался по пустякам, оказывался шумлив, дёрган. За тридцать лет жизни с Женей он ни разу с ней не поссорился (Женя: “Сталин помог, лагерные десять лет не дали надоесть друг другу”) - она и теперь наловчилась сбивать мужнин накал. Но во сне Аба вспрыгивал, глаза навывкат, синие голубели до белого. По утрам, как Женя ни старалась заранее погладить его успокоительно, взвивался пружинно, зрочки бешеные: “А?! Что?!” - панически вскрикивал, и так десятилетиями ежедневно, до самой смерти, не выходил из него лагерь, навсегда занозил.

Выжившие счастливичики... Разве они спаслись, эти люди с изуверченной психикой, с болезнями, с зияющими провалами их судеб, из которых невозвратно вырваны дети, родители, друзья, да и грубый материальный каркас.

*“В Райисполком Водно-Транспортного Района г. Одессы  
От Клусевич Леонилы  
прож. по Театральному пер. №14/16*

*Во время оккупации... я была арестована по указанию врагов народа, что муж мой партизек и за ложное указание что муж мой еврей и*

*дети у меня евреи. Немецко румынские грабители принудили меня работать на тяжелых труд. работах в концлагере г. Херсона, во время пребывания в концлагере всё моё имущество разграбили и увезли... ..в лагере я получила контузию своего здоровья я потеряла слух на 70 % и сейчас осталась инвалидом на всю жизнь. Работая в сырости и болоте я теперь страдаю общими заболеваниями организма. Я прошу комиссию по разборке разграбленного имущества взыскать стоимость моих вещей нижеперечисленных с румынских грабителей, перечень вещей см.*

- 1. Бельё, простыни, скатер. Полотенцы и прочь. 21 шт. 8500 р.*
- 2. Туфли мужа и мои 2 пар дет ботинок 4 пар 5300 р.*
- 3. Одеяло шерсть и тёплое 2 шт 4000 р...*
- 6. Костюм дамский голубой 1 шт. 4000 р...*
- 12. Цепка с медальоном золотая 1 шт. 4000 р...*
- 15. Сапоги мужские 50 % изнош. 1 пар 1500 р...*

*На сумму сто семь тысяч триста рублей.*

*Вещи действительно принадлежали мне, свидетели, знающие мои вещи и о пропаже их [следуют фамилии, адреса и подписи]”.*

#### *“Акт 47*

*Настоящий акт составлен 18 сентября 1944 г. (г. Одесса)... в том, что гр. Коган Муся Ефимовна действительно... в ГЕТО пробыла 2,5 года, откуда вернулась и не имеет на существование денег и одежды и крайне нуждается.*

*(3 подписи)”*

*“В Чрезвычайную Комиссию содействия Ворошиловского района г. Одессы по ущербам и злодеяниям...*

*Гр. Гофмана Абрама Яковлевича  
и Гофман Рахиль Осиповны,  
проживающ. по ул. Баранова № 40, кв. 27*

#### *Заявление*

*...со дня вступления в город румыно-немецких варваров они беспрерывно нас терроризировали и грабили, меня выгоняли в тюрьму, жену угнали на Дальник, после Дальника опять в тюрьму и после тюрьмы опять на Дальник, каждый раз выгоняли из квартиры, забирали ключи, расхищали наше нажитое многолетним трудом добро и*

*так изо дня в день продолжалось это гонение... 12 января 1941 года нас изгнали на Слободку, а оттуда в Доманёвку...*

*В Одессу мы вернулись 16 апреля 1944 г., квартиру нашу застали совершенно пустую, буквально голые четыре стены, всё наше имущество как-то мебель, носильные вещи, бельё, посуда и т.д. абсолютно всё, со слов жильцов, вывезено, разграблено румынами. При сём прилагаем список нашего имущества, оставленного нами в нашей квартире, уходя в гето 12 января 1942 года..."*

После возвращения из эвакуации у Шимека во дворе закадычный образовался друг, Витёк, чуть постарше Шимека и много сильнее - дружить было лестно. Играли в футбол и ножички, бегали "стукаться" с враждебными пацанами на соседнюю улицу, ну и на море, и на рыбалку, в кино, на стадион - короче, водой не разлить. Школьные беды обсуждали, про девочек значительно перебрасывались, приблизиться опасались, но за женское толковали с обширным знанием, почерпнутым от уличных авторитетов, многоопытных и многословных. До дела и Шимеку и Витьку ещё было далеко, но грёзы томили. Мечталось...

А по двору девятнадцатилетняя Ксана ходила. Нет, не ходила - павой плыла, перебирала томными, безукоризненно выточенными ногами, бедром приваживала: едва-едва, но заводно. И от плеч её на спину струились бесконечные золотистые волосы, а над виском в них алел цветок, чаще всего роза, и сине-зелёные её глаза прокалывали насмерть встречаемых мужчин, кто не до конца замучен, и они трепыхались издыхающими бабочками в неисчислимой коллекции дворовой энтомологини. Шимеку острив её взгляда мнилось орудием мечты, несказанной и безнадёжной, ибо не могло оно целить в малолетнего пацана: восемь лет разницы, ребёнок!..

Шимек о своей тяге ни шепотка никому, даже и лучшему другу Витьку. Только бросил как-то совсем невзначай, когда Ксана королевски проносила мимо свою неотразимую статью: "Ничего чудачка! Интересно, жарится?". "Хо-хо, - дёрнул чёрными кудрями Витёк. - Она при румынах у нас тут первая подстилка считалась. Мать её солдат принимала, а Ксана и военных, и кого хочешь, мамалыжников бессарабских или наших - ей без разницы. Говорили: кровать так скрипела - деревья качались".

Витёк жил в оккупированной Одессе, семья его была украинско-болгарская, мать торговала, отец сапожничал. Витёк почти не расска-

зывает об оккупации, может, стеснялся с евреем Шимеком, тому ничего приятного такой треп не сулил. Но сейчас, к слову пришлось, Витёк вдруг ляпнул: “Если честно, при румынах хорошо жилось, лучше, чем сейчас”. Замявшись, вспомнив, наверно, как грабили, били и уводили евреев, Витёк великодушно добавил для Шимека: “Конечно, плохо было с евреями, а так... вообще-то... лучше, чем сейчас. В магазинах полно всего, жри сколько влезет... пластинки Лещенко... Конфеты...” Он по-дружески не сказал главного. Магазины не от конфет ломились, а от еврейских вещей, награбленных в опустевших еврейских квартирах.

Витёк жил как раз в такой, бывшей еврейской квартире, там и мебель, и посуда в буфете, шмотки в шкафах, шторы на окнах - всё еврейское. Полный ажур квартирка, с балконом, даже алоэ в горшочках на подоконнике от бывших хозяев остались. Добросердечные витьковы родители, в общем, жалели бывших, но если бы они вернулись, пришлось бы добро возвращать: мы же по совести, не как некоторые зубами вцепились в чужое. Известно, прямо у нас во дворе есть паразиты: хозяин с фронта пришёл, а ему дулю под нос...

Вскоре выяснилось, что семье Витька повезло не до конца: бывшие хозяева не подчистую сгинули, как прикидывали во дворе. Ни с фронта, ни из эвакуации никто не вернулся, но надо же, с Доманёвки злыдня одна приставучая заявилася, с геты сбегла и выжила, её какая-то паразитка, сама нееврейка, а пригрела, сохранила, теперь вот взялась на нашу голову, теперь вот жилплощадь требует. “Хоть бы одну комнатку”. Иди, иди, проваливай... Упаси боже, дознается ещё, как ихний хлопчик просился до нас схватиться, а мы погнали; было такое, было, а куда деваться, своим, что ли, дитём рисковать?

**Л. Гимельфарб:** “Когда мы вернулись в Одессу после освобождения, мы сразу пошли к Гродским и муж просидел с ним всю ночь. Константин Михайлович рассказывал ему, как они жили в оккупацию. Поскольку у него фамилия польская, он сделал себе паспорт на поляка, а жене - караимский паспорт. Он сказал, что у него как у венеролога лечились многие румынские офицеры, поэтому он не боялся за свою жизнь. Он оказывал огромную помощь продовольствием и одеждой врачам, попавшим в гетто.

Но он переживал, что не может ничего сделать сейчас для тех, кто выжил. Они умирают от голода и холода, а у него теперь нет средств. И всем ведь не поможешь”.

Но не усидеть неуёмному доктору. Уже 29 мая 1944 г. он пишет самому знаменитому тогда советскому еврею: *“Глубокоуважаемый Илья Григорьевич! Слушая за время оккупации Одессы по нелегальному радио запретную Москву, мы записывали и заучивали Ваши талантливые, непревзойдённые по глубине, яркости и чеканности мысли... В эти минуты мы были бодрее и сильнее от сознания, что всё неслыханное и ещё невиданное в жизни человечества не пройдёт без заклеяния огненным языком... Ильи Эренбурга.*

*...если злоба зовёт к мести... то доброта должна привести к широчайшей всесторонней помощи (денежной и вещевой) оставшимся 1500-2000 человек...*

*Помощь должна быть экстренная! Имеются дети и люди 50-70 лет. Без вещей, денег, в лучшем случае в пустой комнате!...*

*Верю, что вы разовьёте работу с такой же энергией, с какой Вы призывали к мести за погибших, на оказание материальной и правовой помощи оставшимся в живых*

*...Желаю здоровья!”*

Из ответного письма **И. Эренбурга** от 14 июня 1944 г.: *“Дорогой Константин Михайлович! ...В настоящее время Антифашистский Еврейский Комитет предпринимает шаги для оказания помощи и в ближайшие дни в Одессу будут направлены партия одежды и деньги...”*

**Гродский** - Эренбургу 24 марта 1945 г.: *“Высокочитимый и глубокоуважаемый Илья Григорьевич!*

*...До сих пор никто из вернувшихся нищих из гетто... а равно и крайне нуждающиеся реэвакуированные евреи никакой помощи не получили. Не желая Вас огорчать, я Вам больше не писал, ибо понимал, что это от Вас не зависит...*

*Сегодня мне стало известно, что Одесский Горисполком пошлёт Вам приглашение посетить Одессу 10 апреля - в день годовщины освобождения г. Одессы от оккупантов. Мне представится возможность Вам лично вручить собранный мною архив приказов оккупационных властей об евреях... Смогу Вам представить... уцелевших в гетто, которые в личной беседе дадут материал о гибели до 80000 евреев-одесситов. Это письмо Вам вручит студентка медицинского института Белла Шнапек... прошедшая через горнило страданий и уцелевшая. По общему*



*отзыву эта юная девушка вела себя гордо, честно и мужественно, чем заслуживает честь быть Вами принятой...*

*Если Вы захотите в Одессе прожить не в гостиничной обстановке, а в прекрасной квартире, уюте, заботе и любви, то я и моя жена сочтём за честь принять Вас у себя дома...*

*Крепко жму Вашу руку”.*

*Б. Шнапек: “Константин Михайлович в период оккупации записывал события страшных дней... Перед моей поездкой с больной тётей в Москву Константин Михайлович попросил к нему зайти. Свои рукописи-воспоминания только мне доверил передать И. Г. Эренбургу. Как зеницу ока берегла их и сопроводительное письмо.*

*...Был апрель 1945 г. Москва была затемнена. Илья Григорьевич... узнав о моём пребывании в гетто, попросил подробно рассказать об этом... Эренбург выглядел уставшим и удручённым. Я обратилась за помощью бывшим узникам гетто г. Одессы. Илья Григорьевич был членом Антифашистского комитета. С сожалением ответил о невозможности такого акта, т.к. комитет не благотворительная организация, а общественная. Он сообщил мне о своих мытарствах в деле прописки удочерённой еврейской девочки из Польши. Причина удручённости Эренбурга определилась спустя несколько дней, когда в статье “Известий” обрушились на него, обвиняя в космополитизме.*

*Илья Григорьевич предложил обратиться к Михоэлсу - председателю антифашистского комитета... Тепло, исходящее от этого Человека, окрылило меня. Он прервал совещание, очень приветливо встретил и подробно интересовался жизнью во время оккупации. Подтвердил о невозможности оказать материальную помощь одеситам... Михоэлс интересовался моей учёбой, достал необходимые книги. Пригласил на спектакль “Тевье-молочник” с его участием, привёз к себе домой, познакомил с членами семьи...”*

Ничего они уже не могли, прославленные евреи, когда гитлеровскую эстафету по окончании войны подхватывал Сталин. Они не могли, а Гродский подавно. Его спасительная работа окончилась. Он и умер через несколько лет после войны. Жена Надежда Абрамовна пережила его надолго, ныне и её нет. Детей у Гродских не было. Кто вспомнит о них сейчас? Белла Шнапек в Ашдоде?

## 35. ОДЕССА-2002

Я всё-таки добрался до Одессы.

Говорили: визу для поездки на Украину выстаивают в очереди полдня; приезд надо регистрировать, опять очередь и волокита, гасимые взяткой, а её давать - подставиться в уголовники. Без взятки, говорили, шагу не ступить: знакомому художнику собственные картины на официальную выставку мешали ввезти, мзду вымогали; где-то таможенник, не трудясь даже придраться, попросту сказал приезжему: “Дайте! У меня семья...”

Говорили: на улицах грабят; и указывали точные факты. Говорили: в поезде бери отдельное купе и запирайся на ночь. И грязь в поездах, и туалеты воняют. В самолётах та же вонь, и трясётся старенький ТУ, дребезжит... Кроме того, вспомни, говорили, украинские ракетчики недавно просто тюкнули над собой самолёт с сотней пассажиров.

- Как ты там будешь без тёплой одежды? - спрашивали сочувственники. - Конец октября, шутка ли? Снег может выпасть. Бери меховые сапоги. И воды горячей нет, и холодная с перебоями, и электричество вырубается, люди в лифте застревают на пять часов... Еды набери с собой, там отравы - мясо химией напичкано, сальмонелла, ботулизм, коньяк поддельный, в воде холера, в воздухе радиация...

А заболевшему - каюк. В страховке (принудительной - Украине лишь бы выдрать из гостя сколько-то долларов) только и обещается, что немедленная помощь в “экстренных случаях”, вроде перевязки, а если серьёзно лечить - то “вопрос будет рассмотрен дополнительно”. Читай: ждать нечего; проблема: как похоронят.

Говорили, говорили, пугали, отваживали... А я, и без того ошарашенный печальным опытом троекратного провала поездки на Украину по разным нелепым причинам, теперь так трясся в ожидании очередного срыва, что и витающую в воздухе угрозу войны с Ираком ощущал не как смерть и жуть, а только: не смогу уехать.

Страхи.

В последний момент, по дороге в аэропорт, в автобусе объявился добрый знакомый и поведал, как его обыскивали украинские таможенники, чтобы проконтролировать ввозимые доллары, так что укажи, советовал он, в декларации наличие валюты точнейше. “Ты деньги как везёшь? - заботливо спрашивал он. - Надо в носке со

специальным карманчиком”. А у меня ни носка того, ни кошелька нательного, какие носят под бельём, и надо в самолёте (где? в грязном туалете запершись?) пересчитать доллары, поскольку мне кое-кто поручал передать бедствующим украинским ближним конвертики с зелёненькими десятками-двадцатками, и я их совал в сумку, не глядя.

Всё или почти всё вышло по-другому. Никаких очередей ни за визой, ни за билетом. Самолёт дешёвой компании “Аэросвит” был новый “Боинг”, сверкал стерильно и летел, как по рельсам катил, ни дребезга. Ловкие и красивые стюарды толкали по проходу тележку с таким набором дармового питья, что, ошалев от бесплатности коньяка, я выбрал себе минеральную воду. Туалет был чист, исправен, и пахло дезодорантами. Но и в такой утайке разыгрывать Скупого рыцаря, перебирающего деньги, душа брезговала; я пересчитал свои запасы на месте, в салоне и потом, уже в Одесском аэропорту дотошно указал в декларации, согласно требованиям её разделов, контролируемое при ввозе добро: тысячу девятьсот тридцать шесть долларов, *печатные издания* - две книги, *электронные приборы* - диктофон.

Чернобровая дивчина в ладном кителе таможни, наверно, тешась моей наивностью, книги и диктофон просто вычеркнула как недостойную мелочь, по цифре долларов только скользнула глазом, чарующим, но и дежурным, пересчитывать их она, похоже, не собиралась. И вышел я в чистое бабьелетнее одесское утро, в заждавшиеся объятия родни, прореженной за годы разлуки сквозняками эмиграции и, страшной того, смертями - воспоминания мяли сердце, корёжа душу и одновременно множа радость встречи. И в машине, утомлённой долгим опытом лет и дорог, покатали мы в Одессу двадцать первого столетия, 60 лет после моего детства и после войны.

Тот город полувековой давности растаял, как имперский Рим, Китеж-градом ушёл в легенды, в книги, ТВ и Интернетом затоптанные: как ни трудились Жаботинский, Паустовский, Бабель с Ильфом, Куприн с Катаевым - пропала экзотическая Одесса, затерялась в чужбинах. Только вспыхивают там-сям искры прежнего безудержного одесского острословия: в израильском Ашдоде услышится: “Как ему хорошо - так ему и надо”; на Брайтон-Бич торговка книгами (из морщин неистовый глаз, безудержный грим бровей и губ, шляпка с цветочком, охваченная пузырьём плёнки от осенней сырости) говорит покупателю: “Шо вы так перебираете товар? Книга не рыба, не портится...”; в особо

евреелюбивой Германии вздохнёт старик с Канатной, бывшей Свердлова улицы: “Здесь таки да кушают вкусно, но культура?! Три тысячи километров от Одессы, откуда в этой глуши культура?!”

Рассеялась по миру Одессщина. Но и метрополия черноморская ещё теплит душу живу. Город против ожидания чист, запахами разит не наповал, оштукатуренные фасады дышат искусством лучших лет Европы, улицы - зелёные туннели, когда-то одна Пушкинская этим восхищала, а сегодня новые улицы, вдвое шире, зеленеют пышнее её. Сверкают витрины универмага и супермаркета, шевелится торговлишка в малых магазинчиках, нередко продавцы стараются быть приветливы. Прохожие не менее прежнего говорливы и веселы, женщины легки и улыбчивы.

А главное - дух. Потускнел, но не угас, оказывается. Можно и не ходить по знакомым, не проникать в подъезды, запертые для защиты от грабежей и грязи, можно не глазеть на окружающих, в кафе уличном по-парижски сидя, можно и не вступать в беседы со словоохотливыми горожанами - Одесса объявит себя уже выплеснутыми на ежедневную потребу текстами объявлений и вывесок. Казино “Габриэла”, “Ройял Флеш”, “Клондайк”, клуб “Мираж”, ювелирное заведение “Золотая Одесса”, магазины и кафе “Жан-Франко”, “Кесарь” (мужская одежда), “Герр Канцлер” это канцелярские товары, “Наполеон”, “Эльдорадо”... “*Пригородный шик*” - определял Бабель. Лавочка косметики называется “Елисейские Поля”. Иноземная лепота, ароматы Европы. Тут же и “Мак-Дональдс” - как нам без чипсов, без гамбургерового модерна?.. “Шарм” - “Салон красы” (украинской “красы”, а не русской “красоты” - москалям чертячим в пику).

...Знаю, помню и в других местах рекламные роскошества. В Новосибирске плакат с огромной сосиской и прильнувшим к ней котёнком подписан: “Счастья слишком много не бывает”. Московская эстрадная банда “Крематорий” замечательно веселит зрителя, особенно еврейского. В Израиле продают пылесос “Вампир”. В Киеве магазин диетических продуктов называется “Диабет”, а детей пользуют в медицинском центре “Медея” по имени мифологической детоубийцы.

Но Одесса - “это что-то особенного”. “Интимтовары XXI века” - пишется на одесской вывеске. “Красиво снаружи, вкусно внутри” - игриво зовёт ресторан, с некоторым сексуальным намёком. Подают в ресторане шампанское “Одесситка”; на этикетке, подбоченясь, красот-

ка - не устоять, и объяснено стихом наповал: *“Немножко кокетка, немножко пуглива, Немножко безбрачна, немножко жена. В груди у ней сердце, во взгляде огниво, Но любит и взглядом и сердцем она”*.

А на улицах: “Выбери себе подарок от Риволи”, “Камни-обериги” (наверно, обереги - будьте нам здоровы!), “Аромомасла”... Фирма “Тепло-комфорт” строит “русские бани, римские парные, финские сауны” - гуляй, Вася! Туристское агентство “Марко Поло Турс” - не киевский вяло звучащий “Магеллан” и уж, конечно, не Афанасий, понимаешь, Никитин!

На рынке, на Привозе, прославленном описаниями и преданиями, теперь пошло стандартизованном торговыми залами и лавками, тем не менее живёт и прежняя торговля с земли, из мешка, с безменом, а на прилавке рядом с рычажными весами завлекает табличка “Точный вес” и лучезарная торговка уверяет: “Масло, ну клянусь! самое вкусное...”. Рядом продавщица сметаны из бидона для пробы капает на руку покупательницы, виртуозно зачерпнув откуда-то с потайной полочки свежестью благоухающий продукт; в бидоне же позавчерашний, а то и давнее. “Не обманешь - не продашь”. “Водку, - предупреждают меня, - бери только в фирменных магазинах, меньше шансов, что подделка”.

Подделок пруд пруди. Электроника, зажигалки, духи с французскими этикетками. В мировом царстве фальши Одесса давно не столица, но традиции цветут. На Дерibasовской выставлены на тротуар меню: “Свиная отбивная “Алый парус”... гренки прованские... американский кофе...” - сварен, что ли, по-американски? или контрабанда, которая с Малой Арнаутской улицы?

Дерibasовская улица, песенная, фольклорная, легенда и символ. Широченный проспект детства моего, он ужат сегодня киосками и кафешками в прогулочно-базарную улочку, скучную без транспорта, провинциальную, безликую, если не заметить роскошных фасадов. Дерibasовская не утомляет многолюдием. Приезжих теперь мало, а местным что за интерес толкотня? Гуляют по поговорке: “постепенно”...

“Белой акации гроздь душистые” - полощется вальс между стекляшками витрин. Аккордеонист на стульчике посреди тротуара, лысоват и волосат, борода митрополичья по ветру, в голубых глазах еврейский огонь вдохновения, пальцы выколдовывают из инструмента волну

послевоенных мелодий: "...старинный вальс "Осенний сон" играет гармонист..."", "В городском саду играет духовой оркестр..."

Как же ему играть, оркестру, в одесском Городском саду? Здесь, где прежде гремели концерты, где толклись гуляющие, где ещё в царские годы собирались знакомцы для приятного словоговора и клубилась многолюдная компания гомосексуалистов - сегодня здесь базар. Лотки с поделками, между безделушек-побрякушек обнаруживается изящное рукоделие, вышивка, картинки, фигурки, аппликации, на их чёрном бархате распускаются цветы, искусно собранные из ракушек заокеанских, отсвечивающих нездешне - нежно, сказочно... Над одним из лотков плакатик: "Ручками не хватать. С любовью. Администрация". Администрация - одинокий продавец, тоскующий: ручками хватать некому, покупателей в саду меньше, чем торговцев.

Пусто и возле памятного камня, где сообщено, что сад в 1806 году подарен городу братом основателя Одессы Иосифа Дерибаса Феликсом и "реконструирован в 2002 году на средства граждан Одессы под патронатом одесского городского головы имярек". "Я памятник себе воздвиг..." Щедринский город Глупов, градоначальники. Против нынешних прежним слабо. Князь Воронцов, к примеру, сколько Одессой ни правил, сколько ни строил, до "патроната" и самоувековечивания на камне не додумался. Может быть, посчитал, что достаточно дворца.

Дворец Воронцова на Приморском бульваре в моём детстве был Дворцом Пионеров, я скользил по его паркетным полам, когда бегал в фотокружок, млея, высматривая в кювете чудо проявления фотоснимка, и раздувался от гордости, что наш наставник, тоскливый еврей, оплешивевший в оккупацию, отправил две мои работы на городской конкурс.

Сегодня губернаторский дворец, облупленный, в грязных подтёках по осыпающейся штукатурке - старчески жалкое эхо былого парада. Где ослепительные балы, интриги, страсти дуэльные?... Александр Сергеич с молниями эпиграмм, дивная Елизавета Ксаверьевна, Михаил Семёнович - военный герой, государственный муж, супруг, по сплетням, посрамлённый... Рухнуло всё, в историю ухнуло, как не было.

Отец М. С. Воронцова служил русским послом в Англии; там и пестовали маленького графа. С 21-летнего возраста он воевал на Кав-

казе, и с Турцией, и с Наполеоном; тяжело раненный при Бородине, едва поправясь, вернулся в строй, выстоял с подчинённым войском сражение против самого Наполеона, участвовал в битве под Лейпцигом и захвате Парижа; в 1814-18 гг. командовал оккупационным корпусом во Франции. Имя Воронцова звенело не одной только воинской славой: он первый в российской армии отменил телесные наказания; он, удалясь после Бородина лечиться в своё поместье, забрал туда ещё 350 раненых, которых выхаживали за его счёт; он в Париже при задержке казённого жалования войскам платил им из собственных средств.

И в Одессе Воронцов выказал себя замечательно: благоустроивал порт и город, строил дома и мостил улицы, поощрял торговлю вплоть до личного участия в сделках, заботился о просвещении горожан.

(Глупость и неправда памяти: заслуг Воронцова всего-то хватило на портрет: *“Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным наконец”* - вычеканил гениально и лживо поэт, великий и злобствующий от ревности, бедности и молодой гордыни.

Остался Воронцов в народном сознании пушкинским полуничтожеством, не помогли и последующие подвиги на Кавказе, когда он, не оставляя одесских обязанностей, взял на себя ещё и обузу управления в краю изнурительной завоевательной войны. Под командованием Воронцова русская армия переломила сопротивление неукротимого вождя горцев Шамиля. После кавказской кампании Воронцова увенчали высшие титулы России: Одессой повелевал уже не граф, но светлейший князь Михаил Семёнович Воронцов, генерал-фельдмаршал... А в школе: *“Полу-милорд... полу-подлец...”* Теперь в украинских школах отменяют уроки русской литературы. Глядишь, и Пушкина заменят Шевченко с Лесей Украинкой. Уйдёт и беспардонный стишок о *“полу-милорде”*. Что тогда сохранится в памяти одесситов? *“Бар-галерея “Воронцов”*“, открытая сегодня на Дерибасовской? Посетителю питейно-художественного заведения вообразится здесь имя владельца, нынешнего или давнишнего, какой-нибудь *“ресторатор Воронцов”*. *Sic transit gloria mundi* - Так проходит земная слава.)

На одной из окружающих дворец колонн отпугивающий плакатик: *“Здание дворца в аварийном состоянии. Под колоннами не ходить. Уг-*

роза обвала”. А рядом объявление “Курсы английского языка” - для бесстрашных, кто подойдёт.

Здание ждёт ремонта, нужны миллионы гривен, но будоражатся слухи, что деньги найдут, поскольку власти намерены потом обратиться в резиденцию высокого начальства, которому красиво жить не запретишь.

Красоты ради здесь вот и колоннада, её рядом со дворцом, высоко над портом и морем, соорудил архитектор - губернатору и гостям его любоваться водной далью и окрестностью. А я люблю надписями: “Коля”, “Тут были Настя и Маша”, “Привет из Балты” - привычная графика туристских объектов. Но и кроме того, капитальнее: ближе кверху на каждой колонне по одной огромной букве “Ч-ё-р-н-о-е м-о-р-е” и “О-д-е-с-а” - словно заголовки к пейзажу внизу. А под ними, доступнее руке и глазу, упражнения остроумцев: “Пацаны, я вас люблю. Тата”; “Тамара лучше всех”; сердце с приписанным “sex” или, доходчивей, “трах-трах”; “Мурка, Светка, Женечка, Сима - всех вас хочу!” - не перевелись гусары.

Внизу и вдали порт. Он расстелил череду причалов, растыкал игрушечные стрелы кранов, по морской глади расставил, ужав до статуэток, громады судов. Безветрие, одинокое покойное облако... Лениво шевелится погрузка у одного причала, буксир ползёт по гавани, как отравленный таракан, за волнорезом танкер истаивает в просторе. Бескрайнее море перетекает в безмерное небо, где - неразлично.

Так видится, если идти от Воронцовского дворца бульваром при царях Николаевским, без царей - Фельдмана, а в ходе обезвреивания города (румыны убийством, советская власть бескровно) переименованного Приморским - многоимённым этим бульваром если идти, то слева из-под кручи будет дышать панорама мирного моря, а справа и рядом выстроится дома-дворцы, ласково прозвучит фасад “Лондонской” гостиницы, прошелестят деревья, бронзовый кумир Одессы Дюк при взгляде сбоку ошарашит: свиток в руке герцога глядится членом в эрекции. Эротика неожиданна, как название напитка в киоске рядом: “Бренди-кола”.

Здесь, на известнейшем месте, над Потёмкинской лестницей и портом, у ног Дюка стекленеет кубик кафетерия, выставив перед входом меню “Отбивная по-лимански... Шашлык по-черноморски...” и два не слишком внятных сообщения: первое - “И ваше плохое настроение не



испортит нашего угощения”, словно хозяева ждут только злобного гостя, и второе: “А мы всё равно вам будем рады” - привет ли клиенту, угроза ли?..

Шуршит, падая, листва, под деревьями щебечет и жуёт празднующая юность, на скамейках бабелевские старики, те, из его воспоминаний о Багрицком: *“Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря - на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом...”*

Посреди аллеи безногий нищий катит. Его тело оборвано на бедрах, под ними площадка с колёсиками, он отталкивается от земли деревянными костыльками-опорами, едет, улыбочивый и трезвый, чисто одетый, не просит: кто хочет, сам подаст в ёмкость, притороченную к тележке, - он светел, приветлив, здороваётся со знакомыми, а мне, чужому и любопытствующему, весело подмигивает. Может быть, не так уж и трезв, как показалось.

Он выкатился из шестидесятилетней давности одним из множества пропитых инвалидов на подобных дощатых платформах, тарахтевших колёсиками-подшипниками. Инвалиды стучали такими же костыльками, протягивали дочерна грязные руки: “Подай, браток!”, хватали прохожих за штаны и юбки, а то вдруг, свирепо пуча красный глаз, дёргая щетиной щёк, орали: “Я кровь на фронте проливал! За вас, суки!! Контуженный!!!” - кривились губы в пене, тряслась челюсть, брызги летели...

Потом эти обрубки войны исчезли, заботливые власти свезли их с глаз долой в дальние резервации. Но вот он, реликт! Теперешняя волна вольности - ликуйте, гуманисты! - выплеснула его даже к самому сердцу города, стыку бульвара и Городской Думы, под благосклонный взгляд кумира одесситов - Пушкина.

Под кудрями певца любви фотографируются свадебные сообщества. Взволнованные до пунцовости невесты, замороченные, заторможенные женихи, чёрно-кожаные дружки и подружки - со вкусом позируют и возле памятника поэту, и на классическом фоне Думского здания, и ещё поблизости у трофейной пушки Крымской войны (по народному поверью, стреляющей в случае девственности невесты, но за сто пятьдесят лет ни разу не случилось), и не насытятся, перебираются на площадь рядом, перед Археологическим музеем в начале Пушкинской улицы.

Я покидаю вместе с ними бульвар Фельдмана, припоминая, что анархист Саша Фельдман, секретарь одесского революционного комитета, единственный в нём не побоялся пойти комиссаром в примкнувший к большевикам полк одесских уголовников, те воевали из рук вон плохо, половина дезертировала, командир самовольничал, Фельдман требовал дисциплины и в октябре 1919 года в оккупированной интервентами Одессе был убит выстрелом в спину то ли ими, то ли уголовниками, то ли на Базарной улице, то ли на Большой Арнаутской.

На Большую Арнаутскую я ещё обернусь, а пока, прощаясь с Фельдманом, замечу, что командиром его бандитского полка был Михаил Винницкий, Бенья Крик, Король налётчиков Бабеля: *“Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури”*. Таковы они в “Одесских рассказах”, празднующие свадьбу или торжественно, с букетом *“в стальной протянутой руке”* едущие в пролётках к проституткам.

Сегодняшние их подобию, сменив жилеты и пиджаки на кожаные куртки и лак экипажей на лак “мерседесов”, похожим свадебным поездом подкатывают красиво запечатлеться. Площадь перед Археологическим музеем безупречно эллинизирована: напротив греческих колонн музея белеет перенесенный сюда с Преображенской улицы Лаокоон - Гомер, Парфенон, эвпатриды, демос, Сафо, чего только не вспомнится! - но брачующимся Эллада до лампочки, они отворачиваются к ротонде напротив, за которой царит здание Оперы, и в ротонде, на фоне оперного великолепия, дивно стан изгибая, фотографируется невеста рядом с женихом, их обрамляют дружки, крутые братки с благоухающими дамами, и кто-то, кому места на фото не досталось, лениво щурится от солнца и невестинной белоснежности и говорит о себе и обо всех с горделивой усмешечкой: “Рецидивисты Одессы”.

Ну, в натуре, типа, не одни же конкретные эти пацаны в коже, я, блин, тоже рецидивист Одессы. Давно канули в прошлое несколько лет моего одесского детства, и город заволокло дымом других отечеств, а вот разворшилось, встрепенулось, душу кольнуло. Уж и людей близких почти никого не осталось, и камни вроде бы остыли, и лица вокруг новые, молодые, чужие, интересы скучные, слова бессвязные - а город люб.

Я иду вместе с Шимеком, Абой, Брауншвейгскими, надуманными мною и реальными - иду по городу и по прошлому. Дрожащий просвет в туманах ностальгии.

## 36. ПРОБЛЕСКИ

**А ба:** Поцеловался я в первый раз в пятнадцать лет. (Женя: “Чему ты учишь ребёнка?») Она голову наклонила, и я губами в пробор между волосами. Сильное получилось впечатление. Тогда вшей как выводили? Мыли голову с керосином. Аромат у девочки был! Для любви смертельно.

- Ничего, он потом наверстал, - добавляла Шимеку Женя.

...Небо чёрное, море чёрное - тьма. Проколотая в высях звёздами, задымленная облаками; висит пятно луны, от неё маслянистая полоса зыби. Волны катили размеренно, след в след, к берегу, под невысокую скалу с Шимеком и Людочкой наверху. Она говорила о только что читанном “Письме незнакомки” Стефана Цвейга, а Шимек гадал: не пора ли подступиться к поцелуям и как? Опыта почти никакого, даром что двадцать с лишним лет, стыд и смех.

Мрак веял влажно и тепло, вдоль берега бдитительно прошныривал прожектор пограничной охраны, луч стлался, серебряный, поперёк череды набегающих волн. Морем почему-то не пахло, перебивал пряный дух травы, в которой сидели Шимек с Людочкой; за их спинами бесились цикады, перед Шимеком изгибалась Людочкина шея, сладко светило её голое плечо из вольно кроенного сарафана, круглилась грудь - у Шимека перехватывало дыхание, нежность с вожделением вперехлёт. Людочкин сюжет о Цвейге слышался намёком, и Шимек напряжённо прикидывал: обнять? или обидится?..

Он положил боязливую ладонь на руку Людочки, будто ненароком, и она будто не заметила, во всяком случае, не отстранилась. Шимек погнал своё кино, обнял Людочку как бы дружески, её плечо тут же, поспешным ответом ткнулось ему под мышку, ткнулось ласково, ободряюще. И Шимек, воздуха глотнув, посреди непрерывных слов Людочки вставил: - А что, если я тебя поцелую?

Людочка застопорила литературный поток, молвила кротко не Шимеку, а вперёд, волне и Луне: - Чудак какой, разве об этом спрашивают?

Шимека колыхнули стыд и восторг, он склонился к её губам, прижался, впился... Уже и дрожь в нём нарастала, мускул наливался.

Тут бы луне полыхнуть, небу опрокинуться, волне взвиться, жадным пальцам Шимека скользнуть по Людочкиным тайнам - но резануло в нос: чеснок!

Котлеты, мама ей жарила котлеты! - совсем не ко времени подумал Шимек. Он ещё содрогался от мягкости Людочкиного тела, но неистовый чесночный дух оглушал, отвращал от сладостных уст.

Он отлип от Людочки, помолчал, будто дыхание переводил, потом старательно повернулся снова целоваться; Людочка, уже раскрепостясь, потянулась навстречу готовно, а Шимек убито чмокнул её в щеку, из одной только вежливости. Людочка деликатность поцелуя определила остаточной стеснительностью кавалера, пригасила себя: не стоит топотить события.

...По дороге домой, в город, Шимека настигла вторая напасть. Они слишком долго сидели над морем, а до того Шимек неосмотрительно переел арбуза - теперь нестерпимо тянуло писать. Неловкость несбывшихся объятий вынуждала сообразительную Людочку без устали щебетать. Шимек силился к месту что-то замечать вслух, но трамваи ночью не ходили, пешком было далеко, живот распирало остро; Шимек стеснялся обнаружить позорное своё желание: витание Амура и - моча.

Когда Людочка снова пустилась в цитирование то ли Блока, то ли Цвейга, Шимеку из литературных впечатлений припомнился “Капитальный ремонт” - роман советского писателя Соболева о царском флоте, там когда-то поразила Шимека подробность: жена капитана может позволить любовнику-мичману делать с ней что угодно, но не простит, если он удалится в уборную, не сделав вид, что идёт звонить по телефону.

Они шли пригородным Французским бульваром - деревья, темень, безлюдие, но Шимек не представлял себе, как сделать вид, что он идёт звонить по телефону. В мечте добраться до дома он пытался ускорить шаг, однако Людочке изменила чуткость - ей в голову не приходило сокращать удовольствие прогулки.

Бульвар кончился, пошли по городским улицам. Мочевой пузырь Шимека под напором жидкости напрягался, стенки утоньшались в плёнку, вот-вот прорвёт...

Они ступили в начало Большой Арнаутской, тогда уже улицы Чкалова. Горели ярко фонари, темнели спящие дома, в них стыли немогостеприимные сортиры. Уйма уборных, во дворах, в квартирах...

Шимек понимал, что ни о каком сортире, ни о каком телефонном камуфляже не может быть и речи - он сейчас просто уписается, в штаны отольёт, буквально...

...Здание школы темнело в глубине, его отделяла от прохожей части ограда. Шимек и Людочка шли вдоль забора из металлических прутьев, Людочка беззаботно скользила по ним ладошкой, прутья отзывались, чуть тарахтя. Шимек не слушал, не слышал уже ничего; он углядел впереди раскрытые ворота и, выдохнув Людочке "Извини!", нырнул в них, в спасительный мрак за оградой.

Секунды не оставалось, чтоб идти вглубь; Шимек, обрывая пуговицы, распахнул ширинку - там, кажется, уже зависала первая капля - и ударил струёй, застучал по железу ворот, зажурчал по каменной кладке внизу ограды, зашуршал по траве рядом. Где-то поблизости Людочка: слышит, не слышит - плевать...

Изливалось, текло бесконечно. Хлестало дугой, било гейзерами, выжималось. Тело, освобождаясь, наполнилось благодатью, лёгкое - летело. И когда отжурчало, когда и капли откапали, и жизнь засияла, вынеслось тело из ворот на улицу, и увидел Шимек на залитом светом фонарей тротуаре поперёк всего его асфальтового просверка чёрный след ручья из-под ворот. Людочка стояла неподалеку, отвернувшись.

Мокрая лента на асфальте - ерунда, а - росчерк судьбы. Застенчивый Шимек - дурь невероятная! - не рискнул снова встретиться, раза два позвонил необязывающе и смолк, не объявлялся. Людочка через год вышла замуж, уехала из города.

Шимек эту неудачу воспринял привычно; судьба его, он считал, отмечалась злосчастьем с малолетства. Любовь не складывалась ещё с детсада - война распорядилась безжалостно. После войны опять не везло. Учился, правда, на пятёрки, но как раз это ни в классе, ни во дворе не ценилось. А роста он был крохотного, плечики хилые - ни драться толком, ни сальто крутить. В футболе кто только его не обматывал, у него и бегать-то по-настоящему быстро не получалось.

...Ничего не получалось. Если ввязывался во дворе играть на деньги, марки или “кины” (куски киноленты; требовалось угадать, чётное или нечётное число их спрятано в кулаке) - всё продувал. В кино или на стадион все безбилетники протискивались в толпе или сигналили через забор, а его непременно охрана ловила и потом выпроваживала позорно, на глазах толпы. Висеть гроздьями на трамвае, мотающемся по рельсам, или прыгать из него на ходу мог каждый, но заграбастывали за это в милицию очень немногих, а уж честно назвать там свою фамилию, лишив себя возможности сбежать, когда остальные дунут через окошко милицейского подвала, и потом платить штраф - только фраер Шимек сподобился.

Ему привиделся зов удачи, когда в школу посреди уроков явились двое с кинофабрики и отобрали сниматься в массовке десятка три учеников, Шимека в том числе. Разбитый автобус продрезбежал на студию, и школьники провели там упоительные почти сутки. Родителей никто не предупредил. На улицах Одессы первого послевоенного года с вечера, случалось, постреливали бандиты. О квартирных телефонах мало кто мечтал. В поисках пропавших детей родители колотились о запертую школу, бегали в милицию, искали адреса учителей - славно провели ночь, пока один из пап, военный, не добрался на служебном грузовике до кинофабрики и не развёз юные дарования по трясущимся семьям. Всё обошлось, а уж мальчики теми сутками насладились до отказа: шныряли между съёмками по студиям, восхищались моделями парусников от недавних съёмок патриотического фильма “Адмирал Ушаков”, прятались между декорациями, скатывались, визжа, по лестничным перилам, павильоны ходуном ходили, режиссёр вопил: “Прекратите хулиганить! Здесь вам не школа!” Хотя их позвали изображать именно школу, перемену между уроками. Снимался фильм “Красный галстук” по пьесе С. Михалкова. Шимека выделили, обрядили в пристойный пиджак с закрашенными, чтоб не замечались, заплатами, велели выбегать в школьный коридор под глаз киноаппарата раньше всей массовки и весело орать, указывая на стену: “Ребята, новая стенгазета!!!” Шимек очень гордился: роль! настоящая, со словами! снимают крупным планом! И гонорар потом получил, двадцать четыре рубля с копейками. Зарплата! Шимек гордо вручил маме первую в жизни получку, мама сказала: “Их бы в рамочке на стенку повесить”. Все радовались, враждебный брат Мишка завидовал, Шимек торжест-

вовал. А через два дня тот заработок пропал: его десятикратно уменьшила грянувшая денежная реформа. И Мишка стал дразнить: “Что, шлимазл (неудачник)? Накормил семью? Миллионщик!.. Артист кино - ложись на дно” - он сам придумал ехидный стишок, хорошо, что не додумался до другой рифмы. В общем, вроде повезло, а вышло боком.

Уж как ни любил Шимек море, но и тут взаимностью не пахло. Маленьким, до войны, он боялся моря так, что и любимого дядю Хилеля чуть не возненавидел за попытку втащить его в воду. Повзрослев и стыдясь неумения плавать (в морской-то Одессе!), он отчаянным усилием заставлял себя заходить в глубину до ушей и бросаться вперёд так, чтобы или утонуть, или выплыть, потом панически колотил по воде руками и ногами, забивал рот горько-солёным крутым захлёбом, но в конце концов победил, научился, правда, плавал всё-таки ближе всех, а если и добирался до недалёких буйков - перед возвратом долго отдыхал, ухватясь за цепь, покачиваясь на лоснящейся от солнца волне.

Выдалось как-то лето, когда по всей пенной кромке моря прокатилось зловеще: в воде осьминог. Огромный. Откуда, из каких таких океанов? - А вот, - объясняли в магазинных очередях, - завезли в цистернах судов (“в балластных цистернах”, - уточняли знатоки) и выпустили с океанской водой. Он уже одну девушку сожрал, паразит. Буквально на глазах. - Вы сами видели? - Ну, сам не видел, но был тогда на том самом пляже, в Отраде. Вот мой сосед таки да видел. - Ой, хохмач, ой, сдохнуть со смеха, осьминог же ж не кушает, у него же щупальцы... - Вот именно что щупальцы... Присосался и всю кровь у ней выпил. - И стоящему рядом Шимеку: - Пацан, слушай сюда, кабачок, ты на море ходишь? Не ходи сейчас. Не дай Бог... - И опустели пляжи на всё лето, пока городские власти не раскачались научно заверить через газету, что солёность Чёрного моря не позволяет выжить осьминогу.

Пацанам остерегаться - позор, хуже некуда. И Шимек, и Витёк, и вся дворовая шпана, отругиваясь от родителей, сбегала на пляж. Они бултыхались в малолюдном море, выхваляясь друг перед другом смелостью и опасно вздрагивая от касания в воде к водоросли или случайной щепке. Зато гордились загаром, он удостоверял бесстрашие.

Только не Шимеку та гордость.

Ему никогда не удавалось загорать по-настоящему. Другие обугливались чуть не дочерна, а его белая кожа с первых не жарких ещё пляжных дней сгорала за полчаса, и не до обычной у многих красноты, а до пылающих ожогов, не гасимых никаким кислым молоком или жиром, до температуры в 38 градусов, до пузырей, лопавшихся затем и лохмотьями сползавших с тела, - Шимек обгорал так основательно, что не хватало лета загореть потом до вожделенной сверкающей смуглости, обливающей мускулистые торсы его друзей.

Даже рыбалка не получалась. Выползти на рассвете из сонной постели, первым трамваем доскрипеть до нужной станции Большого Фонтана, в утренней знобкости дотопать до моря, пройти и проплыть студёной водой до недалёкой “скалки” - тёмного ноздреватого камня, сращения известковых пузырей, бритвенно острых по краям, с маслянисто скользкими нитями водорослей, и укрепившись кое-как на скале, приладив под руку банку с червями и кукан для нанизывания улова (леску с двумя палочками на концах, одна из них, заострённая, протыкалась через рыбий рот под жабры), закинуть удочку и упереть взгляд в бутылочную пробку, служащую поплавком, томительно ждать, ревниво поглядывая на удочку соседа, и наконец дотерпеть до мига, когда поплавок дрогнет, качнётся, нырнёт, и подсечь того, невидимого в глубине, кто тянет снасть, и дёрнуть. И увидеть, что наживка съедена, а рыбка ушла. Того горше: вытянуть улов и обнаружить вместо ожидаемого бычка в весёлых блестках чешуи безобразного краба, корячащего чёрные кашеевы клешни. Или попадалась пучеглазая рыба с раздутой шаром грудью - её называли “собака”, говорили, что кусает ядовито, и пацаны боялись коснуться её, а ухватив поближе леску, раскручивали уродище в воздухе и расколачивали о скалу. Самое же тяжкое переживание: море загоняло крючок с наживкой под скалу, он цеплялся там за камни, а спускаться в воду, нырять, выискивать крючок и отцеплять его терпения не доставало, и ты дёргал удочку вслепую и обрывал крючок - потеря почти трагическая, поскольку крючки стоили денег, а где их взять?..

Рыболовные хлопоты, однако, могли бы оправдаться, будь у Шимека хоть капля удачи. Но всякий раз, когда солнце добиралось до зенита, распаяло небо до белизны, и клёв прекращался, и рыбаки смазывали удочки, - Шимек косился на кукуны соседей и огорчался ничтожностью своего улова. Не то, чтоб семью порадовать жареным, в



золоте от масла, в хрустящей корочке, бычком, но и кошке, считай, не пожива.

Как бычки вожделись! Шимеку, книжному мальчику, ночами снилось вычитанное: март, прибрежное мелководье, прогретое после зимы, в янтарной толще воды тёмная пена камней, мохнатые водоросли, бычки снуют, гоняют друг друга атакующими бросками - самцы воюют за место нереста. Самый крупный, важный, прочим страху нагнав, уже застыл против камня, плавник чуть кольшется, глаз навывкат... Примерился, вильнул вниз под скалу, засуетился там: выщипывает мусор из водорослей, чистит место под приплот. Управясь, чуть отплывает и снова стынет, нервно шевеля хвостом, - дежурит возле гнезда: отгоняет соперников, содрогается каким-то своим рыком, подругу зовя. Она приплывает, полная икры, и мечет её рывками тугого тельца, икринки прилипают к порам камня. Опустошась, усталая самка уходит в глубину, а самцу ещё месяц вахту нести. Во сне Шимека месяц ужат, всё сразу же: бычок охраняет икру от хищников, ворочает плавниками, подгоняя свежую, с прибрежным кислородом воду - забот полон рот, пока не вылупятся мальки. Теперь самцу время отдыха - малышня сама за себя постоит, ухватит где рачка, где мотыля с поверхности, где клюнет родственную бычковую мелочь, позже вылупившуюся.

Хлопочут бычки под “скалкой”, нагуливают вес. Глядь, червь неожиданным подарком закачался у рта, цап его! - и леска-судьба рыбьей дуры мигом выдёргивает её в убийственную сухость воздуха; трепетать бычку теперь на кукуане, а потом на сковородке. Чьей-то, не Шимековой. Не везло ему с местом, у его скалки бычки словно и не водились.

Выпал случай, когда узнали пацаны во дворе про новое место, где клёв, говорили, просто бешеный: закидывай и вытягивай, по двадцать-тридцать-пятьдесят бычков чудачки приносят, меньше ни у кого не бывает.

Шимек не сомневался, что тут уж он своё возьмёт. Пацаны встали рано, гурьбой подались к месту - вблизи института Филатова, недалеко ехать - спустились к берегу. Море стелилось плоско, солнце баловало, прогревая рассвет, на “скалках” в паре десятков метров от берега уже стояли самые ранние рыбаки, и у них уже болтались на кукуанах бычки - Шимеку мерещилась долгожданная рыбацкая победа, мамина

рука, плюхающая на большую сковороду одного за другим его бычков, толстых, увесистых, обещающих негу и сочность белоснежной мякоти для всей семьи, даже и для нелюбимого братца Мишки. А мелкота, которой будет множество, пойдёт для кошки, пусть обжирается, и когда набьёт безмерное пузо, остатки он, Шимек, дворовым кошкам скормит - всем-всем праздник...

Тут его и пронзило. Он уже шёл морем, оставив на берегу сандалии и штаны, шагал в холодной воде по песку и камням к скалам, недалеко, рукой подать - и вдруг ткнуло в пятку остро, иглой. Шимек дёрнулся, и вторую ногу проколола та же боль - он наступил на колючую проволоку, её большая бухта лежала на дне памятью о недавней войне, ржавая, изъеденная морской солью.

Выдирая одну ногу, Шимек наваливался на другую, острия проволоки вонзались глубже, от боли искрило в глазах... Он упал в воду, отодрал ступни, пополз на четвереньках к берегу. Солёная вода распяляла дыры в пятках.

На берегу Шимек натянул сандалии и потащился обратно в город по круче, увитой тропинками. Пыль мешалась в сандалиях с кровью, Шимек кривил распухающие пятки, чтобы меньше наступать на раны, клонился, падал, отдыхал - брёл. Потихоньку притерпелся, боль притупилась, кровь запеклась.

Часа два длилась дорога домой, где вызвали скорую помощь, воткнули противостолбнячный укол, помыли, уложили в постель. Обошлось. Заражения не обнаружилось: наверно, соль моря выжгла инфекцию.

Шимек быстро выздоровел, и пятки, едва только восстановясь, понесли его к морю, купаться. Откуда-то взявшийся на поясице нарыв не останавливал: Шимек догадался заклеить его пластырем, чтобы морская вода не разъедала. И нырнул в море, и плескался на радостях полдня, а когда вылез, обнаружилось, что соль своё сделала, нарыв оказался посреди белого рыхлого круга на коже, такого болезненного, что сорвать с него пластырь рука не поднималась. Шимек попробовал раз другой, воли не хватило, он малодушно отступил: как-нибудь пройдёт, наклейка сама отвалится...

Через несколько дней выяснилось, что нарыв под неудалённым пластырем живёт своей жизнью, зреет, наливается. Потом он прорвался где-то там внутри, вся поясица распухла, Шимека скрючило, хо-

дил в неразгибаемом поклоне, а больше лежал, подвывал от боли. Снимать наклейку пришлось в поликлинике, на столе хирургического кабинета. Вся история длилась месяц - лето ушло, пропало. А было оно последним, потому что в тот год Абу как бывшего политзаключённого всё-таки изгнали из Одессы (прикрывшего Абу милицейского генерала в городе уже не было), и пришлось уезжать. Аба несколько месяцев мыкался в поисках приюта на бескрайних советских землях, в конце концов приткнулся на дальних лесоразработках, и Шимек с Женей поехали к нему. Гуднул паровоз, скользнули в вагонном окне провожающие родственники, одесское детство Шимека откатилось прощальным вокзальным перроном.

...Сегодня на этом перроне южная неторопливая толкотня, говор с придыханием и распевом, шуршит кожаная униформа упитанной одесской толпы, и прёт сквозь неё носильщик с тележкой, покрикивая: “Ножки осторожно! Ребята! Убедительно прошу до вас: ножки остороженько!” - пробивается староодесское живое слово.

И на привокзальной площади в подземном переходе иисусовидный молодой человек соблазняет прохожих православием: “Крестики недорого, освящённые, будьте без сомнения... А вот Библия, книжки христианские - всё бесплатно! Вы иногородний, папаша? Дайте адрес, мы по месту проживания вышлем. Без денег!” - “Я в Иерусалиме живу, там тоже это бесплатно раздают” - “Ну, так то в Иерусалиме. А это же ж с Адесы!” - И взлёт его руки, окольцованной до локтя цепочками с распятиями, подразумевает несомненное превосходство “Адесы”.

Такой и Шимеку грезилась Одесса в долгие четыре года эвакуационной отлучки, пока по окончании войны не подплыл к перрону, этому самому, но тогда обшарпанному, товарный вагон, где ехали с удобством, на соломе спя, три семьи военных врачей, выхлопотавших при демобилизации теплушку для себя и своих близких, возвращавшихся из эвакуации. До Одессы добирались долго, на станциях тряся документами, со скандалом цепляя вагон к попутным составам, обычно товарным, и задерживаясь на глухих полустанках. Наконец, уже в хвосте пассажирского поезда ткнулись в тупик одесского вокзала и, едва развеваясь паровозная гарь, ощутили пряное благоухание моря, рыбы и садов - чистый был город, безавтомобильный, и заводы слабо дымили.

Шимеку маячили праздники жизни после опостылевшей бесприютности на прокалённой среднеазиатской чужбине.

Ёлки-палки, какие праздники?! Не задалось детство... Хотя, если честно, находились и просветы. Чудо вроде выигрыша у Мишки шахматной партии.

Шимек играл намного слабее. Мишка ходил в кружок при стадионе “Спартак”, знал защиту Каро-Канн и имел второй разряд. Шимек тягаться с ним не помышлял: проигрывать, а потом слушать издёвки: “Запомни, балда, конь ходит буквой гз”?.. Но в один краткий период без братских ссор Мишке вдруг приспичило: “Сыграем, а? Я тебе фору дам. Три пешки. А хочешь слона?” Шимек упирался, Мишка приставал: “А хочешь ладью? На марки хочешь? На всю коллекцию сыграем...”

Коллекцию Мишка собирал годами, выпрашивал, выменивал, покупал и продавал марки - суетился. Иногда родственники, зная детские страсти, присылали в письмах марки для обоих братьев - Мишка не ленился перехватывать утром у почтальона конверт, вскрывать его, вытаскивать марки, а упоминания о них в письме вымарывать, чтобы Шимеку ни намёка. И вот Мишка в азарте и самоуверенности ставит на кон свою выстраданную коллекцию! Против жалкой кучки мятых марок Шимека... Шимек содрогнулся. И марок хотелось, и Мишку наказать. Тоже мне чемпион! Выиграть назло всем дразнилкам. С лишней ладьёй неужели слабо?..

Они сели в кабинете Хилея, Мишкиного папы, заперли дверь от взрослых, расставили фигуры, углубились в партию. Шимек дышал трудно, сопел. Время исчезло, пешки пёрли нагло, ощеренные кони крокодилами бросались на слонов, ладьи крались по клеткам, доска дымилась от жертв. В разгаре страстей Мишка зевнул ферзя и положил своего короля на доску - за два хода до мата. Минуты три он потрясённо рассматривал фигуры, потом без слова, без вдоха - хорошо держался, пижон! - вышел и вернулся в кабинет с огромным своим альбомом: “На!” - бросил сквозь зубы. Ушёл, даже не собрав шахматы, - тошно ему было. И в Шимеке почему-то не злорадство вскипало, а чуть не жалость. Вспомнилось не к месту, как Мишка однажды вошёл в роль старшего брата и, призвав знакомую шпану, защитил Шимека от школьных врагов. Но и обид от Мишки накопилось достаточно для

мести, кроме того, счастливо разрешалась большая мечта Шимека: он распродал половину Мишкиных марок и купил трофейный фотоаппарат “Фоклендер”, зеркалка, шесть на шесть, немецкая оптика - шикарно! Оставшуюся часть коллекции Шимек вернул Мишке: не жалко, знай наших! Мишка с достоинством сказал: “Не надо. Проиграл, так проиграл” - но марки всё-таки взял. Мама похвалила Шимека за благородство. Он блаженствовал: волки сыты и овцы целы.

А уж с маршалом Шимеку пофартило так пофартило!

Маршал жил в Одессе в санатории, а в город ездил через Куликово поле...

Оно тогда звалось площадью Октябрьской Революции и было центром советских торжеств. Оттого позднее здесь и вознёсся Ленин. Сегодня он вроде бы неуместен, площадь опять - Куликово поле. Но вождь сохранился, стынет на постаменте в суровой позе поэта Шевченко на известном харьковском памятнике - один авторский почерк. Я стою перед памятником, Шимек со мной...

Возвращаюсь к оборванной фразе: “...маршал... ездил через Куликово поле”. Только его машине дозволялось прошуршать по вымощенной диагонали через поле, остальная часть которого оставалась именно полем, землёй, кое-где травянистой, вытопанной пацанами, пинающими в футбольном раже мяч, то резиновый, то самодельный тряпчатый и очень редко настоящий - кожаный. За рулём маршальского автомобиля сидел офицер - это восхищало пацанов, хотя и объяснялось естественно: если какому-нибудь, скажем, командиру полка полагалось ездить с шофёром-солдатом или сержантом, то уж маршалу точно полагался офицер, тем более такому знаменитому, Жукову. Впрочем, маршал ездил почти каждый день, к нему пацаны скоро выкли, чё трепаться, ездит и ездит...

Шимек накопил денег из даваемых дома на школьную булочку, из выигрышей в запретных азартных дворовых состязаниях, от продажи-покупки марок и других коммерческих операций - и купил футбольный мяч, именно тот, настоящий. Или почти настоящий. Как настоящий. С таким мячом даже он, постыдно слабый игрок и потому не слишком привечаемый на Куликовом, обрёл могучий авторитет - вла-

дельца главного инструмента игры со всем уважением принимали в любую команду. “Шимек, пойдём постукаем!” - зов с улицы теперь ежедневно влетал на третий этаж в квартиру Шимека, услаждал сердце.

Он и в тот вечер самозабвенно гонял в футбол на Куликовом. Строго говоря, не гонял, поскольку стоял в воротах, обозначенных на местах штанг грудями одежды, лишней потным игрокам. Вратарь голы, конечно, не забивает, но дело его не менее почётное, особенно, если против твоей команды играет самый знаменитый на их улице забойщик голов Шурка по прозвищу Дуролом.

...Шурка обмотал одного за другим трёх пацанов, он двигался с мячом, словно в одиночку, соперники возникали на его пути и тут же клонились в сторону покорно обманчивым движениям его костлявого жилистого тела, он, кажется, их не замечал, пёр и пёр, голова набок, глаза вперёд, кругом ни чужих, ни своих, только мяч и он, уличный виртуоз - он обежал, обхитрил, обфинтил, переиграл всех, кто пытался его остановить, они вроде сами по себе отвалились с его пути; Шурка и мяч мчались на Шимека, напрягшегося навстречу неотвратимому голу.

Шурка с ходу пробил, Шимек рванулся вперёд, выставив руки, мяч больно ударил в ладони и прилип к ним. “Взял! Взял!” - ликовало сердце Шимека, от самого Дуролома взял, один на один. Шимек не выдал радости, держался сурово, по-мужски, мол, дело привычное, взял и взял, не о чем базарить; но выбивал он мяч с торжеством - сделал несколько размашистых шагов, как любимый его московский вратарь Никаноров, выбросил мяч себе на ногу и запузырил в поле со всем своим восторгом.

...Мяч сорвался с ноги и ушёл не вперёд, как требовалось, и не в кучерявое небо, а по диковинной дуге в сторону мощёного проезда через площадь, где - надо же! - как раз скользил чёрный правительственный ЗИС, один такой на всю Одессу. Шимек с ужасом увидел, как мяч целит пересечься с ходом машины - путь под колёса, где вот сейчас, сию секунду, вякнув, он испустит дух, а с ним и вся наметившаяся футбольная карьера Шимека.

Мяч летел, автомобиль наезжал, Шимек помчался к дороге. Мяч пошел по дуге вниз, Шимек тормознул: не догнать, не спасти. Оставалось, замерев, следить: проскочит-не проскочит. Шимек не отрывал

глаз от мяча и не мог заметить, как офицер за рулём сбавил ход. Мяч опустился на лоснящийся капот машины перед ветровым стеклом, из-за него глянуло на Шимека свирепое лицо Жукова. Нет, не свирепое! Освещённое неожиданной улыбкой; кажется, и водитель рядом улыбался. Но Шимек только следил, как мяч нагло подпрыгнул на капоте и отскочил вбок от машины - целёхоньким.

Лишь потом Шимек сообразил, что полководец улыбался лично ему, Шимеку, и, значит, приобщи́л его к своей всемирной славе...

Пройдут годы, Жуков забронзовеет мифом, и чем дальше от войны, тем больше найдётся размашистых разоблачителей, охотников покуражиться над мёртвыми - они припомнят Жукову пролитые им потоки солдатской крови и его собственноручные расправы без разбора правых и виноватых; он выглянет бестолковым палачом и рвачом вплоть до мародёрства, узнается про горы трупов, наваленные сталинскими полководцами (на каждого немца трое русских) и потускнеет героизм победы, даже справедливость её разьётся сомнением - и будет в том много занозистой правды.

Но сегодня рядом с Куликовым полем, на доме 25 по улице Гимназической, висит вывеска “Одесский областной фонд помощи инвалидам войны им. Маршала Г.К. Жукова”. Греет имя Жукова инвалидов той, главной, войны. Сколько их? Надолго ли ещё они? А то ведь и останется от многомерного Жукова что-нибудь вроде “полу-купец... полу-подлец...”

Шимеку тогдашний, 1947-го года, промельк улыбки на каменном лице маршала стал явлением Победы из месива тел, грязи и крови, которые вместе были - война, как из Шоа, промолотившей Одессу до пустоты “юденфрай”, выскочил в светлое небо мячик еврейских пацанов - недобитых, оказывается. Бессмертных.

Тем и обнадеживаюсь, прощаясь с Шимеком, - дальше книга уже без него, без подпорки.

### **37. БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ**

**П**асса́ж знаменитый, столетняя гордость торговой Одессы. Изначально нацеленный на хищный рыск покупателей, он сегодня забит лотками очередной ярмарки. Теснота и пошлятина ярмароч-

ных киосков не в силах подавить игры рококо возрождённого ремонтом интерьера, и вспоминается буржуазный комфорт, о котором после революции ностальгически вздыхали: “Мирное время...”

Может быть, тут к месту объяснить вспыхивающее там и сям по тексту “Николай Петрович”.

Николай Петрович - Лейб Израилевич Брауншвейгский. Той же семьи худородная ветвь, из далёкого местечка. Родной отец, ради революционного дела покинувший и сельскую тишь, и семью в ней, и даже имя сменив на партийную кличку Илья, служил советской власти безоглядно, по совести - она, большевистская и интеллигентская вместе, не позволяла ему подстилать соломку на житейском пути сына. А тот не мог разрешить своей судьбе самотёк. И перебрался под сень одесских надежд, ближе к благополучному, как виделось из захолустья, дяде Лейзеру. В Одессе выяснилось, что благополучие давно пошло прахом, да и Лейзеру разбитной родственник не понравился. Лейбу остались надежды.

Мальчик обнаружился мастером приткнуться к нужному берегу. Он невеликих был дарований, только что балагур, обаяшка и красивый - высок, плечист, чёрные игручие усики - дамам роковая приманка. “Усы гусара украшают и сопли блеск им придают” - веселился Аба, под чьё начальствование в ЧК Лейб напросился. Лейб звёзд с неба не хватал, карьера под Абой ему не светила, а выбиться хотелось - и он подрабатывал агентом: прислушивался к прохожим на улицах, анекдоты собирал, слухи (ЧК всем интересовалась, отчёты о настроениях пересылались начальству); иногда доверяли ему персональную слежку, иногда приходилось по делу посещать тайные квартиры - ЧК их набросала по городу. Особенно удобными считались гостиничные номера: в мелькании случайных людей легко и естественно быть неприметным.

Одна из лучших гостиниц располагалась в Пассаже - весёлом отблеске Парижа на углу Дерибасовской и Преображенской: стеклянная солнцем пронзённая крыша, ажурные перила балкона, виньетки и барельефы, скульптурные красотки, полёт эротики, лёгкость лепки, искры позолоты... Внутри старомодного великолепия вершилась и деловая и бездельная жизнь: протекали серьёзные переговоры и легковесные встречи, благоухали духи и цветы, порхали слухи и остроты - неизменно что до, что после революции.



... Лейб из проходящей толпы подходит к галантерейному лотку, здоровается со стариком-продавцом:

- Как торгуем, Эфраим Семёныч?

- Торгуем?! Врагу не пожелаю...

- Ищу перчатки, Эфраим Семёныч. Дама просила.

- Дама? Опять дама, Лейб? Вы не устали?.. Значит, женские? Лайковые? Замша?

- Нет, самые простые. Вязаные.

- И цвет?

- Чёрные.

- У вас отличный вкус, Лейб. Даме повезло с вами. А вам с перчатками. Прошу, взгляните своим глазом. Таки да чёрные...

Лейб смотрит, молчит, думает.

- Вам чего-то не хватает, Лейб? Это именно то, что нужно вашей даме. Она будет довольна, честное моё слово.

- Я не уверен в размере. А вдруг они на её руку маленькие?

- Ха, о чём говорить! Наденет - они растянутся.

- А если наоборот большие?

- Ха! Постирает - они сядут.

- Хорошо говорите, Эфраим Семёнович. Говорите, как пишете.

- Да, да... А пишу с ошибками.

Два одессита, Лейб с лоточником: перчатки значения уже не имеют, душа хохмами греется. Лейб прощается, уходит.

...Он поднимался мраморными ступенями на гостиничный этаж к номеру, где назначались агентам тайные встречи. Он поворачивал изящную рукояточку звонка на двери номера и, пока откроют, разглядывал на ней табличку, окаймлённую литой бронзовой вязью, внутри её узора под стать ему вычурно и игриво выписано было имя прошлого жильца "Николай Петрович Горчаков" - благородно звучало, отзвуком княжеского звания. Дворян, конечно, советские граждане сильно не любили, но в душе еврейского парня из чесночного полуподвала таилось почтение к русской родовитости. И когда предложили Лейбу, агенту, стукачу взять конспиративную кличку, он и попросил "Николай Петрович" или короче "Николай". Приятно уху и полезно - Лейба не охмуряло, понимал, что как власть ни играй с евреями, а русскому в русском государстве жить способнее. Поэтому он и позднее, уже в ЧК не служа, продолжал всем русским знакомым рекомендоваться "Нико-

лаем Петровичем Горчаковым” - как бы полушутя, но настойчиво. При его носе, мясистом, свисающем над толстой губой так, что и проклад-ка усиками терялась, при его маслянистых, чуть навькат глазах, при его плотных щеках и чёрных кудрях - при всём семитстве его черт столбовое дворянство имени-отчества играло насмешкой и над еврейским отступничеством и над Русью-матушкой.

Случилось, однако, практичному Лейбу дать промашку в сорок первом году: пожалел бросать нажитое, понадеялся на старую добрую память о безобидных немцах, побоялся риска эвакуации - всех вместе прикидок в самый раз хватило на соображение: не бежать. И была ведь возможность: завод, куда Лейб ускользнул (вовремя, перед убийственным тридцать седьмым) из Органов в юрисконсульты, грузил станки и кадры - а Лейб увильнул, без него ушёл эшелон.

При румынах осталось локти кусать. Но Лейб, как Вечный Жид, тонул - не утопал, горел - не сгорал... Пересилил казни, облавы, гетто. В деревне, где подыхали одесситы среди свинячьего дерьма, где и жёну Лейба тиф скосил, выдвинулся он в подручные начальствующему румыну, отбирал ему девочек для утешки, гонял кнутом евреев на работу, пацанов сёк беспощадно за недоделки в поле - наводил порядок, служил на совесть. Звали его подневольные евреи почтительно: “Николай Петрович”, даже румын-повелитель редко-редко, по пьянке “Эй, Лейба, жидан!”, а обычно с отчеством “Петрович” - уж очень удобен сделался Лейб: то у нищих доходяг выявит колечко серебряное, то у трупа очередного в трусах зашитую монету нащупает - и вся добыча начальнику. А себе самые что ни на есть крохи...

Перетерпел Лейб, перекантовался до освобождения, а там сумел и в квартиру свою воротиться, и мебель, выкраденную у него, по соседям выискал, даже из посуды кое-что удалось вернуть. Скрипя, спотыкаясь, пошла-покатилась жизнь, снова встопорщились усики Николай Петровича... Из той деревни, где старался он в оккупацию, осталось живых евреев от силы три десятка, кто умер вскоре после войны, кто уехал, а кто затаился в неизживаемом страхе - повезло Лейбу. Опять юрисконсульт, опять остряк и дам обаятель, опять при случае неутомительные услуги Органам и от них добрый отклик... Женился Лейб повторно, жена - украшеньё дома и тоже из адвокатов. Дети родились, сын и дочка, росли, учились, родителям радость... Наладилось.

...”Бьют не по паспорту, а по морде”, - повторял Николаю Петровичу-Лейбу Израилевичу через десятки лет приятель, славянский пролетарий; дружески подковыривал.

А вот ведь не били. Не коснулись Лейба послевоенные неприятности, жил тихо, с улыбкой ласковой... Юридические советы своим и не своим давал бесплатно и с толком - многих выручал. Соседке, старушке одинокой, чем мог помогал, в больницу устраивал, случалось и денежку подкинуть. Дети во дворе его, затейника, фокусника, любили, о собственных внуках - трое, слава Богу - и говорить нечего, обожали деда. И на работе его любили, премии, грамоты, знак “Ветеран труда”, на пенсию с почётом... И бессменно лектор в пропагандистской группе райкома партии.

А как развалилась советская страна и посыпались одесские евреи по земному шару, подался и Лейб со всей дружной семьёй за новым счастьем. Оставшимся землякам теперь шлёт он бодрые вести: всё хорошо, кругом покой, чисто, соседи улыбаются, воздух промыт дождями, грибы в лесу, весёлые облака в небе... Обратный адрес на письмах Лейба: “Германия... Николас Браун”. А то и “Николас фон Браун”.

Сотни листов-анкет на погибших евреях приходят в Яд ва-Шем от бывших одесситов с обратным адресом: Германия. Колбаса дороже памяти. Да и когда прошлое служило в поучение? Тем более, что сегодня Германия на вершинах раскаяния и терпимости (и терпения?). И тем более, что евреях советская власть пятьдесят лет заталкивала в беспомощность, верша, довершая за Гитлером бескровный вариант “окончательного решения еврейского вопроса”.

В послевоенной жизни евреи под фанфары интернационализма и под прессом антисемитизма стриглись под одну гребёнку в безличные “советские граждане” и “лица еврейской национальности”. В Одессе в сороковые годы были закрыты Бродская синагога и еврейский театр, раввин и все еврейские писатели брошены в тюрьму, разорены фонды бывшего еврейского музея, изъяты из библиотек еврейские книги и журналы. В 1947 году заткнули глотку радиопередачам на идиш.

Память вытравлялась начисто. Улицы теряли еврейские фамилии, полученные в годы советской власти: Лассалья вернулась в Дерibasовскую, её предвоенным именем Чкалова сменилось имя Гирша Леккерта на домах бывшей Большой Арнаутской, бульвар Фельдмана возвра-

тить к имперскому наименованию Николаевский коммунисты не могли, назвали его Приморским... Никто не воспротивился - битый гнутый Николай Петрович, любой власти: "Чего изволите?"

Об еврейских жертвах в годы оккупации говорить было вовсе ни к чему: мёртвых не поднимаешь, а вспоминать - евреям грустно, неевреям же вовсе не с руки, многие ещё ели с награбленных еврейских тарелок и спали в бывших еврейских квартирах.

Общегосударственная юдофобская кампания катком проминала еврейскую Одессу. Борьба с "безродными космополитами", с "буржуазным еврейским национализмом" вершилась расправой. Еврейских интеллигентов и служащих массами выгоняли с работы. Сионизм, давно не жалуемый советской властью, стал преступлением.

**Из выступления секретаря Одесского обкома компартии (физика и философа по специальности) на пленуме обкома в январе 1953 г.:** *"В 1948 году при вскрытии космополитических идей в работах одесских историков была подвергнута критике также и деятельность профессора Борового С. Я.. Обнаруженные статьи и книги... позволяют сделать определённые выводы о политической физиономии С. Я. Борового, как о крупном деятеле еврейского националистического (сионистского) толка.*

*...А какая писанина у этого Борового?*

*Он написал такую работу, за которую получил звание доктора... "История евреев на Украине в 17 и 18 веках"... В этой работе он дал "научное" исследование. Он берёт список... казаков, которые служили в войсках Богдана Хмельницкого. И вот там были такие казаки... как Иван Лейба, Трофим Коган, - он берёт эти фамилии и делает такой вывод, что в борьбе с польской шляхтой принимали массовое участие евреи, которые проводили активное снабжение войска Богдана Хмельницкого, и показал на этом примере их храбрость.*

*Боровой, таким образом проводит идею о том, что в борьбе украинского народа с польской шляхтой немалое значение сыграли социальные низы еврейского населения. Совершенно умалчивается значение роли русского народа.*

*...А в 1947 году ... вышел справочник, в котором тот же Боровой протаскивает свои сионистские идеи... Он проводит такую идею,*

*что Одесса является центром и родиной еврейской культуры, что есть данные, что в Хаджибее евреи жили ещё до основания Одессы...*

*...Почему до сих пор Боровой не разоблачён и не был подвергнут настоящей партийной критике?.. Где же гарантия, что он не будет протаскивать свои враждебные сионистские взгляды?"*

Боровой стал безработным, а могли бы и посадить по советским повадкам.

**Из Обвинительного заключения Управления МГБ Одесской области** “*по след[ственной] делу № 4882: В Управление МГБ по Одесской области поступили материалы о том, что на территории г. Одессы существует нелегальная антисоветская националистическая организация сионистского направления... На основании этих материалов с 20 сентября 1949 года по 3 февраля 1950 года арестованы... [Перечисляются 7 фамилий]”.*

Следствие, конечно, подтвердило все подозрения, обнаружило тайную организацию “Еврейский национальный союз”, которая хотела “*поднимать дух и национальное самосознание евреев с целью организации массовых их выездов из Советского Союза в Палестину*”.

Их судило Особое Совещание при МГБ СССР: дали троим по 10, остальным по 8 лет.

Государственная нелюбовь в Советском Союзе всегда совершенствовалась до предела, охватывая неугодных щупальцами, жёсткими до смертельности.

После войны у дяди Хилеля перед еврейскими праздниками вертел ручку звонка (механического, электрических ещё не было) старик с мятой бородой, с крошками на отвороте истёртого пиджака. Безмолвный и тоскливый, как последний осенний дождь, он прошамкивал хозяину печальные слова о нуждающихся сородичах, а после мялся в коридоре, пока дядя выносил из кабинета деньги. Детям Хилель объяснял: “*Это для бедных. Община собирает*”. С каждым явлением старика борода его лохматилась всё больше и пиджак дряхлел, и шляпа, и кухней - рыбой, керосином - от него несло всё сильнее, а потом исчез старый еврей, умолк звонок.

Не стало еврейской общины. И ничего, жили. Без мацы, а со шкваркой. За покорность.

Так было при Сталине, почти так же после него. В хрущёвскую оттепель еврейская жизнь подтаяла слабо, тем более стыла она в “застое” Брежнева. При антисемитизме царизма Одесса насчитывала десятки домов для молитвы, в 1970-80 гг. власти дозволили действовать единственной жалкой синагоге на окраине города, и то под бдение представленного “доверенного лица”. Необходимые для молитвы десять мужчин набирались в синагоге не всегда. Поэт С. Липкин в 1969 г. поглядел на “обшарпанную, угрюмую” одесскую синагогу: *“Сегодня праздник Торы, Но мало прихожан. Их лица - как скрижали Корысти и печали... И здесь обман. И здесь бояться надо Унылых стукачей?..”*

В 1970-е гг. евреев потянуло к Израилю. По кухням, по углам потайным залепетали кружки иврита, кое-кто стал потихоньку отмечать еврейские праздники. Иногда за это судили, иногда позволяли уехать. Многие дожидались разрешения на выезд годами, изгнанные, как правило, с работы.

После 1985 года, в “перестройку” одесские евреи воспрянули. Антисемитизма вроде нет, “свобода, блин, свобода”. И за границу ворота настезь, а рыба ищет где глубже... Спасаясь от бытовых неурядиц сегодняшней Одессы большинство бросает её, ища “где лучше” по всему земному шару - не срабатывает ни историческая память, ни эмоциональная.

Из **Листов** на одесских евреев: *“Лихтенберг-Штурм Роберт Эдуардович, жена Селима Шапиро [Шехерезада!], погибли он на фронте, она в гетто”*.

**М. Жванецкий:** *“Чего смотреть вперёд, когда весь опыт сзади?”*

### 38. СОАВТОРЫ

**К**нига моя идёт к концу. Не завершать же Лейбом и Германией. Лучше о соучастниках моих, основных хотя бы.

Первая - Евгения Ефимовна Хозе, затравщица этой книги.

Е.Е. Хозе, написав мне о преследовании А. В. Дьяконова советскими властями и о хлопотах за него “его подопечных”, о себе промолчала, хотя среди защитников А. Дьяконова перед грозными следо-

вателями самой, наверно, бесстрашной и страстной была она, тогда двадцатилетняя, убеждавшая, умолявшая обвинителей, совавшая им под нос “караимский” паспорт своей мамы, сфабрикованный Дьяконовым. Не помогло, но то уж не её вина.

Через много лет на моё упоминание дошедшего до Иерусалима слуха будто А. В. Дьяконов угождал румынской власти, Е. Хозе ответила с неостывшей яростью: *“Всем жаждущим помочь было невозможно, и те, кто воспользоваться этим не смог, ополчился на А. В., распространяя злобные сплетни, уверяя, что делалось это за взятки и т.п. Но мама и другие, кому А. В. сделал караимские паспорта, никаких взяток не давали... Ужасно, как в тяжёлых обстоятельствах люди теряют чувство объективности, справедливости! Если бы было так, как злопыхательствуют некоторые, разве Дьяконова полностью оправдали бы?!”*

Е. Хозе - человек очень опрятной души, про себя - молчок. О том, как она билась за Дьяконова с чекистскими Органами рассказала мне её давнишняя подруга А. Кильштейн много лет спустя. А дочь Е. Хозе, Наташа добавила: её мама вместе с бабушкой Татьяной Хозе-Длугач после войны вели ещё одну битву с гебистами, за Д. Видмичука, обвинённого в предательстве, - и выиграли на этот раз, спасли человека. И в девяностые годы, когда уже Праведником престарелый Видмичук стал получать крохи заграничного вспомоществования через одно из одесских еврейских общественных новообразований и деньги на таинственных путях начали плутать, не доходя, Евгения Хозе, сама придавленная возрастом и болезнью, энергичным вмешательством своим спасла нищего и немощного старика от поползновений общественных делег. И ещё написала мне А. Кильштейн: *“Неподалеку от гетто, где Женя Хозе находилась с матерью, был посёлок. Там заболел мальчик какой-то страшной болезнью: всё тело его покрывали ужасные раны и струпья. Опасаясь заразы, односельчане выгнали его. Было жаркое лето, ребёнок умирал на пыльной дороге. Женя, узница, сама не отличавшаяся крепким здоровьем, подобрала мальчика и стала лечить...*

*Не боясь заразы, Женя сумела договориться с румынами (её мать, зубной врач, лечила их) и начала выхаживать мальчишку, готовила мази и с успехом применяла их. Мальчик выздоровел. Женя и после ос-*

*вобождения Одессы помогала ему. Она позднее провожала его в армию”.*

Еврей еврею должен помочь без всякого поощрения - так считают в Израиле и присуждают звание Праведника только инокровным спасителям. Если бы Украине по той же логике учредить подобную почесть, еврейка Евгения Хозе за спасение украинца могла бы именоваться Праведницей.

Благородный свой напор, спасительный (для безымянного украинского хлопчика) или безрезультатный (в бою за оболганного Дьяконова) проявила Е.Хозе и через полвека, выдирая из безвестности имена спасителей евреев - Гродского, Подлегаевой, Теряевой, Видмичука, Нединой: *“Зинаида Ивановна Недина до войны преподавала русскую литературу. К началу войны ей было лет 60. Прямая, смелая, она на уроках не боялась высказывать свои взгляды на многое, что возмущало её в советских порядках. Я у неё училась и помню, как мы, подростки, волновались за неё и удивлялись, что она ещё на свободе.*

*Когда евреев в январе 1942 г. выгнали на Слободку... З.И. Недина помогала им прятаться, носила еду, пешком возила продукты на саночках. Шла замёрзшая, задыхаясь от морозного ветра. У неё была сердечная астма, а зима была лютая. Невысокая, сутулая, больная, Зинаида Ивановна обладала удивительной силой духа, мужеством, благородством. Кое-кого ей удалось увести со Слободки и спрятать.*

*Она, как и Дьяконов, тоже посылала евреям в Доманёвку деньги, вещи, письма, поддерживающие морально.*

*Умерла Зинаида Ивановна приблизительно в 1963 г.”* (Из письма Е. Хозе).

Лидия Гимельфарб: облако седины, мягкий взгляд, в говоре отголосок одесской певучести, на увядающих губах улыбка легка и естественна - обаяние несуетного заката. Шестнадцатилетней девочкой встретила она с доктором Гродским, восхитилась, пригласилась в его доме, где и определилась её судьба встречей с молодым сионистом, которому Гродский помогал противостоять советской власти. Сионист сманил Лидию в Палестину. Прошлая жизнь отряхнулась прахом с ног, марширующих в сияющую даль. За хлопотами жизнеуст-



ройства Одесса, Гродский не проклёвывались даже в снах. Так бы и сникло, если бы Сталин не стал гробить свой народ, а Гитлер евреев, если бы некий комиссар полиции не подхватил сифилис, Анастасия Теряева не вышла бы замуж за еврея, Лидия Гимельфарб не жила бы в Иерусалиме в одном доме со Шмуэлем Краковским, а Евгения Хозе не верила в силу печатного слова.

Стеклись разнокалиберные обстоятельства, случайность и закономерность сплели удивляющую цепь. Арестованная чекистами Шура Подлегаева попала в “жертвы большевиков”, милые румынским оккупантам. Попытки спасти еврейскую свекровь Теряевой привлекли к ней и Подлегаевой внимание Гродского, и создалась группа помощи погибающим евреям. Подлегаева свела больного комиссара с венерологом Гродским, успехом лечения обеспечился успех группы. Среди спасённых евреев была девочка Женя Хозе. Она через полвека попросила Яд ва-Шем упомянуть в израильской прессе своих спасителей. Среди очевидцев спасения она назвала Беллу Шнапек из Ашдода. Шнапек, свидетельствуя, припомнила среди послевоенных хлопот Гродского за страдальцев гетто его обращение к И. Эренбургу. А в архив Яд ва-Шема в конце восьмидесятых годов поступили бумаги Эренбурга, руководил архивом сосед Лидии Гимельфарб по дому доктор Ш. Краковский и аккурат тогда Лидия Гимельфарб, томимая памятью о Шоа и освободившаяся на склоне лет от повседневной суеты, попросилась безвозмездно помогать Яд ва-Шему, и Краковский предложил ей именно работу с эренбурговским фондом.

И ещё совпало: Лидия работала в архиве Яд ва-Шема вместе с доктором Леоном Воловичем, моим замечательным другом, которому я спустя несколько лет рассказал о добром и наивном письме Хозе, о Шнапек и соприкосновении имён Гродского и Эренбурга. И сообщил мне Леон Волович, в ту пору уже работавший в другом месте, что есть в Яд ва-Шеме документы Эренбурга и есть добровольная сотрудница Лидия Гимельфарб, которая с ними разбиралась, и “Расскажи ей про Гродского с Эренбургом, ей, наверно, будет интересно”. Я пришёл к Лидии, и мы оба ахнули: она от столкновения со своим прошлым, а я от тесноты мира - кто бы мог подумать, что я попаду к близкой знакомой Гродских!

Наш разговор продлился потом уже с магнитофоном, и вернулась Лидия Гимельфарб в свою Одессу, на улицу Новосельскую, степенно тихую: акации, бульжная мостовая, осыпающаяся штукатурка домов, грязные подтёки на жёлтом, но зато из второго этажа летний вязкий вечер пронизывает музыкальный пассаж - “приличный район”, и прошла Лидия Гимельфарб в бывшую квартиру Гродских, в переднюю, из которой за дверью налево открывались лаборатория и кабинет, а впереди в большой столовой жила соседская семья и отгороженный коридорчик вёл в кухню и службы - смешная сегодня планировка коммунальной квартиры, где были ещё комнаты; Лидия прошла и в них, оглядела неказистую и добротную давнюю мебель: застеклённый книжный шкаф, кожаный диван с примыкающими к нему высокими этажерками, где тоже теснились корешки книг, дубовый массивный обеденный стол, кровать с никелированными шарами... Лидия закачалась на ласковой волне памяти, снова через полвека притронулась к судьбе доктора Гродского, такое чудесное стечение обстоятельств - ну, прямо как в романе или в кино... И мне перепали живые чёрточки Гродского. А то ведь недолго было бы и обмануться, прочитав, например, у цитированного здесь Я. Борового неприязненные строки о Гродском: некий друг Борового поддался предоккупационным уговорам Гродского не бежать из Одессы, остался и погиб - Боровой не мог этого простить Гродскому, даже не очень верил в его помощь евреям Доманёвки. Придя к Гродским после освобождения Одессы, только и отметил недоброжелательным оком икону в их квартире (демонстрация нееврейства! двуличие!) и хмыкнул над объяснением, что икона в оккупационные дни служила маскировкой. Историк Боровой был почтенный, а человек обыкновенный, и истинного Гродского правильнее высматривать глазами Лидии Гимельфарб.

Сегодня Лидия Гимельфарб на кладбище... Евгения Хозе тоже. Уходят герои мои, уходят очевидцы...

Но есть в Израиле город Ашдод, портовый, нацелен уподобиться Одессе, в нём уже сколько-то одесситов живёт. И я сегодня могу приехать сюда, зайти к Белле Шнапек, послушать её.

**Б. Шнапек:** “Папу моего сожгли в Одессе, в казармах, 23 октября. Двух тёток расстреляли по дороге в Доманёвку, мы туда пришли с другими

двумя тётками и с мамой. Весной мама и я заболели тифом, мама умерла, я осталась с тётками. Старшая из них, ларинголог, начала работать в Доманёвской больнице. Там и мама Жени Хозе работала стоматологом. Жена с мамой жили в маленькой комнате, а рядом в большей комнате мои тёти и я и ещё один врач с дочерью.

Там мы познакомились с Женей. Было о чём вспомнить: студенческие годы перед войной... Говорили об искусстве, она любит музыку, живопись...

...Возле Константина Михайловича образовалась целая группа тех, кто помогал евреям в Доманёвке: Шура [Подлегаева], Ната [Теряева], Марья Павловна.

Марья Павловна - медсестра, украинка или русская. Она удочерила еврейскую девушку лет восемнадцати. Перед самой войной. Девушка упала с лестницы, и у неё был открытый перелом ноги, её поместили в Еврейскую больницу на Молдаванке. Марья Павловна работала там. Девочку звали Аня. Её родителей потом уничтожили, а эта Аня осталась, и Марья Павловна её взяла к себе.

Нога не заживала, "добрые соседи" указали румынам, что вот живёт еврейка, и Аня попала в этап на Доманёвку. Мы там с ней познакомились. Марья Павловна очень часто туда приезжала, забирала у Ани гнойные бинты, дома их стирала, кипятила и потом привозила опять. Одновременно она возила посылки от Константина Михайловича.

У Ани был русский паспорт, который ей сделала Марья Павловна. В конце марта 1944-го (а Одесса была освобождена десятого апреля) несколько человек с русскими паспортами бежали из Доманёвки в Одессу, среди них Аня. И там они встречали Красную Армию.

Марья Павловна во время и после войны работала в Оперном театре медсестрой. Она к Ане идеально относилась. Аня поступила в институт иностранных языков, встретила своего любимого ещё довоенного, он прошёл всю войну, они потом поженились".

Я предложил Белле Шнапек написать Ане, выяснить фамилию Марьи Павловны, просить Яд ва-Шем возбудить дело о её праведничестве. Б. Шнапек усмехнулась: - Аня так и осталась русской, у неё оба зятя русские, она тщательно скрывает, что она еврейка, я поэтому и фамилию её называть не буду. Не захочет Аня себя обнаруживать.

И, померкнув, Белла Шнапек тут же снова оживилась:

- В Доманёвке из окон больничного корпуса мы видели, как людей гнали в другие сёла и колонну замыкал офицер-румын, который влюбился в красивую еврейку, кажется её звали Роза. Он вырвал её из

колонны, спрятал. Она находилась у него несколько месяцев, а потом произошло некоторое послабление, и он её выпустил, но поддерживал с ней отношения, она выжила.

...Примерно в начале сорок третьего, в один прекрасный день нам приказали взять всё необходимое и сказали, что вышлют из Доманёвки. Мы попрощались с жизнью. Понимали, что это конец. Утром нас чуть свет погнали на какой-то далёкий-далёкий хутор, загнали там в несколько хат. Мы ожидали своего смертного часа. Нас не трогали, а утром возвратили в Доманёвку. Оказалось, что в тот день через Доманёвку проходили немцы и румыны нас укрыли. Не знаю, почему...

За две недели до освобождения советскими войсками по настоянию тёток я с моей подругой Миной Ярмолинской ушли из Доманёвки из-за боязни уничтожения немцами молодых при отступлении. Окольным путём через три дня добрались в хутор Сокира, где нас прятала прекрасная украинская семья Жирун.

Они не побоялись нас укрыть. Утешали, успокаивали: “Потерпите, вот наши придут”. Они нас кормили. Больше того, когда при отступлении немецкий штаб расположился в их дворе, они нас спрятали на чердаке. Предупредили, чтобы мы не двигались, совсем как будто нас нет. За стенкой мы слышали их разговор, хохот, шарканье... Ночью нас выводили в туалет, а днём - нет, сиди и терпи. Через несколько дней немцы стали шарить по двору. Испугались наши хозяйева, сказали: “Девочки, они могут вас на чердаке застигнуть”. Они нас ночью вывели в поле, мы там в стог спрятались. Кое-что они нам оставили кушать. Через два дня пришли красные. Мы возвратились в эту семью, и они нас неделю не отпускали, кормили, приводили в нормальный человеческий вид - только потом они нас отпустили.

Доброжелательность Беллы Шнапек беспредельна, в её воспоминаниях не столько тьма оккупации, сколько свет человечности. Многие героини этой книжки - знакомцы Беллы, и вот они какие у неё:

Гродский. *“Высокообразованный интеллигент, прекрасный специалист, он снискал себе уважение и дружбу среди профессорско-преподавательского состава Одесского медицинского института. Это помогло ему легально жить и работать в оккупированной Одессе: профессора-неевреи Часовников, Кравицкий покровительствовали ему, помогали”.*

Вера Станиславовна. *“Она полька, жила на Гоголя, 13, в подвальном помещении. Всю жизнь жила, другие выходили из подвалов, а она - нет. У неё был муж, его репрессировали, он потом возвратился, мой папа писал ему всякие прошения, так как она была очень простая. Очень хороший человек, она всю войну передавала нам посылки через Гродского”*.

Дьяконов. *“Он был очень хорошим юристом. В начале оккупации я обратилась к нему, чтобы он помог достать документ с другой национальностью. Он обещал, но не сделал, не успел или нас уже погнали - не помню. Но он многим помог, жениной маме сделал караимский паспорт. Очень хороший человек.*

Хозе. *Женя - человек очень доброжелательный, начитанный, рисовала, любила музыку, училась французскому языку. Единственный ребёнок в семье, воспитывалась в интеллигентном круге. Отец-венеролог дружил с Гродским. Она была яркая брюнетка с румяной светлой кожей блондинки. Красивая, с большой косой вокруг головы”*.

Великанова-Никифорова. *“Очаровательная молодая женщина. Красивая, интересная”*.

Полина Великанова-Никифорова тоже из тех, кто не застыл, как часто принято, в безмятежности: она тоже сочла долгом искать славы Праведникам, не увенчанным официальными лаврами. Она писала мне: *“Мать моего соученика Клавдия Богуславская, будучи беременной, во время голода на Украине в тридцать втором году познакомилась на одесском базаре с торгующей крестьянкой, кормящей грудью крошечную девочку. Крестьянка, по имени Дуся, рассказала, что её муж и четверо детей были принудительно вывезены из дома в большой группе односельчан - все они назывались “кулаки”. Дуся по приказу мужа вышла из дома с грудной последней дочкой, взяв какие-то вещи и чистое бельё для ребёнка. Увидев, что соседи в это время собираются на базар в Одессу, Дуся попросилась к ним на подводу.*

*В Одессе на базаре первой покупательницей детского белья оказалась беременная Клавдия Богуславская. Она спросила адрес Дуси и, узнав, что “адресы нэма”, сразу пригласила её к себе на дачу в Люстдорфе. Дуся провела лето, ухаживая и кормя своим молоком новорождённого Наума Богуславского, а осенью уже стала членом всей се-*

*мы Богуславских. Клавдия отделила ей “половину усадьбы” и предложила построить дом для дочки и себя самой. Всё это было в 1932 г. Её дочка Груня очень сдружилась с Наумом, их называли “молочными братом и сестрой”.*

*За девять лет жизни в Одессе благодаря общительности Клавдии Богуславской Дуся стала знакомой многим семьям, которые проводили лето в Люстдорфе. Так возник обычай приносить “своё” молоко (у Дуси была отличная корова) на дачу, а затем и на квартиру доктора Гродского.*

*В 1941-1942 гг. Дуся, живущая за городом, регулярно приносила в гетто продукты для различных евреев, летом живших в Люстдорфе. Участие и обязанность помощи евреям и доктору Гродскому стали для Дуси просто необходимыми. Она часто говорила: “Я бы раскулаченная не выжила без них, значит, я обязана помочь им выжить”.*

*Дальше Полина Великанова написала об интересовавших меня Гродском, Полегаевой, Теряевой; ничего о себе. Письмо было 1993 года. А в 1995 году я получил открытку, там среди прочего: “Я стала очень неорганизованной после страшного события, обрушившегося на меня - мгновенной смерти моего старшего сына... Будучи в гостях у младшего сына Сергея, уже пятый год живущего в Израиле, я побывала в гостях у своих давних подруг - Виты Раухбергер и Гали Островской... Благодаря общению с ними зародилась идея оформления... гражданства в Израиле, где звание “Праведник Мира” может способствовать получению прописки и, может быть, пенсии..”.*

*Г. Хургина (из свидетельства в Яд ва-Шем): “Я, Хургина Тамара Алексеевна... в 1940 году поступила на 1-й курс филологического факультета Одесского университета, где познакомилась с Полиной Георгиевной Никифоровой, тоже студенткой...”*

*Во время войны я и моя бабушка... не смогли эвакуироваться... Когда было объявлено, что все евреи должны отправиться на Слободку, мы с Полей решили спрятать бабушку... В это время дворник нашего дома стал по нескольку раз в день приводить ко мне румынских патрулей, чтобы они меня тоже забрали как еврейку. В один из дней, когда мы с Полей шли по улице, навстречу шёл священник, большой, кра-*

*сивый, старый человек с огромным крестом. И Поля сказала: “Давай подойдем к нему и попросим защиты”. Это оказался священник из Бессарабии отец Мисаил, которому мы всё рассказали как на духу. Он принял близко к сердцу мою историю и выхлопотал мне у румынских властей свидетельство о моём нееврейском происхождении. Я переехала в общежитие университета...*

*...Поля взяла паспорт своей матери, мы вывели бабушку из оцеплённой Слободки, превращённой в гетто, и поселили в квартире отца Мисаила, куда мы с Полей... приходили ежедневно, приносили еду и дрова... Какие-то соседи заявили в полицию, что в квартире скрывают еврейку. В наше отсутствие пришли полицаи и увели бабушку в гетто. Мы с Полей её нашли, дважды приносили еду и тёплые вещи, а на третий раз там никого уже не оказалось: ночью отправили этап...*

*Дважды во время оккупации меня вызывали в сигуранцу по доносам по поводу моего еврейского происхождения, но всякий раз меня спасали отец Мисаил, Полина и друзья.*

*Полина, конечно, очень рисковала, ежедневно участвуя во всех деталях моей жизни и укрывая мою бабушку, ибо за укрывательство евреев полагался расстрел. Она помогала всем, кому могла. И мне, и другим евреям... Наде Биберман, Рите Литвиновой и др.”*

Не успела П. Великанова-Никифорова стать Праведницей и обратиться к сыну в Израиль; она умерла. Из посмертной статьи о ней в одесской газете 1997 года: *“По какой-то страшной и чудовищно несправедливой иронии судьбы Полина Георгиевна в конце жизни была одинока”*.

В той же статье восторженные слова о её, в молодые и активные годы, красоте, обаянии, хлебосольстве, открытом доме, множестве любящих друзей, о её доброте и таланте психиатра: *“Её обожали студенты, уважали коллеги и боготворили пациенты - самые обездоленные и Богом, и людьми”*. П. Великанова-Никифорова работала врачом в психиатрической больнице.

### **39. ПСИХБОЛЬНИЦА**

**В**ек Сталина и Гитлера попробуй различить, где в жизни бред, где норма. Но может всё же показаться странным в этой книге

поворот к лечебнице для душевнобольных. Однако тема туда толкается. Великанова - не первый указательный знак. Аба со справкой психопатской, Шимек с дядей-психиатром. Подлегаева описание мне своей биографии закончила: *“После войны я работала в псих. больнице. Развозила по городам страны душевнобольных военных”*.

Я тогда не обратил особого внимания, подумал только: подходящее место и подходящее занятие для подвижницы. Мне вспомнились послевоенные психи в Одессе, в толпе возле булочной припадочный мужик рукой в коросте раздирает на груди гимнастёрку, брэнчащую медалями, пена на губе, истошный вопль: *“Отойди! У меня ранение по группе “А”!!!”*. То есть ранение в голову, то есть *“Я за себя не отвечаю!”* - что могло быть и правдой, и театром симулянта в борьбе за отоваривание без очереди. Сопроводять выпущенных из больницы бывших воинов, помрачённых кошмарами фронта, утишать их скорбные души, утирать неостановимые слёзы, слушать лепет и бред - та ещё работка выдалась смешливой Шуре.

Её дочь Алла, ездившая с мамой в первую поездку в Ленинград, вспоминала, как они везли двух больных. Один тихий, только приставал к Шуре: *выйди за меня замуж, у меня брат-министр, будем сладко жить, машина, колбаса, мыло туалетное...* А другой, буйный, бывший моряк, тонул в войну. Он при виде портрета Сталина, а они на каждой станции висели, подбегает и плюёт в обожаемого вождя. Народ в ужасе, вопли, милиция, Подлегаева отбивается, тычет справку, что моряк после ранения, психический...

Подлегаева никогда даром хлеб не ела...

Из заявления **Фридмана Ф. И.** в Комиссию по расследованию злодеяний оккупантов, 1944 год:

*“...была угнана в гетто моя младшая сестра, которая сошла с ума и была мною отправлена в больницу на Слободку где она умерла от разрыва сердца...”*

Что ж, поехали... На Слободку.

Октябрь 2002 года. Краснеющие клёны. Безлюдный будний полдень. *“Тиха Одеса”* - соответственно вывеске здешнего кафе, маленького, уютного, без посетителей.



Слободка - край многих моих персонажей. Неподалеку катакомбы и бывшие партизанские места, Кривая Балка и село Нерубайское. Тени витают в бархатном чутком воздухе. На слободском памятнике одесским подпольщикам, невидной стеле с именами читаю: Брага... Васина Е.Ф... Верига... Волков... Вот и Красноштейн! Вот Сойфер. Нет руководителей - Петровского, Сухарева - видно, памятник сооружали, когда они ещё числились в предателях.

Пролязгнул мимо трамвай на одноколейке, он здесь только в одну сторону, как и полвека назад, когда этим трамваем, пятнадцатым номером, приезжал сюда Шимек. Доезжал до угла, до остановки "Психбольница", переходил улицу, огибал густо цветущую клумбу перед входом и входил в здание. Оно и сейчас то же, и дверь та же, решётчато застеклённая на две трети, с деревянными накладками, с ручкой литой, каких теперь не употребляют. "Областная клиническая психиатрическая больница № 1". Я вхожу в неё сегодня вместе с Шимеком, с моими здешними героями - врачами, больными и псевдобольными.

С Александрой Подлегаевой... Я прохожу с ней через вестибюль, сегодня пустой, а в годы войны здесь на входе стоял Миша Гершензон - бессменная принадлежность больницы, как дверь и двор, как смиренные рубахи и железные койки. Монумент, расставленные незыблемые ноги в кирзовых сапогах. Коренастый, убойные ручищи, смуглый, лысая голова, как дыня торчком, щекаст, носат, зубы конские безмерные - восточный человек, называемый или считавшийся караимом, он нацеливал на прибывающих клиентов свои не то ворошиловские, не то гитлеровские усики и одним тычком глаза безошибочно определял: "Это наш".

...Интересно, думаю я сейчас, как в годы оккупации вахтёр Миша становился на горло своим диагностическим способностям при виде симулянтов? А их в больнице хватало.

...В больнице военной поры располагалась сигуранца. Из вестибюля по коридору налево, и в облезлой заплесневелой стене блеснёт лаком деревянная дверь, солидная когда-то, а теперь заколоченная без намёка на использование, даже ручки нет. За ней в квартире довоенного главного врача профессора Айхенвальда был кабинет комиссара сигуранцы Кодри, знакома Подлегаевой.

Видится мне: Кодря, щеголь в скрипе ремней, прямые вороньи волосы с проплешиной бабника, он за столом, а по другую сторону, на посетительском месте Шура, и они говорят доверительно, потому что милы комиссару ямочки на её щёчках, да и виды у него служебные: её отца большевики убили, такие обиженные - лучшие в агентах, и с доктором Шурочка очень помогла, и комиссар по дружбе, мешая “вы” и “ты”, предлагает: - Выгодное дело, Шура, поймите, для вас выгодное, у меня-то и без тебя помощников, как у вас говорится, отбою нет. Вот смотрите, - шелестят в руках комиссара бумаги, - пишут и пишут. Почитай!

Шура берёт бумагу. Красивый почерк, с размахом, с плавным и уверенным нажимом пера: “Я вам уже дважды писал про гражданина жида Рехбиндера, который приходил на свою квартиру за вещами. Месяц назад его увёл полицейский. А сегодня жида Рехбиндера опять видели одетого в новое пальто. Это значит его отпустили за деньги. Население так говорит, хотя я разъясняю, чтобы про румынскую власть плохо не говорили, что это может быть просто ошибка. Прошу принять меры и забрать жида Рехбиндера как злейшего борца за прошлую большевистскую власть и здесь он тоже появился не так просто. Пропагандист № 186”.

- Они у нас под номерами и прозвищами, наши помощники, сто восемьдесят шестой не последний, - говорит Кодря. - А сколько незарегистрированных просятся послужить! Тут одна старуха надоела, шестой раз - шестой! - приходит, чтобы детей каких-то еврейских из её дома забрали. Родители ей оставили, наверно, за деньги. Теперь просит, пусть вывезут, куда всех. Пускай, говорит, их Господь защитит. Если помрут - тоже Божья воля. А у неё, говорит, кормить их нечем, голодают, жалко ей сирот, сердце болит. Такая, видишь ли, добрая.

Ещё и ещё показывает Кодря бумаги. Я их видел в Одесском архиве, в фонде 2262, подписанные (И. Брижицкий, В. Антонов, Е.Т. Самойлов...), или помеченные, как выше, “Пропагандист №...”, или анонимные - песни доносов: “*Население нееврейского происхождения выражает недовольство в том, что евреи, желая стушеваться с русскими, перестали носить отличительный знак (жёлтую шестиконечную звезду)*”;

*“...В населении говорят, что в префектуре можно за взятку поставить печать нееврея на свидетельство о рождении и показывать этот документ вместо паспорта, будто бы утерянного. Многие жители жалуются, что так жида скрываются, а при новой власти берут взятки. Это вредит лицу власти и я считаю такие факты надо стереть из новой прекрасной жизни без жидов и большевиков. Да здравствует наш любимый вождь Маршал Антонеску”;*

*“...пришла гр. Махначёва с возмущением, что прежде сообщённая Штигельман Ольга Михайловна дала в газете сообщение об утере паспорта как “Евтушенко”. Под той же фамилией она прописана в доме как русская”;*

*“... Жители Одессы есть такие, что помогают честно новой власти и активно выявляют граждан жидовской нации. Но много таких, которые не сознают опасности от жидов и позволяют их существование и даже помогают одежей или продуктами. В одной чисто русской семье я слышала подчёркивали, что чересчур жестоко относятся к евреям, т.к. и среди евреев есть порядочные люди. Несознательные не желают выдавать эту нацию полиции и всякой власти. Надо разъяснять этим людям, что честный патриот не должен стоять в стороне при очищении нашей жизни от жидовско-большевистской заразы”.*

Несколько человек, независимо друг от друга (Бойль и Мариотт? Лавуазье и Ломоносов?) открывают полиции учителя Загальского, который пытается спасти еврейских детей.

Кравченко, русская или украинка, тоже прячет еврейских детей. Доносчик жалуется в полицию, что на его неоднократные требования сдать детей властям, Кравченко ответила руганью и угрозами, мол, у неё связи в полиции и она ему напакостит... Я, читая, думаю: Кравченко блефует или правду говорит? Тогда в полиции - кто кого?..

...Шура выходит от комиссара, и я с нею, но тут нам разойтись. Потому что место и время перейти к Валентине Яковлевне Коган. Среди описанных здесь пособниц моих на поле Памяти ей - первенство. По бескорыстию, по затратам чувств, времени, сил, сердца. (Может, и по родственной моей симпатии - охотники упрекнуть всегда найдутся; что ж, отмахнусь.)

Началось с моего копания вокруг Гродского. Один из дядей моих Яков Моисеевич Коган работал главным врачом этой самой одесской психбольницы, был человеком в городе, а тем более среди коллег, знаменитым - потому не мог не знать многих из моих персонажей, в частности, доктора Гродского. И Подлегаеву наверно знал. В самый раз было бы выспросить у него подробности о моих героях.

Однако Я. М. Когана давно не было в живых. Зато здравствовала дочь его, Валентина Яковлевна, которая жила когда-то вместе с родителями в квартире при больнице и могла многое помнить из своего послевоенного детства. И я по-братски спросил её в 1996 году в письме: не знаешь ли хоть понаслышке о некоем докторе Гродском, помогавшем в войну евреям (отец мог рассказывать), а ещё возможнее о медсестре Подлегаевой - она в психбольнице работала. И ответила мне родственница моя: “Нет, об этих людях не слыхала. А что касается спасения евреев, то папа незадолго до смерти в 1960-м году рассказал мне, что во время войны в больнице под видом пациентов скрывались евреи. Руководил тогда больницей профессор Шевалёв, они дружили, он к папиной главной книге предисловие писал. Шевалёв про евреев ни слова, но другие сотрудники, кто работал при оккупации, упоминали. Если хочешь, я поищу подробности, поспрашиваю”. Ну, как не хотеть мне! “Поспрашивай” - прошу сестру.

И она раскрутила новый сюжет: спасение в психушке.

На изящной новорусской фене выражаясь, полный отпад! Психбольница - место, гибельнее не придумать. Психические больные подлежали уничтожению ещё прежде евреев - этому правилу нацисты следовали до начала войны у себя в Германии, тем более оно было непреложным в оккупированных землях.

**Д. Стародинский** (Ахмечетка): *“В эту ночь лагерь проснулся от страшных нечеловеческих криков... Через щели барачков мы увидели несколько подвод, на которых лежали люди, некоторые из них связанные. Их били кнутами, палками, но они не поднимались и издавали какие-то дикие вопли.*

*Это доставили в лагерь группу душевно больных евреев из Кишинёвской психбольницы... Сумасшедших поместили в барак для ум-*

*рающих, и очень скоро, буквально через две недели, они все умерли от голода и истязаний”.*

**Из Листов:**

*“Шпак Анатолий, 1913 г.р., лётчик, расстрелян немцами в психиатрической лечебнице в пос. Орловка, Воронежской области в 1942 г.”*

**Материалы ЧГК “Об убийстве больных психолечебницы “Орловка” Петинского сельсовета, Гремячинского района, Воронежской области”**

*“АКТ от 5 августа 1943 г.*

*Мы, нижеподписавшиеся [следуют 13 фамилий] составили настоящий акт...*

*...больных свели в загородку около второго корпуса, где им приказано было лечь на землю, неподчинявшихся избивали плетью. Из загородки больных по одному и по-два стали подводить к воронкам от авиабомб. Там немецкие жандармы расстреливали их из револьвера в затылок...*

*...Некоторые больные, не желая погибнуть от рук немецких палачей, сами кончали с собой. Так, две женщины... разбились о столб. После того, как ямы были доверху заполнены телами расстрелянных, среди которых некоторые ещё продолжали шевелиться, они были закиданы землёй.*

*...на территорию психолечебницы приводили для расстрела душевно-больных с первого и второго колониальных участков...*

*В седьмом корпусе помещались слабые старухи и дети... их носили к месту казни на одеялах”.*

К этому акту приложены свидетельские показания работников больницы:

**Лебедева А. П.**, в годы войны старшая сестра: *“Немецко-фашистские изверги за июль и август 1942 г. на территории психолечебницы “Орловка” расстреляли свыше 700 чел. душевно-больных... также расстреляли 2-х врачей Груздь Софью Ефимовну и Резникову*

*Елизавету Львовну вместе с её грудным полторамесячным сыном... за то, что они по национальности евреи.*

*Медсестра **Зазулина О.В.**: 14 июля под вечер я пошла выносить ведро. Увидела - идёт Елизавета Львовна с ребёнком на руках. Рядом шёл немец. Он ей что-то сказал. Резникова поцеловала ребёнка и положила его на траву. Немец выстрелил в неё, она покачнулась, он выстрелил ещё раз. Резникова упала. Затем немец выстрелил в ребёнка”*

*“Немец, немецкие изверги, немецкие палачи, немецкие жандармы” - так стыдливо и в акте советских следователей, и у свидетелей. Но их, извергов стрелявших, упоминают свидетели всего-то двух, ДВУХ, да одного офицера-распорядителя. Зато помощников, хоть принуждённых, хоть самодеятельных, вон сколько перечисляет санитарка **Н. И. Фёдорова**: “Я и другие санитарки стали водить больных за загородку для буйных. Директор Ананьев и главврач Аникин... наблюдали, чтобы все больные были выведены из корпусов... Я привела в загородку 5 чел. больных совместно с санитаркой Сезиной Юлией, с санитаром Сезиным Яковом Ивановичем. Кроме того водили санитарки Бруданцева Евдокия, Сезина Федора, Тройнина Дарья, Чистоклестова Александра Ивановна, кладовщик Ульяненко Егор Васильевич, бывший больной из испытуемых Бородин Фёдор, санитарка Жирноклеева Мария, Зазулина Ольга Васильевна, Зазулина Наталья Ивановна, Зазулина Анастасия.*

*Яму рыли больные Илюхин Михаил, больной парикмахер по имени Жорж, больной немой по имени Александр фамилии не знаю, эти больные в настоящее время находятся в психолечебнице.*

*После того как... яма была готова, директор Ананьев и главврач Аникин приказали всем нам идти в 4 корпус, где и находится, а Плотникова Семёна Андреевича, Протопопова Якова, Дочкина Якова Ивановича оставили с целью водить больных на расстрел..”.*

*Старший брат по труду **Марков Н.Е.** отвёл на расстрел шесть больных, а потом стоял, сторожа, у ворот загородки с больными; он припомнил: “Кроме меня водили к расстрелу... ребяташки-подростки, фамилии их не запомнил”.*

*Санитарка **Хрюкина Н.Д.** рассказывает о больном учителе Мешковском, который спрятался от расстрела в корпусе и был оттуда вы-*

волочен другим больным Першиным на расправу к врачу Карпову. “Больной учитель стал умолять палача Карпова, чтоб тот отпустил его, но Карпов... с ругательством погнал жертву больного Мешковского в спину кулаками и отдал его немцам на расстрел”.

Дружный коллектив. С замечательным руководством. “Ананьев, бывший душевно больной психолечебницы “Орловка”, при оккупации немцами они его назначили директором... После того, как директор Ананьев был убит бомбой в августе 1942 г. немцы на должность директора психолечебницы назначили душевно больного Бородина” (показание **Лебедевой А.П.**).

Другую психбольницу посетил известный писатель, он же следователь, и составил **Справку**, почему-то “совершенно секретную”:

“Через несколько дней после оккупации немцами Курска, а именно 8 ноября 1941 г. немецкий комендант Курска **ФЛЯХ** и старший гарнизонный врач **КЕРН** приказали администрации Сапоговской психиатрической больницы, в лице её б. директора **КРАСНОПОЛЬСКОГО** и врача **СУХАРЕВА**, приступить к массовому отравлению больных...

**КРАСНОПОЛЬСКИЙ** и **СУХАРЕВ**... решили выполнить это чудовищное распоряжение немецких властей и объявили об этом остальным врачам названной больницы **НЕСТЕРОВОЙ** и **КОТОВИЧ**. Однако, Нестерова и Котович категорически заявили, что отравлять больных не будут.

...[15 ноября немцы запретили снабжать больницу продуктами]. После этого **КРАСНОПОЛЬСКИЙ** и **СУХАРЕВ** вновь вызвали **КОТОВИЧ** и **НЕСТЕРОВУ** и предложили приступить к массовому отравлению больных, но те снова отказались. Тогда была прекращена выдача пищи больным...

Душевно-больные, запертые в палатах... начали пухнуть от голода и умирать. **КРАСНОПОЛЬСКИЙ**... обвинял врачей в том, что они “плохо помогают больным умирать”...

...на почве голода умерло 350 чел. больных. 18 декабря 1941 г. был отдан категорический приказ немедленно приступить к массовому умерщвлению больных. На этот раз врачи **НЕСТЕРОВА** и **КОТОВИЧ** согласились принять участие в этом злодеянии и 18 декабря было начато умерщвление душевно-больных. Для этой цели каждому больно-

*му был выдан хлорал-гидрат 70%-ной концентрации... В течение трёх суток было таким образом умерщвлено 650 человек...*

*НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА  
СТ. ПОМ. ПРОКУРОРА СССР (Л. Шейнин)  
17 мая 1943 г”.*

“Добрый доктор Айболит”...

Айболит нашелся в Одессе. Именно в психбольнице.

За Одесской психлечебницей немалая медицинская слава ещё с 1870-х годов, когда её главный врач А.С. Розенблюм придумал лечить психопатов прививкой возвратного тифа. Но вершиной деятельности больницы сегодня представляются не врачебные достижения, а подвиг семьи Шевалёвых - словно бы взлёт противления неправде, которое таилось и в укрытии жертвы сталинизма, и в маскировке портрета Фрейда, и в симуляции Абы - традиция, похоже...

Из обращения в Яд ва-Шем **В. Я. Коган**: *“Евгений Александрович Шевалёв... к моменту начала войны заведовал кафедрой психиатрии Одесского медицинского института... В период оккупации... он добровольно принял на себя руководство больницей. По указанию проф. Шевалёва на всех сотрудников больницы еврейского происхождения, оставшихся в оккупации, были заведены истории болезни, на основании которых они числились в больнице не как сотрудники, а как душевнобольные... В больнице... нашли своё спасение и другие люди еврейской национальности... которые прибегли к помощи Евгения Александровича. Опасность этого подвижничества была тем более велика, что в одном из помещений больницы располагалась сигуранца. Для постоянного отслеживания ситуации и быстреего на неё реагирования Евгений Александрович с семьёй переселился в больницу.*

*...Единомышленником и помощником проф. Е. А. Шевалёва был его 22-летний сын Андрей. Он принял на себя инициативу в том, что требовало решительности, твёрдости и неукоснительного следования интересам тех, кто был или значился душевнобольным...”*



Из воспоминаний сына Е. А. Шевалёва профессора **Андрея Евгеньевича Шевалёва**: “В период оккупации в больнице находилось около 600 больных и из них почти половина были еврейской национальности. Кроме этого была группа здоровых лиц еврейской национальности... на которых с изменением их фамилий как на больных заведены истории болезни.

В первые дни оккупации... пришли в больницу румынские комиссары и потребовали у Е. А. Шевалёва, чтобы он выделил группу физически крепких больных... вырыть на территории колонии [санаторная часть больницы: сад, виноградник, аптека, жильё сотрудников] окопы-могилы для них самих и всех остальных больных... Огромных усилий стоило Е. А. Шевалёву уговорить румынских офицеров отказаться от этого.

Это был не последний визит с предложениями такого рода, но примерно через месяц... комиссары покинули больницу, произведя обыск за обыском во всех помещениях б-цы и убедившись в том, что без продуктов, воды, медикаментов и отопления все больные всё равно обречены на смерть.

Понимали это Е. А. Шевалёв и руководимый им персонал... Добывались с колоссальным трудом и нередко риском для жизни сотрудников продукты для больных, но их было недостаточно... Остановить развитие алиментарной дистрофии у группы больных не удалось, и они умерли.

Через три месяца после начала оккупации Е. А. Шевалёв добился от румынских властей того, что больнице начали выделять для питания больных кое-какие продукты.

Истории болезни на здоровых лиц из персонала... еврейской национальности... оформляли, после личной беседы с Е. А. Шевалёвым, несколько заведующих отделениями, соблюдая... максимальную секретность.

Здоровые лица, оформленные как больные, находились, так же, как и больные-евреи, в отделениях, и им не разрешался выход на территорию больницы... Перемещение по городу и посещение своих квартир категорически было запрещено, так как очень легко могло окончиться задержанием их и имело бы самые плохие последствия не

только для них самих, но и других больных еврейской национальностью...

...Анонимных доносов в полицию и жандармерию, повидимому, было много и основное их содержание было сообщение о том, что больница укрывает здоровых лиц еврейской национальности. Мы могли об этом судить по появлению много раз проверочных румынских комиссий. К счастью, во всех случаях удавалось убедить эти комиссии в беспочвенности таких обвинений”.

**Л. Золоторевская** (письмо в Яд ва-Шем): “Во время оккупации меня, мою мать, бабушку и тётку угнали в гетто - Одесская область, Берёзовский район, хутор Стадная балка, где 22 марта 1942 года вся семья была расстреляна... Я чудом спаслась, спрятавшись в стогу сена. После расстрела я... тайком пробралась в Одессу и пришла на Слободку в психбольницу... Андрей Шевалёв записал меня в женское отделение для буйных, спрятав под именем Лидии Прозоровой, украинки, страдающей аутизмом.

При этом он предупредил, что опасность угрожает не только со стороны сигуранцы, расположенной на территории больницы, но и внутри больницы есть провокаторы и доносчики... Все мы боялись таких доносчиков, как, например, доктор К...”

Лилия Золоторевская (в прошлом Раппапорт-Шарканская) называет полностью фамилию доносчицы, но сегодня не хочется пачкать детей-внуков. И если уж окунаться в прошлые подробности, то попробуем выдоить из тощего своего воображения, каково симулянту в кругу душевнобольных. Буйных, как сказано. **Андрей Шевалёв** потом в интервью уточнял: “Отделение для буйных, возбуждённых... Туда боялись заходить. Когда приходили комиссии проверяющие, они это отделение обходили. Лиля всю оккупацию находилась в больнице”.

... “Больная, говорят... ах, как они ошибаются... ох, ошибаются, совсем не больная и не она, а он, и вот, пожалуйста, снегом растёт животная пипка, никто не хочет смотреть, есть член! есть! есть!.. не видно, потому что антенна в ухе, волосы это антенна... выдрать и всё” - женщина сидит на койке, перекутив худые и гибкие ноги одну вокруг

другой, змеями, и пятка с краю, грязный палец в дыре носка; она дёргает волосы из уха, чтобы убрать эту проклятую антенну, от которой радиация убивает её-его мужскую силу... Гудит антенна приказы из центра уничтожить зулусов по всей Гренландии, очистить от низших рас, включая альбатросов, они летят низко, правый слева назад в крыльях солнце... шорох полёта, пух-перо забивает ноздри... нечем дышать... воздуха... воздуха! возду... - хрипит психопатка, рвёт ногтями грудь до крови, бьётся в железных руках санитаров...

...старуха ли, не старуха, какое значение? ведь она уже веками жила была царица Екатерина, была Жанна д'Арк девственница а настоящее имя секрет но она скажет только чтобы больше никому... её зовут Мария-Клеопатра-Гименей-Пи гетман России-Анемподиста-Танго дубль-Кирилла Магдалена-Роза-кардинал дюк Ришелье сто сорок три-Ньютон пятнадцатый Христос... - Она в одной рубашке драной, на плече прищиплена роза тряпочная, голые ноги, голые руки, в ссадинах и синяках, губа прокушена, шрамы на лице - отметины приступов; она тихо, сложа ладони кулачками на груди, жалуется: - Никто не верит именам, и что девственница - не верят... А я люблю профессора он жужжит внутри себя приходит с ним много все в белом следят не дают ему остаться со мной но он знает что я жду жду слова его пух на губах... пух на губах... пухбах, пухбах, бахпух... пахпух... пах... пах...

...Лицо обрисовано тонко, бровь чёрной стрелой, густая завеса ресниц - красива она, красива, даже и остриженная наголо от вшей... Больная тянет просящую руку каждому, кто мимо, и кривя стеснительную улыбку: - Дай денежку на хлебушек... дай на хлебушек... буду за тебя Бога молить... дай на хлебушек. - На её глазах евреев жгли, и жгут, жгут... солдат мечет в пламя младенца... летит он, кукла в дыму, пелёнка вьётся... пахнет жаркое... подгорело - и ломается стрела брови, корёжится нежный лик, сотрясает палату вопль "Горит! Горит!! Горит!!!" - Невесть откуда взялись у неё спички, и бросается она простыню поджигать - и кто-то бежит к пироманке.

...Молодится дама, в годах, но ещё вполне-вполне, под застиранной цыганской шалью плечо круглое, игривое и локонок-завлекунчик нарисован на виске, тем же карандашом глаза подведены, огромные, голубые, слезящиеся, добрые, они сейчас потухли, а как горели, когда плясала она в дореволюционном кафе-шантане, как горели, когда вое-

вала на коммунальной кухне с Симой проклятой Львовной, Симкой, эта жидовка вонючая с её кастрюли суп отливала и огонь с её примуса бумажкой себе отбирала, спички экономила, пархатая тварь жадная, это надо же, мало их резали в доброе старое время, ну ничего, она сама эту Симку сдала полиции, от неё не спрячешься, паскуды советские, они тут все евреи, швейцар Гершензон-Мершензон, видите ли, караим у них, никакой не караим, лысый для маскировки под лысиной чёлка как у Гитлера вот и усики как у Гитлера будто немец а по правде еврей, стоит у двери, первый порчу наводит радиосвязью от всемирного еврейского равина губят честных людей меня вообще украли из квартиры утащили как для любви, а сюда заперли и записали еврейкой, когда опять облава на жидов чтобы меня сдать в тюрьму как тех жидов после взрыва на Маразлиевской, они тогда штаб взорвали, теперь христиан изводят в больнице белые халаты понадевали врачи-доктора носатая шваль, надо за них предупредить...

И она сидит на койке, скорчась, нога на ногу, низко горбясь и кривя шею над тумбочкой, с которой она смела кружку-ложку, расправила мятый лист бумаги и дёргает по нему судорожно огрызком карандаша, старательно, сосредоточенно - слюна незамечаемая ползёт по губе - выводит разоблачительное: “Банда еврейских вредителей, спекулянтов, шпионов и убийц по заданию международных равинот для состоятельности заговоров значительнее нашей бдительности разоблачают доблестные власти румынских законов с целью полного и окончательного ликвидации банды еврейских вредителей, спекулянтов, шпионов и убийц как проклятых врагов румынской префектуры и всех христиан нашей улицы Гоголя чтобы вредителей, диверспелянтов, шпионов и убийц который швейцар Гершензон с докторами наводит на меня волну как еврейку через боковой орган считается аппендикс на самом деле апенис то есть по-ихнему член половой орган заливают мне магнетизм между ног каждый день тампонами вывожу магнетизм из влагалища...” - И жалость к себе, измученной, поднимается, изливается безудержно: она бросает писать, упирает взгляд в стену напротив и слёзы текут в морщинах землистых щёк. А потом кому-то невидимому протягивает свою бумагу и захлёбывается, глотая слёзы и слова: - Лично прошу разоблачить маршалу Антонеску за жидовскую банду вредителей, диверлянтов, шпионов и убийц изнемо-

гающие родную Одессу и более подробно зафиксировать необходимо для борьбы с жидовским засилием особенно... - И вдруг руки навскид, цыганская шаль - пёстрым крылом, голубизну глаз чернит ярость, и кричит она, хрипит: - Бить их всех... Всех! Вешать!.. Сволочь жидовская... Убивать... убивать... чтоб духу не было... Бей! Бей...

...Ночами больные колотятся о койки, бормочут своё неотвязное, скользят между кроватями путаной развинченной походкой, ноги разболтаны в суставах. Одна марширует твёрдо, вдоль своей койки, воображённое ружьё на плече, три шага, команда себе “На-караул! Кругом!”, поворот и три шага обратно; она в рубахе без рукавов, сквозь дыры грязное тело, к мятой пилотке на голове пришпилены значок ворошиловского стрелка на цепочке, и георгиевский крестик, и брошка с нарисованным цветочком... Другая безумица, измождённая, бесплотная, под пляжной соломенной шляпой белое от голода лицо, бессонно качается, сидя в постельном тряпье, о чём-то молится, шепчет, ничего, никого не видя, но рядом с койкой её место, дом, собственность, её - и посмей кто-нибудь из соседок ступить сюда - она рысью, оскалившись и бесшумно, взвизывается на захватчицу, валит на пол душить, давить; молча...

А снаружи, если выбраться из корпуса, в ноябрьской луже синееет нога, другая рядом в ботинке, рваная подошва оскалена, а эта в чёрной воде с ледком босая и возле рыбьим хвостиком вздрагивает тесёмка кальсон, выше по ноге треплется пола халата, его мышьяная плесень до плеч и по раскинутым в стороны высохшим рукам - больной стынет на скамье распятием, от страдания кривится лицо, разделённое, словно бы подобие разбегания мыслей: из морщин один глаз навькат, другой ужат в щель гримасой заросшей щеки, и с губы серебристой нитью свисает слюна...

Человек качается направо-налево, руки то врозь, то ладонями на уши, плотно, изо всех сил, так что и пальцы белеют, зажать шум, он из уха в ухо, гудит пароход, женский визг, смех, слова истошно и шепотом, посуда бьётся, лязг осколков, всё в голове, от этого волосы выпадают и через лысину шум наводит она как будто врач, соседка в форме врача, ей шестьдесят пять лет и три месяца и два вареника с вишнями она хочет пожениться а он молодой зачем ему шестьдесят пять лет с три месяца и два вареника с вишнями так она таки напускает шум мешает управлять городом его избрал весь народ кроме этой шестьдесят

пять и два вареника с вишнями, он не будет кушать вишней, они действуют на мужское чтобы ему пожениться на соседке шестьдесят пять в форме врача и ещё три месяца с два вареника с вишнями. Он давит ладонями уши и подвывает от вопля скандала под черепом, а шум, вот ура! утихает, и он смеётся и радостно расхлупывает синей шершавой ногой льдинки в луже - наконец, покойно, счастливо стало, ушла та шестьдесят пять и три месяца и два вареника, и доктор теперь отпустит его из больницы управлять Одессой, чтобы каждый корабль в порту стоял у своего причала тихо-тихо, без шума, без криков, без посуды...

...И на другой скамейке тот, про которого все знают, что юрист, толковый, ласковый, борода клинышком, вроде батюшка из церкви или, говорят, профессор, он даёт советы дельные, объясняет про советский суд справедливый всегда и если случаются ошибки, то их надо исправлять, а если классовые враги, надо об этом предупредить, он ждёт вызова к товарищу Сталину, но врачи говорят, что ещё нельзя, и он должен написать письмо партии, правительству лично... смычок исключительно мамочка...

#### 40. ШЕВАЛЕВЫ

**В** 2003 году на Украине начал выходить журнал “Психоанализ”. В первом номере - статья Т. Ярошенко о профессоре Е. А. Шевалёве: потомственный дворянин, родился в Одессе в 1878 году, окончил Ришельевскую гимназию, а в 1906 г. с отличием медицинский факультет Новороссийского университета (первый выпуск медиков). В 1922 году избран профессором кафедры психиатрии мединститута и возглавлял её до конца трудовой жизни.

**Т. Ярошенко:** *“Шевалёв Е. А. создал в Одессе целую сеть специальных лечебных и научных учреждений... Оставил после себя 120 научных работ... Он с детства обладал недюжинными способностями к живописи и скульптуре... Евгений Александрович написал ряд философских работ... книгу о юношеском романе А. Блока... С 1907 по 1910 год... он каждое лето, когда клиника закрывалась на каникулы, поступал врачом на какой-нибудь пароход, курсирующий по Средиземному морю. Таким образом побывал в Египте, Греции, Италии, Турции и повидал различные памятники искусства...”*

Из текстов самого **Е. А. Шевалёва**: *“Свята жизнь во всех её видах и больше всего - человеческие переживания, человеческая мысль, если они только искренни. Признание святости жизни - это основа, первоисток морали. Отсюда вытекают, отсюда начинаются все моральные ценности, более сложные, конкретные и абстрактные, земные и сверхземные, вневременные. Только на основе уважения к любви и жалости к жизни можно строить отношения к Божеству”*.

В период оккупации Одессы с октября 1941 г. по апрель 1944 г. Е. А. Шевалёв работал главным врачом психиатрической больницы. Умер в 1946 году.

Весной 1997 года я случайно познакомился в Иерусалиме с Риммой Тарнавски, психологом, окончившей когда-то Одесский медицинский институт. Мы упомянули в разговорах преподававшего там доцента Я. Когана. Молодая женщина, Р. Тарнавски не могла слушать его, но знала о знаменитом лекторе. Одесса, Коган, психиатрия, психбольница - к слову я рассказал про молву о спасении евреев в лечебнице, назвал фамилию “Шевалёв”, который, говорят, давно умер и дети его неизвестно где. “Почему же неизвестно? - удивилась Р. Тарнавски. - Я жила в Одессе на одной площадке с Андреем Шевалёвым, младшим сыном профессора. Адрес? Пожалуйста. Французский бульвар, 43... Тётя моя, Людмила Евсеевна, дружит с его женой, вот вам телефон тётин...”. Примерно тогда же в Хайфе обнаружилась бывшая сотрудница больницы, знавшая в Одессе знакомых Андрея Шевалёва - появился ещё один след.

А в Одессе В. Коган ещё с 1996 года взялась активно искать в психбольнице материалы о спасении евреев, вовлекла в поиск Александру Мартыновну Пасечниченко, заведующую отделением больницы и одновременно больничным музеем. Нашлись скудная папка “Одесская психиатрическая больница в годы фашистской оккупации” и отрывочные записи воспоминаний членов семьи профессора Евгения Александровича Шевалёва, его жены Евгении Никодимовны, сыновей Андрея и Владимира. Там упомянуты пережившие в больнице оккупацию здоровые люди еврейской национальности Лиля Шарканская, врач Фиш и некий Орловский. В картотеке обнаружена карточка под

названием “Истории болезни и воспоминания” этих людей, но никаких таких материалов не обнаружилось. Зато нашлось замечательное воспоминание жены профессора: *“Однажды один румынский прокурор прислал в больницу 15 совершенно здоровых детей еврейской национальности, передав: “Пусть они у вас пока побудут”. И эти дети провели в больнице весь период оккупации, а после освобождения города их распределили по разным детским домам. Только одну девочку Жанночку нашла случайно уцелевшая мать”*. (Замечательно! Может, румынский прокурор - спаситель, Праведник? А может, перепутано и не прокурор, а какой-нибудь другой румынский чин? Может, комиссар сигуранцы? Кодря, работающий тут же в здании больницы? Ведь по словам Подлегаевой он убийств “не одобрял”. Опять место детективу. Но выяснить больше ничего не удалось - ни мне, ни даже моей усердной сестре).

Любительский сыск плодоносил. В мае я направил В. Коган обнаруженные в Израиле сведения.

Письма 1997 года **В. Коган** - мне: *“Состоялась моя встреча с А. Е. Шевалёвым... Его телефон дала мне Людмила Евсеевна... Передо мной предстал абсолютно сохранный и физически и интеллектуально 78-летний человек (его и стариком-то не назовёшь), полный глубоких эмоций, и вполне определённых взглядов, чётких суждений, категоричных оценок; скромный, но без самоуничижения; достойный, но без переоценки своей персоны. О делах своих и своих родителей (особенно последних) рассказывает с ненавязчивым удовлетворением, но при этом не тычет себе в грудь пальцем.*

*Он значительную часть своего времени проводит под Одессой, возле Очакова, на острове. Это уголок нетронутой природы: птичий заповедник, табун диких лошадей и т.п. Андрей Евгеньевич - биолог... приглашённый в своё время для организации Батумского дельфинариума... Написал три книги о дельфинах... Выступал с лекциями об экстрасенсорике... Убеждённый атеист, презирающий поповство и в целом религию, именем которой в мире было совершено огромное количество злодеяний и пролито море крови. Все свои суждения он аргументировал отличным знанием истории.*

*...Он полон интереса к жизни... Часто уезжает на остров, “ходит” там на паруснике, собирает черепки-останки древнего города,*



*собирается разыскать и поднять из моря какой-то старинный каменный крест и т.д. В общем, душа его продолжает трудиться.*

*То, что он рассказывал об отце, матери и о себе... не вызывало сомнений в достоверности в силу общего впечатления и ненавязчивой открытости этого человека.*

*...К моменту начала оккупации психбольница осталась без руководства: Айхенвальд Л. И., главврач, эвакуировался, а зав. мед. частью Я. М. Коган был на фронте. По велению долга руководство больницей принял на себя проф. Шевалёв. Сам Е. А. Шевалёв был человеком науки, далёким от административной деятельности. И его сын Андрей, закончивший к этому времени 4 курса мединститута, был ему большим помощником.*

*Во время осады Одессы Андрей работал хирургом в госпитале. Позднее он написал диссертацию об анестезии. Диссертация была “зарублена”. Затем была ещё одна диссертация... Его нынешнее профессорское звание имеет отношение не к медицине, а к биологии.*

*В психбольнице времён оккупации благодаря своим познаниям в области медицины Андрей помогал немногочисленным врачам, делал обходы. Но в значительной мере занимался хозяйственной деятельностью, помогая добывать продукты для больных.*

*Проф. Е. А. Шевалёв добился у оккупационных властей разрешения на выезд сотрудников больницы за пределы города за продуктами, которые выменивали у деревенского населения на вещи умерших безродных больных. Однажды Андрей, следивший, чтобы не было хищений этих продуктов, узнал, что больничный посланец гнал из села несколько овец, которых в больницу не привёл. Андрей настоял, чтобы его из больницы убрали. В результате требовательности Андрея у него были недоброжелатели, которые организовали против него кампанию.*

*А. Е. Шевалёв сообщил дополнительные сведения о спасённых евреях. Лиля Шарканская в период обороны Одессы приходила в госпиталь, где работал Андрей, ухаживать за ранеными. Из села, где оккупантами была убита её мать, она прибежала в больницу к Андрею и была помещена в 3-е женское отделение. Отец Лили, состоявший в разводе с её матерью, был русским, но пальцем не пошевелил, чтоб спасти дочь. Другого спасённого, Тендлера, проф. Е. А. Шевалёв поместил в 1-е мужское отделение.*

*...А. М. Пасечниченко мне рассказала недавно, что в больнице по воле Евг. Алекс. Шевалёва нашли своё спасение и сотрудники еврейской национальности... Она назвала имена...*

*...Оккупанты подступались порой к вопросу об уничтожении социально бесполезных людей... Поразительно!.. За время оккупации больные умирали от голода, от холода, от болезней, но насильственной смертью - ни один! Утончённый интеллигент, далёкий от пафоса и администрирования, Е. А. Шевалёв горой стоял за своих подопечных.*

*Не было ни продуктов, ни медикаментов, ни воды (её носили из соседнего посёлка), ни тепла (в отделении стояла одна металлическая печурка, вокруг которой сидели больные и которую топили срубленными в больничном саду деревьями и щепой). Самодельные плашки с маслом служили для освещения.*

*Жизнь наиболее истощённых больных поддерживали инъекциями глюкозы и гематогена, небольшое количество которых сохранилось... Многие умирали от алиментарной дистрофии и воспаления лёгких. Во время ночных и утренних обходов Андрея Евг-ча бывало, что он трогал за плечо укрытого с головой больного и в ответ из-под одеяла слышал: "Жив! Жив!"*

*Андрей Евг. сделал много. Он взял под своё шефство 125 советских военнопленных, брошенных в подвал соседней детской больницы, добившись на это разрешения румынских властей, настраивая их возможной вспышкой эпидемии среди пленных. Он организовал помощь для них со стороны населения, приносившего в больницу в вёдрах супы и другую снедь. А когда в результате побега одного из военнопленных власти на время запретили населению носить пищу, А. Е. сам ездил на рынок и обращался к торговкам с просьбой дать для раненых продукты и сам доставлял им провизию. Когда кое-кто из раненых смог подняться и стать на ноги, А. Е. обратился к рабочим одной столярной мастерской в городе с просьбой изготовить для раненых костыли; рабочие в отсутствие начальства изготовили и загрузили костылями полный грузовик знакомого Андрею Евгеньевичу водителя. А. Е. всё время подчёркивает, что его инициативы не требовали особых усилий для их реализации, так как люди с готовностью откликались на них... В своих воспоминаниях А. Евг. пишет: "После освобождения Одессы я*

*прошёл в составе стрелковой дивизии почти всю Восточную Европу. На переднем крае, в зоне артобстрелов и бомбёжек, постоянно рискуя своей жизнью, советские медики спасали людей. Я вспоминал Одесскую психиатрическую больницу. Я ни здесь, ни там не нашёл той грани, которая у медицинских работников отделяет долг от подвига..”.*

*В архивной больничной папке я обнаружила выписанные Андреем Шевалёвым из двух румынских приказов цитаты об изгнании евреев из Одессы и о расстреле за их укрытие. Сама по себе направленность выписок достаточно красноречиво свидетельствует о сочувственном отношении Шевалёвых к евреям...*

*Ещё в папке я нашла тетрадь с полным перечнем сотрудников больницы в период оккупации (67 человек)... Там есть упоминание о том, что в 4 муж. отд. приняли 100 чел. рядовых военнопленных и завели на них истории болезни, в 4 жен. отд. приняли 25 чел. офицерского состава военнопленных, а в детское отд. приняли 10 еврейских детей, направленных румынским прокурором (хотя в записках Евг. Никодимовны Шевалёвой указано 15 чел.). Во всяком случае эта запись удостоверяет подлинность факта.*

*А. Е. рассказал ещё, что в кабинете его отца стояла пишущая машинка, на которой он печатал для евреев справки, удостоверяющие личность и место жительства. Он оставлял место, на которое, после того, как справки заверяли в ЖЭКе [жилищно-эксплуатационная контора - управление домами], он мог впечатать “православного вероисповедания”. Однажды к А. Е. явились два румынских офицера с соответствующими обвинениями, которые А. Е. активно опровергал. Офицеры не были особенно агрессивны, и на том дело закончилось. Тем не менее, когда позднее его выжили из больницы хозяйственники-мародёры и некоторые врачи, ссылавшиеся на его избыточную активность в больнице без законченного медицинского образования, и он ушёл на работу в бактериологический институт, там он заметил, как ему показалось, слежку за собой одного из тех офицеров, что приходили по поводу справок. Из осторожности А. Е. ушёл на месяц в катакомбы.*

*В выталкивании А. Е. из больницы активное участие принимала врач С. [Не указываю фамилию С. не только ради потомков. Из этого*

же письма В. Коган следуют сведения слишком разнообразные для простого шельмования. Заведую отделением, которое располагалось этажом ниже детского отделения, С. наверняка знала о спрятанных там еврейских детях, но не выдавала их; в то же время спасавшему беглецов из гетто Б. Коростовцеву она отказала в просьбе укрыть их в её собственном отделении, где, по больничным слухам, царили взяточничество и даже проституция. То ли наследственный аристократизм мешал С. доносить, то ли симпатия к евреям (она дружила со многими евреями) была выборочной, то ли вообще еврейский вопрос не волновал, просто не хотелось рисковать собственным спокойствием. В который раз вспоминается Достоевский: “Широк человек”].

**В. Коган** - мне: *“Посылаю тебе фотографии отца и сына Шевалёвых, о которых ты просил. А. Е. упорно и без всякого жеманства отказывался дать свою фотографию, предлагая только фото отца, но я настояла...”*

*Эта очередная встреча снова оставила ощущение прикосновения к человеку очень светлому... В разговоре он опять вернулся к поразившему его феномену трансформации человеческого сознания. Антисемитская и кулацкая в то время Слободка, которая сочла для себя осквернением создание там еврейского гетто, оказалась участливо-сострадательной при виде обречённых людей... А. Е. мне рассказал, как он в поисках возможной помощи этим людям, надев на себя дорожное заграничное пальто и повязку с красным крестом, стучал тогда в двери слободских домиков, представляясь словами: “Красный Крест. Спасите людей!”, стараясь говорить на ломаном русском языке. Вся эта мистификация (пальто, повязка, акцент) должны были произвести впечатление убедительного международного вмешательства. Но, как говорит А. Е., к его изумлению, в этом не было нужды: люди без нажима пускали к себе тех, кого сгоняли в гетт”.*

А. Е. Шевалёв помогал Александре Пасечниченко в организации больничного музея, сам соорудил деревянный стенд с воспоминаниями очевидцев о годах оккупации в больнице. Герой стенда - Евгений Александрович Шевалёв. Имя Андрея промелькивает один-единственный раз как помощника отца.

28 ноября 1997 г. одесская газета “Шомрей шабос” печатает статью “Список Шевалёва”; автор М. Штернберг ссылается на сведения, полученные от А. М. Пасечниченко о спасении евреев Шевалёвыми и в восторге сравнивает, как видно из заголовка, Шевалёва с всемирно прославленным Праведником О. Шиндлером. Статья лихая: в ней профессор Шевалёв своей душой, *“огромной и чистой, как небо... укрыл обречённых на гибель людей”*; *“в больницу явились немцы. Они собирались устроить кровавую резню... Шевалёв вступил в полемику с немецким офицером, отговаривал того расстреливать душевнобольных... Б-г был на стороне врача... Прибежал запыхавшийся немецкий солдат и доложил, что в Кривой балке обнаружены советские разведчики... Немцы поспешили ретироваться...”* (Шевалёвскую эпопею потом перепевали другие публикаторы, множа восторги и число спасённых, путая факты и имена; в Израиле писали про расстрельную команду с офицером СС, которого *“спокойный осанистый русский профессор”* поразил немецким языком и словами о христианском милосердии. Андрей Евгеньевич Шевалёв излагал эту историю, тоже ссылаясь на личные качества отца, но много спокойнее, без детективных эффектов, СС и разведчиков).

Теперь в дело вступают те, кого В. Коган назвала “неукротимые энтузиасты”. Вспыхнуло: газетные статьи, смакующие одни и те же факты, телефонные перезвоны, пересуды; еврейские активисты, вплоть до местного раввина, привычно соперничая, предлагали свои услуги для прославления Праведников. Кое-кто из корыстного желания промелькнуть своим именем на газетной странице или угодить украинским властям, но многих гнала ненасытная жажда справедливости и совестливая ответственность за опаздывание с почестями.

8 и 15 апреля 1998 г. в одесской газете “Ор sameax” появляются публикации Л. Дусмана, в которых речь идёт о спасительской деятельности Е. А. и А. Е. Шевалёвых и о необходимости присвоить им звание Праведников Народов Мира. Он же, Л. Дусман направил к А. Шевалёву представителя американского фонда Спилберга для взятия интервью. Андрей Евгеньевич, раздражённый шумихой, отказался.

Разные включались люди. Некая пылкая искательница правды!-истины!-справедливости!! почерпнув из прессы нужные фамилии, вышла по телефону на В. Коган объяснить, что давно знает Шевалё-

вых, о спасении евреев от них, скромных, ничего не слышала, зато - зато! - с одесской безбрежной говорливостью она стала сообщать ничемушные подробности сперва профессорской жизни, а затем уже и собственной, и ещё чьей-то, кто живёт на Дальнем Востоке, они там придумали потрясающий рецепт рыбного салата, это её хорошие знакомые, муж военный, а жена - специалистка по макияжу, у них несчастье, сын женился неудачно, но, как говорится, лишь бы не СПИД, от него до сих пор нет спасения, это как в старом романсе - и она уже пела в трубку незабвенное из довоенной молодости, только что не танцевала по телефону, как заметила дочь Валентины Коган.

Но даже из таких смехотворных слов и хлопот рождались крохи сведений о Шевалёвых, ширился круг посвящённых и сочувствующих. Это они позднее будут искать свидетелей и обстреливать Яд ва-Шем претензиями за задержку признания Шевалёвых Праведниками. И в праведном пыле, наверно, не преминут отругать далёкую бездушную неповоротливую ленивую бестолковую бюрократку некую Катю Гусарову. Толстая какая-нибудь чиновница, оплывшая от скуки на рабочем месте.

...Катя Гусарова, имея трёх детей, изящна, подростково стройна и стремительна. Светлые пряди взметают воздух. Стать, масть и облик принцессы Дианы. Катя Гусарова обаятельна, интеллигентна, добросердечна и работяща. Она ведаёт русскоязычными материалами в отделе "Праведники Народов Мира". Когда она пришла туда, в списках Праведников по странам СССР, кроме Прибалтики, числилось меньше двухсот человек, спустя несколько лет - две тысячи. Тут её неутомимые хлопоты со свидетелями, экспертами, поисками, перепиской...

29.03.1998. **Катя Гусарова** - Валентине Коган: *"Анатолий Кардаш любезно передал в наш отдел копии газетной статьи и Вашего письма к нему, в которых говорится об Евгении Александровиче Шевалёве и его роли в спасении евреев... Мы открыли дело на имя Евгения Александровича и просим Вас посодествовать в сборе необходимых документов. Прилагаем три анкеты, адресованные Вам, Андрею Евгеньевичу Шевалёву и Александре Мартыновне Пасечниченко..."*

Тронулось... Теперь дело за свидетельствами. В. Коган подталкивала писать и А. Е. и Пасечниченко, слала в Яд ва-Шем собственные показания и сообщения о Шевалёвых в одесской прессе. Однако дело шло не как хотелось быстро.

Ноябрь 1998. **В. Коган** - Кате Гусаровой: *“Мои письма начинаются с извинений по поводу задержки... Андрей Евгеньевич был занят делами своей сестры, подвергшейся операции; Александра Мартыновна Пасечниченко сломала руку и до сих пор не оправилась... да и мои проблемы никак не позволяли обратиться к нашим с Вами делам. Так что уж простите нас!.. Сейчас появилась оказия, с которой можно будет передать Вам наши материалы, в том числе и ксерокопию музейного стенда, который сделал Андрей Евгеньевич...*

*Я не являюсь непосредственным участником или свидетелем событий, происходивших в годы оккупации в Одесской психбольнице... Но то, что я пишу - достоверно. Многие мне удалось узнать сейчас от Андрея Евгеньевича, который вплоть до моей с ним встречи не возвращался к событиям тех лет... Содержание своих воспоминаний он изложит сам... Андрей Евгеньевич человек на редкость скромный, а заслуги его в этом деле тоже достаточно велики”.*

В письме мне А. Е. Шевалёв отмечал, что его отец спасал от неминуемой гибели вообще всех психических больных, не выделяя евреев. По свидетельству **В. Коган** он также подчёркивал, что риск в деле спасения евреев при румынах был не всегда смертельным: *“Со скрупулёзностью учёного он чётко выделил период, когда румыны были беспощадны, не отказав им, однако, в том, что на каком-то этапе они щадили даже своих евреев - он нашёл подтверждение, подняв в библиотеке кучу исторических материалов”.* Деликатный сын хотел избежать возможного преувеличения в Израиле заслуг и отцовских, и своих перед евреями.

**В. Коган** - мне: *“Прочитав в твоей книге “Черновой вариант” о фактах спасения евреев жителями сёл и хуторов, где все друг друга знают, А. Е. счёл их подвиг выше того, что делали он с отцом и братом. Вот такой он человек...*

*...Он не был инициатором ходатайства о звании Праведника, он вовлечён в это дело только моими настояниями... В его устремлениях не было никакой корысти, он даже и не знал (как и я) о каком бы то ни было материальном вознаграждении Праведников, тем более, что себя к ним не причислял, а думал только об отце... Он вполне довольствовался тем, ради чего я по твоей просьбе изначально пришла к нему: дать материал для твоей будущей книги об Одессе. И всё, что он мне рассказывал, было только для этого”.*

Тогда же **В. Коган** сообщила, что А. М. Пасечниченко, достигшую пенсионного возраста, “выставили с работы под предлогом неготовности к занятиям по гражданской обороне... отчитали, как девчонку, публично перед двумя сотнями сотрудников и уволили. А через неделю, спохватившись, пригласили на ритуал отпевания - лицемерно-слащавых речей о заслугах и “вкладе”. Она не пошла... Весьма проблематична в связи с её уходом и судьба музея, ею созданного и пестуемого. Я стала вспоминать, когда и что мы отдали в музей с ощущением сиротства этих материалов”.

Получив это известие, я припомнил, что и раньше, при Пасечниченко, не удалось прочесть истории болезни, заведенные во время войны, - бумаги, сваленные в тёмном подвале, истребляли сырость и крысы, а помощи от администрации больницы Александра Мартынова получить не смогла. Теперь, без неё этот источник информации глухнул.

Яд ва-Шему оставалось опираться на поступившие в ноябре 1998 года из Одессы свидетельства.

**В. Коган:** “Мой отец, Коган Яков Моисеевич совмещал должности заведующего медицинской частью больницы и доцента кафедры психиатрии, возглавляемой Е. А. Шевалёвым... С почтением относился отец к Евгению Александровичу как учёному и человеку и считал его по праву своим учителем (а достиг отец в своей профессии многого)... Поведение многих известных людей Одессы в период её оккупации было весьма неоднозначным, а порой и абсолютно однозначным... Они сотрудничали с оккупантами, выражая при этом и свои



*националистические пристрастия. Тем значительнее, благороднее и бесстрашнее была позиция, занятая Евгением Александровичем”.*

28.01.1999. **Катя Гусарова** - В. Коган: *“Уважаемая Валентина Яковлевна! Благодарю Вас за подробные свидетельские показания по делу Шевалёвых, а также за остальной, необыкновенно интересный материал. Дело Евгения Александровича будет рассмотрено специальной Комиссией... По правилам Яд Вашема для присуждения звания Праведник Мира необходимо, чтобы тот, кому была оказана помощь, об этом написал. Из Ваших ответов, к сожалению, понятно, что связь с этими людьми утеряна... Несмотря ни на что, я вместе с Вами надеюсь на положительное решение... Прошу Вас, однако, если возможно, объяснить ситуацию Андрею Евгеньевичу и подготовить к тому, что ходатайство нашего отдела перед Комиссией о присвоении звания Праведника может быть отклонено”.*

10.02.1999. **В. Коган** - Кате Гусаровой: *“Уважаемая Катя! В ночь с 4 на 5 декабря 1998 года скоропостижно скончался от сердечного приступа Андрей Евгеньевич Шевалёв. Так что мне не придётся готовить его к тому, что ходатайство Вашего отдела о присвоении ему звания Праведника может быть отклонено. Именно сейчас это было бы тем более огорчительно, что Андрей Евгеньевич в силу своей необыкновенной скромности часто повторял, что хотел бы увековечить память отца, а собственных притязаний по этому поводу не имеет... Но, думаю, ему было бы очень приятно узнать, что ходатайство возбуждено и о нём. Для него это было бы тем более значимо, что здесь, где он родился, вырос и прожил долгую и нелёгкую жизнь, щедро и безоглядно раздавая людям, порой и совершенно чужим, добро и сострадание даже тогда, когда это было чревато для него не просто неприятностями, а угрожало жизни, никто и никогда не проявлял к его устремлениям никакого интереса.*

*...На похоронах Андрея Евгеньевича несколько пришедших проводить его друзей, связанных с ним увлечением альпинизмом или совместной работой (а было их всего 5 человек), от меня впервые услышали о той стороне деятельности отца и сына Шевалёвых, которая стала предметом нашей с Вами переписки. Они восхитились великой скром-*

ностью и даже будничностью, с которыми Шевалёвы по велению совести и нравственного долга помогали людям, нашедшим в них своё единственное спасение от зверства оккупантов.

Смерть Андрея Евгеньевича лишает меня возможности отыскать ещё хоть ниточку, ведущую к кому-нибудь из тех, кто нашёл своё спасение в больнице. Андрей Евгеньевич попытался это сделать. В своих поисках А. Е. получал отказы, которые иногда бывали мотивированными, хоть и малоубедительными (“не помню! не знаю!”), а иногда и ничем не мотивированными (“ни о чём свидетельствовать не буду!”)...

Возврат к событиям тех тяжких лет, поиски свидетелей и участников сильно разбередили душу Андрея Евгеньевича. Он жаловался мне, что плохо стал спать... В конце ноября Андрей Евгеньевич мне позвонил и сказал, что к нему приходил интервьюер с телеоператором из фонда Спилберга. Они, по его выражению, мучили его в течение двух часов вопросами и съёмками и довели до полного изнеможения...

Я уверена, что Вы приложите максимум усилий для положительного решения вопроса. Очень этого хотелось бы в память об этих замечательных людях и в знак признания их бескорыстного благородства и человеколюбия”.

Добрались настырные спилберговцы до Андрея Шевалёва 20 ноября 1998 года, за две недели до его гибели. Не хочется думать, что их визит оказался роковым. Накануне смерти 79-летнего профессора многое сошлось. В квартире А. Е. по просьбе его знакомого проездом через Одессу остановились на несколько дней родственники этого знакомого в количестве трёх взрослых, двух детей и двух собак. “Покой нам только снится”. Андрей Шевалёв недомогал, вечером сделал себе укол (он всегда полагался только на себя, не на врачей), а ночью, как писала мне **В. Коган**, “захрипел и уже не смог ответить своей жене. Она, Валентина Андреевна, и сообщила мне наутро о его смерти.

По воле А. Е. его должны были кремировать, а прах захоронить в могилу матери... На кладбище было всего несколько человек... То немногое, что говорили об А. Е., было светло и прекрасно и вовсе не потому, что над могилой. Он был добр бескорыстной высокой человеческой добротой, лишённой елеса. Никто из присутствовавших не знал,

*что делали Шевалёвы во время оккупации Одессы. Даже Валентина Андреевна не знает того, что рассказал мне А. Е., он никому этого не говорил, так как делал то, что соответствовало его человеческой сущности и было для него так же естественно, как потребность есть, спать, дышать. Возможно, если бы не твоя инициатива, приумноженная возникшим ко мне расположением (прости за нескромность, но говорили, со слов А. Е., другие люди, в том числе Валентина Андреевна), подробности тех событий канули бы в Лету”.*

А видеокассета с воспоминаниями А. Шевалёва сыграла свою роль в побуждении Лилии Золоторевской дать решающее, поскольку исходит от спасённой еврейки, свидетельское показание.

Тут действие проносится по двум континентам, трём странам, четырём городам.

16.11.1999. **В. Коган** - мне: *“В начале лета Зоя Исаковна Гербзон, давнишняя приятельница А. Шевалёва по телефону просила меня встретиться с подружкой родственников её мужа, приехавшей из Сан-Франциско и интересующейся фактами и фотографиями из больницы тех времён. Я отослала её к А. М. Пасечниченко”.*

В Сан-Франциско жили одесситы Лев Думер, коему шёл девятый десяток, и его жена Лидия. Люди пылкие, память и благодарность в них неистовы. В своей квартире отвели комнату под собственный музей Холокоста. Собирают материалы, пишут в газетах, от захолустных до известных, не боясь ни собственного запала, ни ошибок в подробностях, ни цифр неточных. Зато читают американские одесситы и отзываются свидетели событий, и открываются имена спасённых. Думеры ведут своё расследование и узнают о Лиле Шарканской (по отцу) - Раппапорт (по матери), а сегодня Золоторевской.

Лиля - живое подтверждение праведного деяния Шевалёвых; её свидетельство Яд ва-Шему всех важней. Имя Лили обнаружили В. Коган и А. Пасечниченко в записках А. Шевалёва 1977 года, найденных в музее больницы. В. Коган упросила А. Е. ради памяти об отце искать Лилю. Кто-то сказал, что она жила в Киеве и уехала в Израиль. А. Е. через свою киевскую родственницу хотел что-либо выяснить - не вышло. **Катя Гусарова** писала В. Коган в марте 1999 г.: *“Попытаюсь найти Лилю Шарканскую в Израиле через министерство иностранных дел”* - тоже не

вышло. А в Одессе Л. Дусман, он тоже ищет Лилю, и он общественный деятель и среди обратившихся к нему объявляется Л. Удалова, которая, оказывается, знает Лилю, которая, оказывается, живёт в США. В своей книге “Помни! Не повтори!” (Одесса, 2001 г.) Л. Дусман говорит, что он нашёл в США Лилю и 20 марта 2000 года послал ей видеокассету Андрея Шевалёва. Возможно, через Думеров, как пишут они сами и Лиля.

05.12.2000. **Думеры** - Яд ва-Шему: *“Дорогие друзья! Мы, Лев и Лидия Думер - одесситы! В нашей семье в годы оккупации погибло 6 человек... Страшная трагедия акта Всесожжжения евреев, которого не знала История Человечества... обязывает нас неумолимо работать над историей Холокоста в Одессе! Посылаем Вам... наше исследование под названием “Одесский Шиндлер - русский Праведник мира”. Мы уверены, что наше исследование окажется достаточным, чтобы Вы присвоили звание “Праведники мира” семье Шевалёвых...*

*... Нам удалось найти первого свидетеля спасения Шевалёвыми евреев. Это Лиля Золоторевская (по мужу)... Адрес и № тел. в г. Нью-Йорк...”*

11.01.2001. **Катя Гусарова** - Лилии Золоторевской: *“В годы нацистской оккупации Вам помогли спастись... Мы хотели бы получить Ваш подробный рассказ о событиях тех лет..”*

06.02.2001. Письмо в Яд ва-Шем от **Лилии Золоторевской** (оно уже мною выше приводилось): *“Лев и Лидия Думер прислали нам видеointервью фонда Спилберга с профессором Андреем Евгеньевичем Шевалёвым, в котором он вспоминает обо мне”*.

Золоторевская подтверждает своё укрытие в психбольнице и сообщает имена ещё нескольких спасённых евреев. Она пишет, что после спасения Шевалёвыми решила стать, как они, врачом-психиатром, что просит воздать должное отцу и сыну Шевалёвым хотя бы посмертно: *“Хочу, прошу, надеюсь, что их память будет увековечена”*.

17.02.2001. **Думеры** - в Яд ва-Шем: *“Многоуважаемая г-жа Катя Гусарова! Отправляя Вам нашу исследовательскую работу о Холоко-*

*сте в Одессе и о Шевалёвых, мы не сидели сложа руки, а энергично продолжали начатый нами поиск новых свидетелей...*

*...посылаем Вам заявление Валентины Тендлер из Сан-Франциско о спасении Шевалёвыми её мужа Владимира Тендлера... который прожил под охраной Шевалёвых 811 дней и ночей..".*

Они шлют в Яд ва-Шем показание **Вали Тендлер**, вдовы Вольфа Тендлера, который много раз после войны рассказывал жене, как в январе 1942 года он по дороге в слободское гетто встретил приятеля Андрея Шевалёва и тот привёл его в психбольницу к своему отцу: "Профессор сказал Вольфу: "Если хотите выжить, запомните: вы слышите, вы понимаете, но говорить не можете... Вы должны симулировать тяжёлого психического больного - рыться в мусорниках, есть под столом, отказываться от еды, вплоть до того, что выбрасывать её и т.д. Только со мной, наедине, я разрешаю вам говорить"... Вольф Тендлер научился сапожничать в мастерских психбольницы, которыми руководил Андрей Шевалёв. На протяжении двух с половиной лет он никогда и ни с кем не говорил - за исключением нескольких раз, наедине со своим спасителем Евгением Александровичем Шевалёвым".

(**В. Коган** со слов А. Е. Шевалёва уточняла: "Тендлер, считая себя в больнице в полной безопасности, воспрянул духом и при посещении отделения Андреем Евг. беспечно расспрашивал его о последних новостях. А. Е. на него прищипнул, объяснив, что подобные разговоры могут стоить им обоим жизни, если кто-нибудь услышит, велел поднять воротник халата (существует какой-то синдром воротника) и дал ещё несколько указаний по симуляции". То же живописные детали).

19.02.2001. **Думеры** шлют Яд ва-Шему фотографию Одесской психбольницы и записку: "Внимание! Справка. Через "Одесское гетто" прошли и в дальнейшем уничтожены более 100.000 евреев!!! На Слободке начиналась КРОВАВАЯ РЕКА евреев Одессы! Волей Всевышнего там же существовал "Остров спасения"! Его создал проф. Е. А. Шевалёв и его сын Андрей... Отец и сын спасли более 700 человек!!! Спасено 350 евреев!!!"

Через океан, в Иерусалиме Катю Гусарову опалает яростное нетерпение Думеров. Другие более сдержанны, но, чувствуется, не менее напряжены. **Л. Дусман:** “8.02.2001. *Уважаемая Катя Гусарова! В октябре 1998 года в адрес Яд Вашем были направлены документы на представление проф. Шевалёва Евгения Александровича и его сына Андрея Евгеньевича к званию “Праведник Мира”... Мы не имеем никакой информации о судьбе этих документов... Мы очень сожалеем, что такие люди никак не отмечены в музее Яд Вашем*”.

Несложно представить себе разговоры в Одессе, когда полная воля откровенности и воображению! Израиль - что вы, не знаете? - им плевать на наши просьбы... они, видите ли, сомневаются, ищут спасённых - а что, Андрей Шевалёв, профессор - мальчик с улицы, он врать будет?... они там тянут резину... если бы подмазать... ах, оставьте, всюду берут... Они вообще могли возбудить дело Шевалёва просто для плана, количество Праведников увеличить или ещё что, может быть, ради карьеры кому-то понадобилось, а потом не надо стало, надоело возиться или ещё что... ой, кому можно верить?! Не смешите меня!..

...Сию в Яд ва-Шеме, обезьяньи бездумно вбиваю слова в компьютер, количество задано, гоню норму, мигает опостылевший экран, глаза болят - одно утешение, что спрятан в прохладе от иерусалимского жарко-давящего полдня; и - звонок. В трубке Катя Гусарова: “Только что кончилось заседание Комиссии. Шевалёвым присвоено звание Праведников” - голос усталый и радостный. Апрель 2001-го года.

21.05.2001. **В. А. Шевалёва** (жена Андрея Шевалёва) - Думерам: “20 мая с.г. мне позвонила Валентина Коган. [Сообщила, что] Е. А. Шевалёву и его сыну Андрею присвоены звания “Праведников Мира” Я второй день хожу вся растерянная, несобранная, плачу. Если бы мой Андрей дожил до этого дня. Но, увы!”

Теперь на радостях и **Думеры** пишут в газете: “Спасибо, друзья из Яд ва-Шема, за понимание. Спасибо Вам, дорогая наша Катя Гусарова...” И **В. Тендлер:** “Многоуважаемая г-жа Катя Гусарова!.. Я, Валя Тендлер и две наши дочери София и Инна счастливы, что имена спасателей нашего незабвенного мужа и отца - Владимира Тендлера увековечены на века! Мы понимаем, что не так легко и просто было это

*сделать спустя прошедшие 60 лет!.. Мы высоко оцениваем Ваш личный вклад в это дело, Вашу оперативность и чёткость. Дай Вам Бог силы и здоровья!”*

02.07.2001. **В. Коган** - Начальнику отдела “Праведники Мира” Яд ва-Шема: *“Примите мою благодарность и поздравления с тем, что наши общие усилия привели к желаемому результату: проф. Е. А. Шевалёву и его сыну проф. А. Е. Шевалёву присвоено почётное звание “Праведники Мира”. Увы, посмертно.*

*Если Вас не затруднит, передайте, пожалуйста, мои поздравления и благодарность Кате Гусаровой (я знаю, что она приложила много усилий для положительного решения по “делу” Шевалёвых)..”.*

Протокол счастливого заседания Комиссии Яд ва-Шема. Меньше двух страниц. Каменные углы квадратов иврита. Чёткие фразы: суть дела и решение. Отмечены те, кто сотворил память о Шевалёвых: Лилия Золоторевская, Валя Тендлер, Валентина Коган, прочие радетели... И дата - 12 апреля 2001 года.

12 апреля. В СССР День космонавтики. Ровно сорок лет назад, в 1961-м, взлетел Гагарин. “Бывают странные сближенья”. Гагарин и Шевалёв. Подвиг и подвиг. Один светит, говорят, на века, другой - еле видно. Но сказано: “Не стоит земля без Праведника”, а без ракет, по-хоже, могла бы и обойтись.

Не дожил Андрей Евгеньевич Шевалёв, чтобы порадоваться. Опоздала почеть.

И, кажется, ущербна она.

**Думеры** в своих газетных публикациях и в обращении к Яд ва-Шему 17.02.2001 говорят и о старшем сыне Е. А. Шевалёва офтальмологе Владимире Евгеньевиче Шевалёве, *“который, будучи врачом госпиталя и находясь у нацистов в плену в Севастополе, очень активно спасал там евреев!”* Насколько “активно” и во множественном ли числе “евреев” здесь неясно, но об одном спасённом, одесском врачевеврее В. Лельчицком писал в одесской прессе Л. Дусман. Он, как и Думеры, призывал присвоить звание Праведника Народов Мира **троим** Шевалёвым, отцу и двум сыновьям. Может, оно было бы справед-

ливо? Сегодня по очередному капризу судьбы я наталкиваюсь в Зале Имён Яд ва-Шема на Лист еврея-хирурга М. Ваксберга, где указано, что ему, тяжелораненному, Владимир Шевалёв помогал в немецком плену (подробнее см. выше, на стр. 246).

Ещё обоснованней огорчиться по поводу жены и матери Праведников Шевалёвых. И Золоторевская, и В. Тендлер, прося Яд ва-Шем присвоить звание Праведника отцу и сыну Шевалёвым, не задумались, видимо, о ней, которая работала в той же больнице и жила там же и, с какой стороны ни возьми, не могла не разделять с мужем и сыном хлопоты по спасению и опасность. В рукописи **Владимира Шевалёва** есть в этом как раз смысле эпизод: *“В своих воспоминаниях моя мама пишет о трагической судьбе известного одесского невропатолога проф. Розенцвейга... Мои родители стали уговаривать его прийти к одному знакомому, от которого его они заберут в больницу в качестве больного. Но вместо этого проф. Розенцвейг попросил свою жену сделать ему инъекцию из шприца с ядом, вышел из дома и упал на тротуар мертвецом”*. И в записях Андрея Шевалёва неоднократно при упоминании спасения евреев мать фигурирует вместе с отцом. Об её вовлечённости в ситуацию можно судить и по свидетельству **В. Коган** со слов Андрея Шевалёва: *“Когда Одесса была освобождена, один из спасённых в больнице евреев приходил к матери А. Е. Евгении Никодимовне с просьбой дать ему медицинскую справку, освобождающую от военной службы. Евг. Никод. была очень удручена этим обстоятельством, говоря, что по её понятиям спасённый еврей должен бы быть в первых рядах мстителей”*.

Легко представить, насколько претили ей дезертирские интриги спасённого еврея, тогда как собственный её сын, 24-летний Андрей после освобождения Одессы тут же добровольно подался на фронт, объясняя, что чувствует себя виноватым, так как оккупация лишила его возможности воевать с немцами. Он, уверяет Дусман, узнал о начале войны, летя в альпинистскую экспедицию, и мгновенно примчался с Памира, чтобы идти на фронт, отказавшись от освобождающей льготы студента-медика (а попав в госпиталь, оперировал, работал по двадцать часов в сутки). Старомодная этика русской интеллигенции...

Евгения Никодимовна Ясиновская в Лозаннском университете стала врачом и, защитив диссертацию, доктором медицины. Хирур-



гом-женщиной - большая редкость по тем временам. Она работала в знаменитой клинике профессора Ц. Ру, затем её потянуло в Россию, на родину. Гордая Россия иностранных медицинских дипломов не признавала. Гордая Евгения Никодимовна Россию одолела: в Новороссийском университете сдала двадцать семь экзаменов, все с отличием, и получила звание русского врача. Здесь, в Одессе, в 1910 году, двадцати семи лет от роду она вышла замуж за Е. А. Шевалёва. Они уехали в Петербург, работали несколько лет в Психоневрологическом институте у В. М. Бехтерева, который руководил докторской диссертацией Евгения Александровича (не из сора, заметим, росла поэма шевалёвской семьи; великий Бехтерев на процессе Бейлиса защищал евреев от ритуального навета).

Туберкулёз Е. А. Шевалёва заставил супругов вернуться в Одессу в 1918 году. Здесь Евгения Никодимовна воевала с детской беспризорностью и проституцией, с эпидемией тифа (едва не погибла, заразившись), создала приют для сотни недоразвитых детей. Из письма **В. Коган** от июля 1997 г.: *“Она устроила нечто вроде колонии на территории дачи Шевалёвых (на Французском бульваре, напротив квартиры), прихватив часть соседской территории. Она сотрудничала с руководством подобных колоний в других городах, переписывалась с Макаренко. А. Е. рассказал мне о том, как за постановку в колонии силами воспитанников “Сказки о царе Салтане” Евгению Никодимовну арестовали советские власти, усмотрев в спектакле о царе контрреволюцию. Я думаю, тот факт, что информация о 15 спасённых еврейских детях и что это были именно дети, судьбами которых она вообще так много занималась, свидетельствует о её причастности к этой акции...”*

С 1927 года Евгения Никодимовна работала вместе с мужем в Одесской психбольнице.

Через пятьдесят лет после первой её, швейцарской диссертации, в 72 года, она защитила вторую диссертацию. Она уже была на пенсии, но её захватил общесемейный порыв: в те годы сыновья писали докторские работы, одна из дочерей - кандидатскую. Семья была - профессорская.

...Удивительная была семья. Обидно, что одесситы, упёршись в имена Евгения и Андрея Шевалёвых, почти не коснулись Владимира и

вообще не догадались вспомнить Евгению Никодимовну. А я-то сам?! Только сейчас, в 2004-м, разбираясь в бумагах своих, нашёл письмо **В. Коган** октября 1998-го ещё года: *“Справедливо было бы ставить вопрос о праведничестве не только Евг. Ал.Шевалёва, но и двух его сыновей - Андрея и Владимира, а может быть, и жены Евгении Никодимовны. О подвижничестве брата и матери Андрей Евг. рассказывает, припоминая при каждой встрече со мной какие-то детали”*. Вот ведь был звоночек, прежде всех остальных, да не услышал я - каюсь.

Катя Гусарова сегодня, в 2003 году готова воевать за присуждение звания Праведника и Евгении Никодимовне, и Владимиру Шевалёву. Оно бы следует для очистки нашей, живущих, совести. Но опять же, где сыскать свидетельства спасённых?.. Умерла уже Пасечниченко, крысы жрут архивы в бесхозном месте, где пропадают записи Шевалёвых. Всё утекает, остаются вопросы, загадки; ответы могли бы быть поучительны, но какая новая В. Коган найдёт силы и время искать очевидцев, побуждать их, пробуждать?

## 41. СЕЙЧАС

И что сегодня Одессе до прошлой войны, до Праведников?.. У неё свои заботы: *“Сменимо життя на краще!”* - писано на боку троллейбуса, мятого, битого, грязного, неуверенно синего, кажется бессменного и не перекрашенного с сорок седьмого года, когда он вышел на первый в Одессе маршрут. Мечта тогда у меня была: накопить денег и целый день кататься в троллейбусе.

Туманы полувека. Я помню дом на Пушкинской: от двери на высоком первом этаже прямо на тротуар спускались четыре ступени литой узорной лестницы, на них сидели евреи - хозяин-футболист и соседи-болельщики, лузгали семечки, шелуха на губах и подбородках осыпалась от вскриков после вчерашнего матча: а был пеналь во втором тайме? а Коля, Колян наш непроходимый Хижников, как он завалил ихнего форварда, на бегу просто трусы сорвал, ну, хохмач... Стою я сейчас перед той лестницей - а она пуста, и дверь та заколочена наглухо. Исчезает еврейская Одесса. На доме, где дворник Петро, вывезя старуху Розину, начертал крест в знак чистоты от евреев, сегодня я тот крест не нахожу.

Но похоже, скоро его можно будет ставить на всей Одессе.

**И. Бабель** (из рассказа “Конец богадельни”): *“Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу”*.

Валентина Коган ездит с мужем на кладбище навещать родные могилы. Попутно они - такие люди всегда вешают на себя чужие долги - проверяют захоронения, о которых просят уехавшие в разные страны друзья.

- С каждым годом, - говорит В. Коган, - всё больше времени уходит на эти посещения, множатся и множатся беспризорные могилы. Что дальше будет?..

Кладбище - останки общины, иссыхающей, как листва на межмогильных тропках. Теснота оград и памятников, тоска надписей: скупые или слезливо безвкусные - а горе одно, пронзительное горе запоздалой любви и безвозвратной потери. На оградах - доски с именами родственников, разбросанных Катастрофой; за ними Дальник, Богдановка, Доманёвка, виселицы на Александровском, одесская тюрьма 37-го и 41-го - конечно, если кто-то догадается вспомнить. В гитлеровском огне и под сталинским катком не истребься, выдержит ли сегодня еврейство собственное беспамятство?..

Что я так мрачно о грядущем?

...У входа, почётнейшее место заняв, изумляет мощью фараоновых пирамид мраморный эпос покойных цыганских баронов: безмерные надгробия, на стелах налитые интеллектом табора фигуры, неукротимая поэзия перстней, торсов, усов и эпитафий: *“Царём ты был - царём остался И память о тебе жива И роду нашему большому Ты путеводная звезда”*.

Слава Богу, будет кому намекнуть про евреев: ведь цыган нацисты тоже изводили, хотя и не столь “окончательно”. И имена покойников-цыган попадают знаменательные: *“Зачем так рано, Мося милый, покинул ты навеки нас..”*.

**Анекдот:** Звонок из-за границы: “Алло, это Одесса?” - “Чтоб да, так не очень”

Но ещё слышно: “Рабинович, говорят, вы стали импотентом? Такое несчастье! - Что вы! Как гора с плеч”. Или: “У вас есть разменять сто долларов? - Нет, но спасибо за комплимент”. Ещё можно прочесть в местной газете объявление: “Изготовление отечественных и импортных зонтиков на Дерибасовской во дворе дома 9”. И Интернет радует: *“Жители Одесской области тратят в год на 150 миллионов гривен больше, чем зарабатывают”*.

И вот они, евреи, вот: общественные и религиозные организации, школы, спортивные, театральные коллективы. Собрания, склоки, суета, благотворительность, кормящие руки заграничных евреев - вихристая жизнь. “Категорически здрасьте”. Городские власти благосклонны, телевидение и радио выступают на еврейские темы. Фамилии знаменитых евреев появились в названиях улиц Одессы. Установлены, хотя далеко не везде, памятные знаки на местах гибели евреев в годы оккупации. Президент Украины наградил одесского профессора-еврея орденом Богдана Хмельницкого, и голова жидогуба Богдана торчит посреди бывшей Молдаванки уже почти дружелюбно.

Сколько евреев ни растаяло в дальних землях, но тридцать тысяч ещё топчут одесские тротуары: упитанные деловые люди и полууголовные живчики, пенсионеры и беззаботная юность. Работают, учатся, смеются, горюют, кто-то подторговывает, кто-то подворовывает - крутятся... Несколько тысяч - музейной редкостью - потомственные одеситы, патриоты Одессы, кому не по силам обрубить пуповину, сорваться с места - им остаётся уповать на грядущую братскую любовь соседей и донашивать своё прошлое. Среди них последние интеллигенты - завсегдатаи библиотек, вернисажей и концертов, лелеющие безукоризненную русскую речь, почтение к Гилельсу, историю города и семейные предания. Я видел их в октябре 2002 года и когда приехал ещё раз, в мае 2003-го.

Оказалось, весенняя Одесса, как бы сказать поделикатнее, пахнет нерадостно. Не столько кошками и мочой, как мне дурно предсказывали в Израиле, но мусором, не удалённым из подъездов. Могло бы быть и почище, если бы жильцы позаботились, поскольку подъезды повсеместно запираются. Двери, железные, корявые, ржавые, иногда с окошечком зарешёченным, - на запоре, каждый жилец снабжён ключом, а

пришлый визитёр должен заранее сговариваться с хозяином. Домофонов, общепринятых на “западе”, здесь ещё нет, но грабежи квартирные есть... Так и живут, в опасности.

А на улице Мечникова я зашёл во двор и среди запертых наглухо подъездов навстречу мне один - нараспашку. И за растворённой его дверью, на площадке первого этажа настезь вход в квартиру, и на пороге пожилая хозяйка в лучезарности гостеприимства, за её спиной стол с умильным натюрмортом: селёдка, прикрытая крошечным зелёного лука, непременно в Одессе сливочное масло, водкой искрящаяся бутылка, маца от недавнего Песаха, сыр, фаршированная рыба из довоенного моего, с бабушкой, детства: котлетка крутенькая, зубу поддающаяся кокетливо, с нежным сопротивлением, пахнущая лавро-листно и коричнево - кулинарная диверсия, разящая кучно вкус, нос, память... Это я в гостях у Полины Адольфовны Домберг, подруги Шуры Подлегаевой.

Я пробыл в Одессе три дня. Один из них случайно пришёлся на дату рождения Александры Николаевны. Я говорил о ней с Полиной Домберг, а потом с семьёй А. Н. - дочерью Аллой, внучкой Ириной, зятем Геннадием - все люди красивые, сильные, открытые - Подлегаевой под стать. Поминали А. Н. Пригубили водочки, плеснули коньячок... Добрая тень витала над нами.

Дочь Подлегаевой Алла выудила из оккупационных лет: на какой-то железнодорожной станции мама в феврале увидела человека, уезжающего на ступеньках вагона, и отдала ему свои рукавицы, чтобы мог держаться за обледенелый поручень; благодарный, он крикнул ей: “Обещаю: завтракать теперь ты будешь только с шампанским!” - и сгинул, шампанское испарилось хохмой в студёном небе.

Шуре Подлегаевой не шампанское, не “струя и брызги золотые” - ей только хлеб доставался чёрный, грубейшего помола, горько-солёный - странно так Бог распорядился. Спасибо Ему хоть за посмертный почёт.

В конце нашей встречи внучка Подлегаевой, царственно статная Ирина показала мне двойное паспарту, раскрывающееся книжкой, внутри соседствовали фотографии подруг, Шуры Подлегаевой и Наты Теряевой - совсем молоденькие, живым огнём блистающие...

А дочь А. Н. Алла спросила меня: “Это правда, что в Израиле есть место, где написано мамино имя?”

И я рассказал о Мемориале Яд ва-Шем, об Аллее Праведников и стене, где теперь, почему-то устав сажать деревья, Яд ва-Шем высекает имена тех, кто спасал евреев. Я живописал эту стену потомкам Подлегаевой тем усерднее, чем больше сокрушался мыслью, что не слышит нас Александра Николаевна, что поминаем - вслед.

Оставалось утешиться тем, что рядом с домом Полины Домберг, повторяя Аллею Яд ва-Шема, шелестят берёзы в честь одесских Праведников. Здешняя Аллея - детище израильского энтузиаста Я. Маниовича, бывшего узника Богдановки, к счастью, достаточно благополучного и сердечного, чтобы собственными силами и средствами ставить в Одессе памятные камни на местах гибели евреев и увековечить Праведников местным повтором иерусалимских именных деревьев. Там - *харувим*, рожковые деревья, плодами врачующие тело, здесь - берёзы, душу овевающие; в обоих случаях - добро и жизнь.

Вдоль этой аллеи на скамейках бабушки жуют слухи и воспоминания, рядом галдят внуки. Тоненькие деревца вздрагивают младенческой зеленью, небо голубеет, солнце облаком прикрывается... У деревьев - жестяные таблички с именами Праведников. И на двух памятных камнях под еврейским изречением “Спасший одну жизнь - спасает целый мир” выбиты те имена и под номером 33 значится Подлегаева Александра Николаевна... Назван и Видмичук, и Стойкова, и Авдееenko, и другие. Но не все, далеко не все...

## 42. ПОКЛОН

Книга эта родилась, как было сказано в начале её, от совпадения желаний автора и его корреспондентки, искавшей почести своим спасителям. Годы заполошной, наперекор житейским заботам и расслабляющему ходу времени, работы привели к знакомству со многими подвижниками, выручавшими евреев в смертельную для них пору. Тема расширилась, повествование растеклось от необходимости взглянуться в лик Одессы и лица одесситов. Книжка стала пухлой и, боюсь, сумбурной, но как вышло, так вышло. А целью её остаётся первоначальное: помянуть благодарно всех, спасавших или помогших

спасению, чьи имена всплыли при моём копании в свидетельствах той поры.

Из группы Гродского одной Александре Николаевне Подлегаевой какое-то “спасибо” хоть слабенько, но просветило при жизни. О Теряевой и Гродском, умерших давным-давно, в Яд ва-Шеме речь и не заходила. Спасённым евреям было невдомёк, что можно просить почесть тем, кого нет в живых. А учреждениям да инстанциям еврейским, кто обязан спасителям евреев поклониться, - им за повседневными заботами часто не до тех, кто истлел. Так вышло, что среди Праведников Народов Мира числит Израиль из группы Гродского лишь Александру Подлегаеву: о ней спасённая Е. Хозе успела сообщить при её жизни, да и то признание опоздало: пока судили-рядили, умерла старая Праведница. И Шевалёв Андрей Евгеньевич не узнал, что его отец и он сам награждены. Обидно...

Андрей Шевалёв убегал от славословия, Ивановы и Татаровский признания не добивались, доктор Гродский о себе-спасителе не упоминал, потомки А. Подлегаевой подробности её геройства только от меня и узнали - Праведники поклона не ищут. Он - за нами.

Анастасия (или Ната, Наталия - пишут свидетели по-разному) Фёдоровна Теряева, Константин Михайлович Гродский - вам, как и другим, обойдённым официальным признанием, кому ни дерева именно-го, ни медали, ни льготы мало-мальской - вам только эта вот книжка негромкая, памятник самодельный, грубо сколоченный,

каждому, чьё имя мы не удосужились расслышать в глухоте прошедших десятилетий,

и каждому, кто на этих страницах назван:

**Авдеенко Валентин Сергеевич**, Одесса

**Авдеенко Сергей Иванович и его жена**, Одесса

**Антонова Лидия Владимировна**, Одесса

**Великанова-Никифорова Полина Георгиевна**, Одесса

**Вера - дворник дома, где жили Калининны**, Одесса

**Вера Станиславовна из дома 13 по ул. Гоголя**, Одесса

**Видмичук Дмитрий Лукьянович**, Доманёвский район  
**Воловцева Александра Яковлевна**, Одесса  
**Вольф Александр**, Одесса  
**Вольф Елена**, Одесса  
Ганя, село Малиновка  
**Голубенко Ефросинья Корнеевна**, Дальник  
**Гродский Константин Михайлович**, Одесса  
**Домна Васильевна**, Одесса  
Дуся, Люстдорф  
**Дьяконов Александр Васильевич**, Одесса  
**Евицкая Екатерина**, Одесса  
**Елизавета Степановна - педагог школы № 24**, Одесса  
**Елисеева Нина Осиповна**, Одесса  
Жирун, семья, хутор Сокира  
**Загальский**, учитель, г. Одесса  
**Иванов Александр Васильевич**, Одесса  
**Иванов Василий Иванович**, Одесса  
**Иванов Иван Васильевич**, Одесса  
**Иванов Леонид Васильевич**, Одесса  
**Иванова Евдокия Фёдоровна**, Одесса  
**Иванова Мария Васильевна**, Одесса  
**Калинина Елизавета Игнатьевна и её муж**, Одесса  
**Капитенко (Копитенко) Елена**, Одесса  
**Клименко Николай и его семья**, Дальник  
**Коростовцев Борис Михайлович**, Одесса  
**Кравченко**, спасительница детей, Одесса  
**Краковская-Ткачук Надежда**, Одесса  
**Кудря Петро**, село Малахово  
**Кузьменко, семья**, село Малахово



**Марья Павловна - медсестра Еврейской больницы, Одесса**  
**Молдаваненко Пётр, его сестра и родители, село Малахово**  
**Москальчук Дивомид Иванович, село Малахово**  
**Москальчук Параска, село Малахово**  
**Недина Зинаида Ивановна, Одесса**  
**Нудьга Павел Корнеевич, Одесса**  
**Отец Мисаил, священник, Бессарабия**  
**Подлегаева Александра Николаевна, Одесса**  
**Полицай на Слободке и его жена, спасители Я. Колтуна, Одесса**  
**Полицай, село Малахово**  
**Полищук Яков, Одесса**  
**Прохоров Николай Гаврилович и его семья, Одесса**  
**Сандун Мария Антоновна, Одесса**  
**Слесаренко Любовь, Одесса**  
**Смалько Анна Корнеевна и её семья, Дальник**  
**Смирнов Леонид, Одесса**  
**Смирнова Евгения, Одесса**  
**Станченко Константин Владимирович, Одесса**  
**Старикова Ольга Гавриловна, Одесса**  
**Стойкова (Прохорова) Анна Николаевна, Одесса**  
**Суворовский Леонард Францевич, Одесса**  
**Татаровский Георгий Александрович, Одесса**  
**Теряева Анастасия (Наталия) Фёдоровна, Одесса**  
**Турмилова Елена Корнеевна и её семья, Дальник**  
**Шапиро Александра Семёновна, Одесса**  
**Шапиро Андрей Семёнович, Одесса**  
**Шевалёв Андрей Евгеньевич, Одесса**  
**Шевалёв Валентин Евгеньевич, Одесса**

Шевалёв Евгений Александрович, Одесса

Шевалёва Евгения Никодимовна, Одесса

Яблонский Дмитрий, Берёзовка

Яблонская Ксения, Берёзовка

Я стою у одесской аллеи Праведников, прощаюсь. Вечер. Ночь. Ветер. Запах моря, шорохи берёз... Луна... Тени Праведников, тени убитых. Тьма. Чёрная тьма Шоа.

*“Тихо спит Одесса... Прозрачно-лёгкая завеса Объемлет небо. Всё молчит; Лишь море Чёрное шумит...” (А. Пушкин)*

...море чёрное шумит...

### 43. ПОСТСКРИПТУМ

**В** Одессе 2002 года надо мной Дерибасовская раскачивала поперёк себя транспарант с пламенным призывом “Душу согрей, Одесса-мама!”. Кино ли такое, спектакль, выставка - не пояснялось. Может быть, просто просьба? Или мечта?..

*Иерусалим, 2001-03 гг.*